Александр Солженицын

В КРУГЕ ПЕРВОМ

ИНКОМ НВ



Вермонт, 1978

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений

Том 1

В круге первом

Роман

Книга I



МОСКВА 1991

ББК 84Р7
С60

Печатается по тексту собрания сочинений А. Солженицына
Вермонт — Париж, YMCA-PRESS, 1978, тома 1—2

*Тексты «Малого собрания сочинений» подготовлены
Издательским центром «Новый мир» совместно с автором*

*Книга издана при содействии Московского
инновационного коммерческого банка*

Солженицын А.
С60 В круге первом. Книга I.— М.: ИНКОМ НВ, 1991.— 352 с.
ISBN 5-85060-033-7

С $\frac{4702010201\text{-}006}{\text{А}10(03)\text{-}91}$ без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5—85060—033—7

ПОСВЯЩАЮ
ДРУЗЬЯМ ПО ШАРАШКЕ

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» — перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней — разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь — а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан — 1955—1958
искажён — 1964
восстановлен — 1968

ГЛАВЫ 1—96

1

Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной.

Стёкла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу на Кузнецком торопливое снование улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя всё это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал пёстрые глянцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, что в нём.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет — но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался.

Пятый час означал конец не служебного дня, но — его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой — пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трёх и до четырёх часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дёргают столоначальников, справко-

---

В романе сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. *(Примеч. ред.)*

датели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно будет ночное сиденье.

А у *тех* пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри — страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодновато.

Иннокентий швырнул журнал и, ёжась, прошёлся по комнате.

Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не поздно будет *там*?.. в четверг — в пятницу?..

Поздно...

Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться!

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники.

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее — подождать. Разумнее — подождать.

Но будет поздно.

О, чёрт — ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал...

Он сгрёб всё со стола и понёс в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильней и сильней. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый смеркающийся день.

От быстрых движений полегчало.

Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночёк Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком — это он сам шёл на линкор — торпедой!

Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по Кузнецкому. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, погнал его вниз, там велел налево, под первозажжённые фонари Петровки.

Он ещё колебался — откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку — заметнее. Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? И как же глупо плутать на такси и брать шофёра в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном Ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных монеты. Значит, быть по тому.

Кажется, он успокаивался. Опасно, не опасно — другого решения быть не может.

Чего-то всегда постоянно боясь — остаёмся ли мы людьми?

Совсем не задумывал Иннокентий — а ехал по Моховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел.

Минули Университет — Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпеде, разворачиваясь получше.

Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки и пошёл по площади, стараясь умерять шаг.

Высохло в горле, во рту — тем высыханьем, когда никакое питьё не поможет.

Арбат был уже весь в огнях. Перед «Художественным» густо стояли в очереди на «Любовь балерины». Красное «М» над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. Чёрная южная женщина продавала маленькие жёлтые цветы.

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни пёрышка, ни хвостика не оставить ищейкам.

Иннокентий шёл очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка.

И ещё одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть.

Как широк мир, и сколько в нём возможностей! — а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шёл дальше, в метро.

Здесь четыре, углублённые в стену, были все заняты. Но в левой кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький,

уже вешал трубку. Он улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остеклённую дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

— Это секретариат? — он старался изменять голос.

— Да.

— Прошу срочно соединить меня с послом.

— Посла вызвать нельзя,— очень чисто по-русски ответили ему.— А вы по какому вопросу?

— Тогда — поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут — пусть так и будет, второй раз не пробовать.

— Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым, в трубку сказали:

— Слушают вас. Что ви хотел?

— Господин военный атташе? — резко спросил Иннокентий.

— Йес, авиэйшн,— проронили с того конца.

Что оставалось? Экраня рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно, Иннокентий внушал:

— Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

— Ждите момент,— неторопливо отвечали ему.— Я позову переводчик.

— Я не могу ждать! — кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) — И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идёт о судьбе вашей страны! И не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

— Я вас плёхо понимал,— спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживлённый говор слышался отдалённо в комнате.— Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают рюсски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка чёрная с тяжёлой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

— Слушайте! Слушайте! — в отчаянии воскликал он.— На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...

— Как? Какой авеню? — удивился атташе и задумался.— А откуда я знаю, что ви говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую? — хлестал Иннокентий.

Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть затянулся сигаретой.

— Атомная бомба? — недоверчиво повторил он.— А кто такой ви? Назовите ваш фамилия.

В трубке глухо щёлкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

2

Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери: «Служебный». Или, поновей, важную зеркальную табличку: «Вход посторонним категорически воспрещён». А то и грозный вахтер сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как всё запретное, невесть что.

А там — такой же простой коридор, может почище. Средней струёй простелена дорожка красного казённого рядна. В меру натёрт паркет. В меру часто расставлены плевательницы.

Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь.

Двери же — все под чёрной кожей, под вздувшейся от набивки чёрной кожей с белыми заклёпками и зеркальными же оваликами номеров.

Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара.

В тот же безморозный хмуроватый декабрьский вечер в здании московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в XI отделе 6-го управления МГБ как «Пост А-1»,— дежурило два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском: так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции.

Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах.

По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить долженствовало двоим: одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища.

Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции.

Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека, инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да ещё и канун западного рождества.

Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучёбе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно. Нипочём бы Тюкин не стал читать с субботы, мало надеясь запомнить, но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестриным мужем крепко заложить, в понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не полезет, а парторг уже пенял Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из «Краткого курса» к себе в тетрадь то одно место, то другое.

Верхнего света они ещё не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Ещё с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка.

Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали всё новые и новые от неизвестных причин, их мазали зелёнкой, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струпами. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребёнка — и такую складную жизнь эти нарывы отравляли.

Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешёл удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кальсон и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпов. При надав-

ливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а... а... Какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово: гангрена?.. и ещё как-то...

Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся, включённые автоматически. Не снимая обнажённой ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал:

— А откуда я знаю, что ви говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую?

— Атомная бомба? А кто такой ви? Назовите ваш фамилия.

АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны — и тут только сообразил, что вопреки инструкции, не засёк номера абонента.

Первое движение было — обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина, значит и тому.

Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность. Но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью ещё в одном месте — и откинул вздорную мысль. Конечно, дублируется, и за укрытие такого разговора — расстреляют!

Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются из автоматов.

Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники».

— Генка! Генка! — хрипло позвал он, спуская брючину.— Аврал! Звони в оперативку! Может, ещё захватят!..

3

— Новички!

— Новичков привезли!

— Откуда, товарищи?

— Приятели, откуда?

— А что это у вас на груди, на шапке — пятна какие-то?

— Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря отправляли — спороли.

— То есть, как — *номера?!*

— Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях — номера? Лев Григорьич, позвольте узнать, это что — *прогрессивно?*

— Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.

— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!

— Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс! *На цырлах!*

— Беломор-«Ява» или Беломор-«Дукат»?

— Пополам.

— Вот стервы, «Дукатом» душат. Буду министру жаловаться, клянусь.

— А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?

— Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.

— Смотри, новички!

— Новичков привезли.

— Э! орлы! Что вы, живых зэков не видели? Весь коридор загородили!

— Ба! Кого я вижу! Доф-Донской!? Да где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал!

— А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?

— Из разных. Из Речлага...

— ...из Дубровлага...

— Что-то я, девятый год сижу — таких не слышал.

— А это новые, *Особ*лаги. Их учредили только с сорок восьмого.

— У самого входа в венский Пратер меня загребли и — *в воронок.*

— Подожди, Митёк, давай новичков послушаем...

— Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не беспокойся.

— Вторая смена! На ужин!

— Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...

— Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия лагерям.

— Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живём?

— Ну, тихо, Валентуля!

— Простите, как вас зовут?

— Лев Григорьич.

— Вы сами тоже инженер?

— Нет, я филолог.

— Филолог? Здесь держат даже филологов?

— Вы спросите, кого здесь *не* держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплётчики, даже одного геолога по ошибке завезли.

— И что ж он делает?

— Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! — самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.

— Лев! Ты выдаёшь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую,— там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!

— Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?

— Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селёдку мезенского засола и пшённую кашу! Пóшло.

— Как вы сказали? Пшённая каша — пошло? Да я пять лет пшённой каши не видел!

— Наверно, не пшённая, наверно, магара?

— Да вы с ума сошли — магара! Попробовали б они нам магару! Мы б им...

— А как сейчас на пересылках кормят?

— На челябинской пересылке...

— На челябинской-новой или челябинской-старой?

— По вашему вопросу видно знатока. На новой...

— Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа?

— По-прежнему.

— Вы сказали — *шарашка*. Что значит — шарашка?

— А по сколько хлеба здесь дают?

— Кто ещё не ужинал? Вторая смена!

— Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный — на столах.

— Простите, как — *на столах?*

— Ну так, на столах, нарезан, хочешь — бери, хочешь — не бери.

— Простите, здесь что — Европа, что ли?

— Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный.

— Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.

— Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.

— Чёрт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте — от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа? — говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не *курочат*.

— Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.

— Так вы работали на Днепрострое?

— Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.

— То есть, как?

— А я, видите ли, продал его немцам.

— Днепрогэс? Его же взорвали!

— Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.

— Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться!

— И назад, Валентуля, и — назад!

— Да! И скорей назад, конечно!

— Вы знаете, Лев Григорьич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии,— никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла!! Чёрный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я — в раю!!

— Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший высший круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое *шарашка?* Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это звучит примерно так:

> «Высокий замок предо мной возник...

...посмотрите, какие здесь старинные своды!

> Семь раз обвитый стройными стенами...
> Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...

...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...

> Там были люди с важностью чела,
> С неторопливым и спокойным взглядом...

Их облик был ни весел, ни суров...
Я видеть мог, что некий многочестный
И высший сонм уединился там...
Скажи, кто эти, не в пример другим
Почтенные среди толпы окрестной?..»

— Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы «Правды»: «Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода.»

4

Ёлка была — сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув её дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь уголок и крохотную ёлку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у ёлки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву — и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины — устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них — крупный мужчина с широкой чёрной бородой, был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном hoch-Deutsch, обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхне-германским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он — только в Пруссии, и то — с фронтом.

Он был майором «отдела по разложению войск противника». Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машин-«звуковок» уговорные тексты, чтоб воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие «свободные комитеты» и там готовили себя для будущей социалистической Германии; а кто попроще, посолдатистей — с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укреплённые пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не врастя в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга «кровь за кровь и смерть за смерть».

Было и это, Рубин не отрекался, только всё неизмеримо сложней, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (зэкам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, таращил глаза на рождественские лампочки круглолицый с просвечивающими, как у поросёнка, розовыми ушами юнец Густав из Hitlerjugend (взятый в *плен* через неделю после конца войны).

И всё-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвёртого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побеждённые гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Гёббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструек своей жёсткой чёрной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Гёббельс

говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Обер-штурм-банн-фюрер-SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Гёббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрёк пришёлся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

Подавляя желание взорваться, Рубин привёл в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своём блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая её лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва

о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искажённым путём. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников,— было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приёмник, ничуть не похожий на приёмник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызволит их отсюда.

А Рубину они — кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщённо поклонился), попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор — широкий, с некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживлённый ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки — застеклённые окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «спецтюрьмой № 1 МГБ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся.

Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к *оперу* писать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на работу, назывались у арестантов «царские врата»).

Рубин подошёл к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошёл в коридор лаборатории. В коридоре толкнул дверь с надписью: «АКУСТИЧЕСКАЯ».

5

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную — физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новёхонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радио-фирмы «Лоренц».

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежёлтый рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась

звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Её дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнёзд чёрный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, всё в тех же синих комбинезонах. Освещённые верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приёмника, скоросо̀бранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шёл по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарём и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся чёрной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключённый в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вкруг тонкого стана, а на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая шёлковая сорочка, хотя и линялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включённым паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряжённо разглядывал радио-схему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая:

«Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!»

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

— Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубливая фразы:

— Лев Григорьич! *Отрывайтесь! Рвите когти!* Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут делать? — И поднял на Рубина очень удивлённые светлые мальчишеские глаза.— Да на кой чёрт нам тут ещё филологи! Ха-ха-ха! — раздельно выговаривал он.— Ведь вы же не инженер!! Позор!

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил:

— Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой.

— Эт-то не мой стиль! Я — первоклассный инженер, учтите, парниша! — резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе.

В нём была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни и движения мальчишечьи — никак нельзя было поверить, что он кончил институт ещё до войны, прошёл немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

— Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...

— Ка-кие ещё характеристики?! — Валентин правдоподобно играл в возмущение.— Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами — ведь я безумно люблю женщин!!

Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки.

Ещё один заключённый от окна, куда пробирался Рубин, поощрительно слушал Валентина, бросив занятия.

— Кажется, только теоретически,— скучающим жевательным движением ответил Рубин.

— И безумно люблю тратить деньги!

— Но их у вас...

— Так как же я могу быть плохим инженером?! Подумайте: чтобы любить женщин — и всё время разных! — надо иметь много денег! Чтоб иметь много денег — надо их много зарабатывать! Чтоб их много зарабатывать, если ты инженер — надо блестяще владеть своей специальностью! Ха-ха! Вы бледнеете!

Удлинённое лицо Валентули было задорно поднято к Рубину.

— Ага! — воскликнул тот зэк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки.— Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос! *Колокольчатый* у него! Так я и запишу, а? Такой голос — по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

— Ах, что за чушь! — отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Вдвоём они рассматривали молча.

— А порядочно мы продвинулись, Глебка,— сказал Рубин.— В сочетании с *видимой речью* у нас хорошее оружие. Очень скоро мы-таки с тобой поймём, от чего же зависит голос по телефону... Это что передают?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, пересиливал свой самодельный приёмник, из которого текла перебегающая фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:

— Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда... Ты — слушай.

Они оба нагнулись к приёмнику, но очень мешал джаз.

— Валентайн! — сказал Глеб.— Уступите. Проявите великодушие!

— Я уже проявил,— огрызнулся тот,— сляпал вам приёмник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдёте никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

— Валентин Мартыныч! Это, правда, невозможно — слушать сразу три приёмника. Выключите свой, вас же просят.

(Приёмник Валентина как раз играл слоу-фокс, и девушке очень нравилось...)

— Серафима Витальевна! Это чудовищно! — Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон и жестикулировал, как с трибуны.— Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьём! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго? Неужели никогда не видели обозрений Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить! — ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки.— Кого-нибудь, *са депан!* Сверкание ночных огней! Шелест нарядов!

— Да у него опять *сдвиг фаз!* — тревожно сказал Рубин.— Тут нужно власть употребить!

И сам за спиной Валентули выключил джаз.

Валентуля ужаленно повернулся:

— Лев Григорьич! Кто вам дал право..?

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобождённая бегущая мелодия семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было — уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

— Инженер Прянчиков! Вы всё ещё вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?

Лицо Прянчикова посерьёзнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

— Слушайте, что за чёрт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушёл, подавленный.

Рубин бесшумно опустился в своё кресло, спиной к спине Глеба, и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове,— и это был скромный непарадный конец семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

— Дай по буквам, не слышу,— отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной.

— Всегда мне не везёт, говорю,— хрипло ответил Рубин, так же не поворачиваясь.— Вот — сонату пропустил...

— Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить! — проворчал приятель.— А соната оч-чень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни шёпота. Оборвалась — и всё. Как в жизни... А где ты был?

— С немцами. Рождество встречал,— усмехнулся Рубин.

Так они и разговаривали, не видя друг друга, почти откинув затылки друг к другу на плечи.

— Молодчик.— Глеб подумал.— Мне нравится твоё отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть.

— Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. Даже этот беспартийный мягкий Макс — разве и он не делит как-то ответственности с палачами? Ведь он — не помешал?

— Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину...

— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?

— Хорошо ты сказал. Граждане мира! — это звучит бескровно, чисто.

— То есть, космополиты. Нас правильно посадили.

— Конечно, правильно. Хотя ты всё время доказываешь Верховному Суду обратное.

Диктор с подоконника пообещал через полминуты «Дневник социалистического соревнования».

Глеб за эти полминуты рассчитанно-медленно донёс руку до приёмника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживлённое лицо его было усталое, сероватое.

А Прянчикова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскад усиления, он громко беззаботно напевал:

«Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!»

6

Глеб Нержин был ровесник Прянчикова, но выглядел старше. Русые волосы его, с распадом на бока, были густы, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ, и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостаче свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях — та мудрая скупость, какою природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда.

Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли.

А между тем всё это была *чернуха,* Нержин *темнил* по вечерам на случай захода начальства.

На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отдёрнул светлую шёлковую занавеску и смотрел в стёкла чёрного окна. За глубиной ночного пространства начинались розные крупные огни Москвы, и вся она, не видимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо тёмно-бурым.

Особый стул Нержина — с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна — человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, всё открыло бы в Нержине одного из её основателей.

Шарашка названа была Марфинской по деревне Марфино,

когда-то здесь бывшей, но давно уже включённой в городскую черту. Основание шарашки произошло около трёх лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать Би-Би-Си в тюремном общежитии (его и глушить ещё не умели); вечерами самочинно гулять по *зоне,* лежать в росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать наголо, чтобы зэки не подползали к проволоке); и следить хоть за вечными звёздами, хоть за бренным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания брёвна и катает их под колючую проволоку домой на дрова.

Шарашка тогда ещё не знала, чтó ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму «Лоренц», хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей.

С тех пор траву давно скосили, двери на прогулку открывали только по звонку, шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год, но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала всё новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина докатилась вот до распознания голосов по телефону, до выяснения — что делает голос человека неповторимым.

Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода, потом ещё полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали.

Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался всё так же через плечо:

— Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения...

— Поразительно,— буркнул Нержин.— Кажется, ты воевал только четыре года, не *сидишь* ещё и пяти полных? И уже устал? Добивайся путёвки в Крым.

Помолчали.

— Ты — *своим* занят? — тихо спросил Рубин.

— У-гм.

— А кто же будет заниматься голосами?

— Я, признаться, рассчитывал на тебя.

— Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя.

— У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони. «Работу актёра над собой». И наконец, уже совсем потеряв стыд,— исследование о принцессе Турандот? Какой ещё зэк в ГУЛаге может похвастаться таким подбором книг?

Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо-смешным:

— Странно. Все эти книги, и даже о принцессе Турандот — с кем я в рабочее время читал вместе? Не с тобой ли?

— Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах.

— О каких полах?

— На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живёт в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность созидателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят — значит ха́лтурная настилка? И я бессилен исправить!

— Слушай, это драматический сюжет.

— Для соцреализма. А во-вторых: не по́шло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам?

Рубин вздохнул:

— И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство.

— Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворения от жизни, чем мы — это ещё вопрос.

По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против Нержина, не должна была слышать их. Они развернулись теперь каждый вполоборота: ко всей прочей комнате спинами, а лицами — к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдалённых оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы.

Нержин, хотя и математик, но не чужд был языкознанию, и с тех пор, как звучанье русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, Нержина

всё время спаривали с единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже они по двенадцать часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они — фронтовики; что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на Белорусском, и одинаково имели «малый джентльменский набор» орденов; что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же «общедоступному» *десятому пункту;* и оба получили одинаково по *десятке* (впрочем, и все получали столько же). И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в воинском звании всего на единицу — Нержин был капитаном.

Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и значит не был заражён антисоветским зарубежным духом: Нержин был наш советский человек, но всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин якобы исказил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек *наш,* и потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные запутанные временные мысли.

Посмотрели ещё туда, в темноту.

Рубин чмокнул:

— Всё-таки ты — умственно убог. Это меня беспокоит.

— А я не гонюсь: умного на свете много, мало — хорошего.

— Так вот на тебе хорошую книжку, прочти.

— Это опять про замороченных бедных быков?

— Нет.

— Так про загнанных львов?

— Да нет же!

— Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки?

— Ты должен прочесть её!

— Я никому ничего не должен, запомни! Со всеми долгами расплатёмшись, как говорит Спиридон.

— Жалкая личность! Это — из лучших книг двадцатого века!

— И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять? на чём люди заблудились?

— Умный, добрый, беспредельно-честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человечный, гениально-наивный...

— Да ну тебя к шутам,— засмеялся Нержин.— Ты все уши забьёшь своим жаргоном. Без Хемингуэя тридцать лет я прожил, ещё проживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне — ограничиться! Дай мне хоть направиться куда-то...

И он отвернулся к своему столу.

Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил.

Он стал смотреть карту Китая, прислонённую к полочке на столе перед ним. Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон; весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил её стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение.

Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог её пересилить.

А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а остриём иглы, выписывал на крохотном листике, утонувшем меж служебного камуфляжа:

«Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний.

Это и никому не удавалось с одного раза.»

Большая комната Акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электро-слесаря. Слышались команды: «Включи!», «Выключи!» Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу «шесть-Ка-семь».

Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги.

Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключённым.

7

Такая маленькая, что трудно было не назвать её Симочкой,— Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в тёплый платок.

Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ.

Вольные сотрудники в соответствии с конституцией имели самые разнообразные права и в том числе — право на труд. Однако право это было ограничено восемью часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишённые всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд — двенадцать часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, с шести вечера и до одиннадцати

ночи — вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работою зэков.

Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка была сейчас единственная власть и единственное начальство.

По инструкции она должна была следить, чтоб заключённые работали, а не бездельничали, чтоб они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтоб они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков. Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории.

Не прошло ещё и полугода, как Симочка, окончив институт инженеров связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, который заключённые в своём дерзком просторечии звали шарашкой. Принятых вольных здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату (за звание, на обмундирование) — а требовали только преданности и бдения, лишь потом — грамоты и навыков.

Это было на руку Симочке. Из института не одна она, но и многие её подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девчёнки и из школы пришли, ни математики, ни физики не зная (ещё в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем не учись — аттестат тебе выдадут). И в институте, когда находилось время, и девочки садились заниматься — они продирались сквозь эту математику и радиотехнику как сквозь беспонятный безвылазный бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучёба; ещё в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты; да нужно и дома помочь, и в магазины сходить, и помыться, и приодеться. А в кино? а в театр? а в клуб? Если в студенческое время не погулять, не поплясать — так когда же потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться! И вот к экзаменам Симочка и её подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали её за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний

своих студенток,— но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многоразличными планами и формами отчётности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да ещё их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве, опираясь на цитату кажется из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен.

К старшим курсам Симочка и её подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала — как она будет на производстве?

И вот попала в Марфино. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединённого подмосковного замка, где отборная охрана и надзорсостав стерегли выдающихся государственных преступников.

Их инструктировали всех вместе — десятерых выпускниц института Связи. Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну — они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, не достойными той русской речи, которою они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания; если же начать их расспрашивать об их преступлениях (что категорически запрещается!) — они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно-пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность — но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении — спешить к оперуполномоченному майору Шикину.

Майор Шикин — черноватый низенький важный мужчина с седеющим ёжиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, высказал при этом такую мысль: что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение — например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки (он не говорит — опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марье Ивановне оно ни

было адресовано, неизбежно будет направлено в американский шпионский центр). Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно: откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем.

И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключёнными карается уголовным кодексом, а уголовный кодекс, как известно, растяжим, он включает в себя даже двадцать пять лет каторжных работ.

Нельзя было без содрогания представить того беспросветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слёзы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем.

Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в Акустическую и даже в первый момент ей хотелось зажмуриться.

С тех пор прошло полгода — и что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена её убеждённость в чёрных кознях империализма. И так же она легко допускала, что заключённые, работающие во всех остальных комнатах,— кровавые злодеи. Но каждый день встречаясь с дюжиной зэков Акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одною только работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупицы славы,— разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала наша контрразведка.

Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение — своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя её комсомольский долг трубил, хотя её любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов,— необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным.

Тем более невозможно это было по отношению к её ближайшему соседу и сотруднику — Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через два их стола.

Всё прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданная ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам.

При всём совершенстве приборов ещё не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слухачей, ловящие текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными.

Нержин занимался — или, по замыслу начальства, должен был заниматься — наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трёхтомную монографию об их методике. Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы сразу, Нержин чётко соображал последовательность отложных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов с развевающимися русыми волосами выкрикивает батарее: «Огонь!» (Этот момент чаще всего показывали в кино.)

Но такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, надольше отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: «Я действенен потому, что ненавижу действие.»— «А что ж вы любите?» — спросила она с робостью.— «Размышление»,— ответил он. И действительно, спадал шквал работы — он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чём он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для неё средоточием сочувствия и восхищения.

Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо её портил слишком удлинённый нос, волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у неё были скорей как у девочки 7-го класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре — и это тоже не привлекало молодых людей. Так, к двадцати трём годам у неё сложилось, что ещё никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.

Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить. Она вошла с отвёрткой в руке; в беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва

помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса — что теперь будет? И надо было бы оттолкнуться,— она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась страшнейшая минута в жизни — щёки их горели, соединённые,— он не двигался! Потом вдруг охватил её голову и поцеловал в губы. Всё тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только:

— Дверь не заперта!..

Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, от ходивших, разговаривавших людей, могущих войти и откинуть шторку. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера,— девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть даже свободой,— но у неё не было сил оторваться от рук, запрокинувших её голову.

Первый раз в жизни её целовал мужчина!..

Так змеемудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца.

8

— Чья там лысина сзади трётся?

— Дитя моё, у меня всё-таки лирическое настроение. Давай потрепемся.

— Вообще-то я занят.

— Ну, ладно тебе — занят!.. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой импровизированной немецкой ёлочки, заговорил что-то о своём блиндаже на плацдарме северней Пултуска, и вот — фронт! — нахлынул фронт! — и так живо, так сладко... Слушай, в войне всё-таки есть много хорошего, а?

— До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов, попадались нам иногда: очищение души, Soldatentreue...

— Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть-таки рациональное зерно...

— Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: «Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно.»

— Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы?

— Ещё не решено.

— Сперва вспомнил я своих лучших фрицев — как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам: мать, обнявшая детей, потом белокурая плачущая Маргарита, это коронная была наша листовка, со стихотворным текстом.

— Я помню, я подбирал её.

— И тут сразу наплыло... Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка ИнЯза, кончила в сороке первом, и послали её переводчицей в наш отдел. Немного курносенькая, движения резкие.

— Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденца?

— Ага-га! Удивительно тщеславная была девчёнка, очень любила, чтоб её хвалили за работу (а ругать упаси боже) и представляли к орденам. Ты на Северо-Западном помнишь вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово, поюжней Подцепочья — лес?

— Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?

— По этот.

— Ну, знаю.

— Так вот в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна... Не весна, март: ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла, и этот, знаешь, запах! воздух! Мы бродили как первовлюблённые, как молодожёны. Почему, если женщина — новая для тебя, переживаешь с нею всё с самого начала, как юноша набухнешь и... А?.. Бесконечный лес! Редко где — дымок блиндажа, батарейка семидесяти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера — сырого, розового. Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить «рама». И Милка задумала: не хочу, чтоб её сбивали, зла нет. Вот если не собьют — ладно, останемся ночевать в лесу.

— Ну, это уже была сдача! Где же видано, чтоб наши зенитчики попали в «раму»!

— Да... Какие были зенитки за Ловатью и до Ловати — все по ней час добрый палили и не попали. И вот... Нашли мы пустой блиндажик...

— Надземный.

— Ты помнишь? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья.

— Там же земля мокрая, не вкопаться.

— Ну да. Внутри — хвои набросано, запах от брёвен смолистый, и дымоватый от прежних костров — печек нет, так как прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну, и света, конечно, никакого... Пока костёр горел — тени на брёвнах... Глебка! Жизнь, а?!

— Я заметил: в тюремных рассказах если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для зэков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава — зелёной. Зэк

должен верить, что теоретически на свете ещё остались милые живые женщины и они — отдаются счастливцам... Ишь ты, какой вечер вспомнил! — с любовницей да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашёл хорошую войну!.. А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные талоны слипшейся *подушечкой*, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней...

— Ну, кори, кори... Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину, это значит — совсем их не знать. Это обедняет наш дух.

— Даже — дух? А кто-то сказал: если ты хорошо узнал одну женщину...

— Чепуха.

— А если двух?

— И двух — тоже ничего не даёт. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порок наш и не грех — это замысел природы.

— Так насчёт войны! В Бутырках, в 73-й камере...

— ...на втором этаже, в узком коридоре...

— ...точно! — молодой московский историк профессор Разводовский, только что посаженный, и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков — наших и власовцев, все ребята отчаюги, оторви, где только не воевали,— так они чуть не загрызли этого профессора, рассвирепели: нет в войне ни хрёнышка хорошего! Я слушал — и молчал. У Разводовского были сильные аргументы, минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда,— но я не осмелился спорить с солдатами: кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то *кое*, что отличало меня, артиллериста при крупных пушках, от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте, кроме взятия этой крепости,— полный *придурок*, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя — ценою головы! — отступить. А я — придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...

— Да я не говорю...

— ...а приятное всплывает. Но от такого денька, когда «Юнкерсы» пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом — никак я не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет, Лёвка, хороша война за горами!

— Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо.

— Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки.

— Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...

— Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила, и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком — каптёром или банщиком, да жил *в законе с шалашовкой,* так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие *счастья* — это условность, выдумка.

— Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово «счастье» происходит от се-часье, то есть, э́тот час, э́то мгновение!

— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. «Счастье» происходит от со-частье, то есть, кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология даёт нам очень низменную трактовку счастья.

— Подожди, так моё объяснение — тоже из Даля.

— Удивляюсь. Моё тоже.

— Это надо исследовать по всем языкам. Запишу!

— Маньяк!

— От дурандая слышу! Давай сравнительным языкознанием заниматься.

— Всё происходит от *руки*? Марр?

— Ну, пёс с тобой, слушай — ты вторую часть «Фауста» читал?

— Спроси,— читал ли я первую? Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.

— Нет, первая часть доступна, чего там!

Мне нечего сказать о солнцах и мирах,—
Я вижу лишь одни мученья человека...

— Вот это до меня доходит!

— Или:

Что нужно нам — того не знаем мы,
Что знаем мы — того для нас не надо.

— Здорово!

— А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея! Ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем: только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Но всё, что ни раскладывает Мефистофель перед Фаустом — возвращение молодости, любовь Маргариты, лёгкую победу над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия — ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие

годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя, и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, для циничного Мефистофеля затемнённом и безумном, засверкала великая идея — осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада — лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. Что это? — спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутя, что принёс пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!

Но разобраться — не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший? — и лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это — гимн счастью или насмешка над ним?

— Ах, Лёвочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю — когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.

— Жалкий последыш Пиррона! Я же знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из «Фауста» на одной из своих довоенных лекций,— а они тогда были чертовски смелые! — я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно... И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой:

«А вот я люблю — и счастлива! Что вы мне на это скажете?»

— И что ты сказал?..

— А что на это скажешь?..

9

Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своём поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной, Рубин

избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.

Нержин говорил, как поведывают давно выношенные мысли:

— Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье,— я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы живём — и в этом смысл. Счастье? Когда очень-очень хорошо — вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме!! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья,— разреши мы сперва разберём природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную — без единой звёздочки жира! — ячневую или овсяную кашицу! Разве её *ешь?* разве её *кушаешь*? — ею причащаешься! к ней со священным трепетом приобщаешься, как к той пране йогов! Ешь её медленно, ешь её с кончика деревянной ложки, ешь её, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде — и она нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела питаясь *ничем,* ты живёшь шесть месяцев и живёшь двенадцать! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?

Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так (да так чаще всего и получалось), что именно он размётывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить:

— Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаём природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объёма внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним! Об этом сказано ещё в даосской этике: «Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен.»

Рубин усмехнулся:

— Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и всё вплетаешь в свой хвост.

Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет восемнадцати.

— Не путай, Лёвка, совсем не так! Я делаю выводы не из прочтённых философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно *свои* выводы сформулировать — зачем мне открывать ещё раз Америку? На

планете философии все земли давно открыты! Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай! Я хотел привести пример: в лагере, а тем более здесь, на шарашке, если выдается такое чудо — тихое нерабочее воскресенье, да за день отмёрзнет и отойдёт душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моём внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтёшь искреннюю страницу — и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен — и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! засыпаю на крыльях блаженства! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем!

Рубин добро оскалился. В этом оскале было и немного согласия и немного снисхождения к заблудшему младшему другу.

— А что говорят по этому поводу великие книги Вед? — спросил он, вытягивая губы шутливой трубочкой.

— Книги Вед — не знаю,— убеждённо парировал Нержин,— а книги Санкья говорят: «Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать.»

— Здорово ты насобачился,— буркнул в бороду Рубин.

— Идеализм? Метафизика? Что ж ты не клеишь ярлыков?

— Это тебя Митяй сбивает?

— Нет, Митяй совсем в другую сторону. Борода лохматая! Слушай! Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения — есть *страдание*! Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога! Не философы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее,— и я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму — он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью.

Рубин расхохотался. Он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника (а именно так и приходилось ему в тюрьме).

— Внемли, дитя! В тебе сказывается неокреплость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параши — и сквозь эти пары хочешь увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша

личная судьба — как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям?

— А ты гордишься своим постоянством?

— Да! Hier stehe ich und kann nicht anders.

— Каменный лоб! Вот это и есть метафизика! Вместо того чтобы здесь, в тюрьме, учиться, впитывать новую жизнь...

— Ка-кую жизнь? Ядовитую желчь неудачников?

— ...ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу — и в этом видишь свой ум? В отказе от развития — ум? В торжество вашего чёртова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь!

— Да не вера — научное знание, обалдон! И — беспристрастность.

— Ты?! Ты — беспристрастен?

— Аб-солютно! — с достоинством произнёс Рубин.

— Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя!

— Да поднимись ты выше своей кочки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе! За-ко-но-мерность! Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность! Всё идёт туда, куда надо! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!

— Лев, пойми! Я не с радостью — я с болью сердечной расставался с этим учением! Ведь оно было — звон и пафос моей юности, я для него всё остальное забыл и проклял! Я сейчас — стебелёк, расту в воро́нке, где бомбой вывернуло дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били...

— Потому что у тебя ума не хватало, дура!

— ...я по честности должен был отбросить ваши хилые построения. И искать другие. А это нелегко. Скептицизм у меня, может быть — сарай при дороге, пересидеть непогоду.

— Утки в дудки, тараканы в барабаны! Ске-епсис! Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику положено воздержание от суждений — а ты обо всём лезешь с приговором! Скептику положена атараксия, душевная невозмутимость — а ты по каждому поводу кипятишься!

— Да! Ты прав! — Глеб взялся за голову.— Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе только... парящую мысль, а обстоятельства завертят — и я кружусь, огрызаюсь, негодую...

— Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джезказгане не хватает питьевой воды!

— Тебя бы туда загнать, падло! Изо всех нас ты же один считаешь, что методы МГБ необходимы...

— Да! Без твёрдой пенитенциарной системы государство существовать не может...

— ...Так вот тебя и загнать в Джезказган! Что́ ты там запоёшь?

— Да дурак ты набитый! Ты бы хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин!

— А ну? Что — Ленин? — Нержин притих.

— Ленин сказал: у рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к холуйскому грязному либерализму.

— Как-как-как? Ты не переврал?

— Точно. Это из «Памяти Герцена» и касается...

Нержин убрал голову в руки, как сражённый.

— А? — помягчел Рубин.— Схватил?

— Да,— покачался Нержин всем туловищем.— Лучше не скажешь. И я на него когда-то молился!..

— А что?

— Что?? Это — язык великого философа? Когда аргументов нет — вот так ругаются. Рыцари языкоблудия! — произнести противно. Либерализм — это любовь к свободе, так он — холуйский и грязный. А аплодировать по команде — это прыжок в царство свободы, да?

В захлёбе спора друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке. Она давно взглядывала на Нержина со строгим неодобрением. Ей обидно было, что проходил вечер её дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в её сторону.

— Нет, у тебя-таки совсем вывернуты мозги,— отчаялся Рубин.— Ну, определи лучше.

— Да хоть какой-то смысл будет сказать так: скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов.

— И кто ж тут догматик? Я, да? Неужели я — догматик? — большие тёмные глаза Рубина смотрели с упрёком.— Я такой же арестант *призыва* сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что всё до сердцевины гниль — я бы первый сказал: надо выпускать «Колокол»! Надо бить в набат! Надо рушить! Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений! не прикрывался бы фиговым листочком, скепсисом!.. Но я знаю, что гнило — только по видимости, только снаружи, а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит надо спасать, а не рубить!

На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника Акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему.

— Пойми ты, усвой ты железный закон нашего века: *два*

мира — две системы! И третьего не дано! И никакого «Колокола», звон по ветру распускать — нельзя! недопустимо! Потому что выбор неизбежный: за какую ты из двух мировых сил?

— Да пошёл ты вон! Это Пахану так выгодно рассуждать! На этих «двух мирах» он под себя всех и подмял.

— Глеб Викентьич!

— Слушай, слушай! — теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон.— Это — величайший человек!

— Тупица! Боров тупой!

— Ты когда-нибудь поймёшь! Это вместе — и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он — мудр! Он — действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды.

— И ещё смеет нас всех дураками считать! Жвачку свою нам подсовывает...

— Глеб Викентьич!

— А? — очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.

— Вы не слышали? По телефону звонили! — очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе коричневый платок козьего пуха.— Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.

— Да-а?..— на лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои места.— Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышишь, Лёвка,— Антон. С чего б это?

Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд её, как понимал Нержин, выражал тревогу.

И как будто не было возгоравшегося ожесточения! Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки.

— Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство,— сказал он.

— С чего бы? — пожимал плечами Нержин.— Уж такая у нас второстепенная работёнка, какие-то голоса...

— Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов,— засмеялся Рубин.— А может насчёт артикуляции Семёрки?

— Так уж результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...

— Да глупости!

— Чего глупости? Наша жизнь такая... Сожжёшь там, знаешь где.— Глеб защёлкнул шторки тумбочек стола, ключи тихо

переложил в ладонь Рубину и пошёл неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждёт только худшего.

10

По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол *вольного* дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности Антона Николаевича Яконова.

Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз и больше на совещаниях, чем сам по себе.

Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, ещё в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства.

Он широко пригласил:

— Садитесь, Глеб Викентьич! — несколько хохлясь в своём полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола.

Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключённых с их именами-отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова). Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими,— и выжидающе сел за изящный лакированный столик.

Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования:

— Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал — каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую, к... Ройтману?

Яконов произнёс эту фамилию с откровенной пебрежностью и даже — перед подчинённым Ройтмана! — не присовокупив к фамилии звание майора. Плохие отношения между начальником

института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать.

Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что, может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнёсся к Семёрке не как к дорогому покойнику, а как к трупу безвестного пьяницы, найденного под марфинским забором. Семёрка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо.

— ...Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции...

(Издевается!)

— ...Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишающим вас славы некоего русского Джорджа Флетчера...

(Нагло издевается!)

— ...Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший... профит, как говорят англосаксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я — человек деловой.

Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и ещё не в той близости к Вождю Народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобычных суждений.

— Ну, так-таки вас спросить откровенно — ну что вы там сейчас делаете, в Акустической?

Нельзя было придумать вопроса беспощаднее! Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил.

— Какого чёрта вам заниматься этой попугайщиной — «стыр», «смыр»? Вы — математик? Университант? Оглянитесь.

Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их было не двое, а трое! Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в чёрном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренёва, довоенного доцента в своём Университете. Однако по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним — заключённый и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Веренёв улыбался, но тоже казался смущённым. Голос Яконова успокоительно рокотал:

— Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставлю вас на полчаса: для

дорогих воспоминаний и для информации профессором Веренёвым о задачах, выдвигаемых перед нами Шестым Управлением.

И Яконов поднял из полуторного кресла своё представительное нелёгкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понёс его к выходу. Когда Веренёв и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни.

Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину — привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко-голые «боксы» и камеры Большой Лубянки. Серые провонявшиеся пересылки. Удушливые отсеки «вагон-заков». Режущий ветер в степи над голодными, холодными зэками. Через всё это было невозможно возобновить в себе чувство, с каким выписывались буковки функций действительного переменного на податливом линолеуме доски.

Оба закурили, Нержин волнуясь, и сели, разделённые маленьким столиком.

Веренёв не в первый раз встречал своих прежних студентов — по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твёрдой линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече: уединённость подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды.

По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, неудачник, а старший отвечал — застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии учёного: эвакуация, реэвакуация, работал три года у К..., защитил докторскую по топологии... До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренёва... Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые... Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвёртом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока... А пока...

Мне нечего сказать о солнцах и мирах,
Я вижу лишь одни мученья человека...

А как он попал в это ведомство? почему ушёл из Университета?.. Да направили... И нельзя было отказаться?.. Да отказаться

можно было, но... Тут и ставки двойные... Есть детишки?.. Четверо...

Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей — контузило, убило. Такие вечно лезут вперёд, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя — или аспирантуру кончает, или ассистентствует. Да, ну а гордость-то наша — Дмитрий Дмитрич! Горяинов-Шаховской!?

Горяинов-Шаховской! Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости, то перемажет мелом свою чёрную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных «профессорских» анекдотов, душа Варшавского императорского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм — из Милуоки, Кэптауна, Йокагамы. А в 30-м году, когда университет перестряпали в «индустриально-педагогический институт» — был *вычищен* пролетарской комиссией по чистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым — говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или нет, но съездил Горяинов в Москву и привёз указание: этого не трогать!

И не стали трогать. До того стали не трогать, что вчуже становилось страшно: то напишет исследование по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога. То на публичной лекции о своём кумире Ньютоне прогудит из-под жёлтых усов:

— Тут мне прислали записку: «Маркс написал, что Ньютон — материалист, а вы говорите — идеалист.» Отвечаю: Маркс передёргивает. Ньютон верил в Бога как всякий крупный учёный.

Ужасно было записывать его лекции! Стенографистки приходили в отчаяние! По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал — и всё время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоём, деля работу, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло нечто, как мерцание звёздного неба.

Так что же с ним?.. При бомбёжке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны, Веренёв точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший Стивка, говорят, сейчас грузчиком в нью-йоркском порту.

Нержин внимательно смотрел на Веренёва. Учёные головы, вы кидаетесь многомерными пространствами, отчего ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари — это была недоработка, временный загиб; дети припомнили унижения отца — это грязное предательство. И кто это знает — грузчиком, не грузчиком? Оперуполномоченные формируют общественное мнение...

Но за что... Нержин *сел*?

Нержин усмехнулся.

Ну, а за что, всё-таки?

— За образ мыслей, Пётр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.

— В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..

— У нас-то он как раз и есть и называется *Пятьдесят восемь — десять*.

И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свёл его с Веренёвым. Шестое Управление прислало Веренёва для углубления и систематизации криптографическо-шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков, и Веренёву радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды.

Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы, Пётр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придётся сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутафорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листки были — его первая тридцатилетняя зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своём исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прежние безопасные века? Что́ влечёт его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницею одной пошевельнуть — и отлетит у Нержина голова? Как говорится — *что тебе надо больше всех*? Больше всех — что тебе надо?

Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?.. Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теория вероятностей, теория чисел, теория ошибок... Мёртвый мозг. Сухая душа. Что ж останется на размышления? Что ж останется на познание жизни?

Зато — шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не изрезана, не ошершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на доски замертво

бесчувственным бревном, в грязных чунях,— с удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник.

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела?

Милое благополучие! Зачем — ты, если ничего, кроме тебя?..

Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник!

Все доводы сердца — отойди от меня, сатана!

— Пётр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?

— Как вы сказали?

— Я говорю: сапоги вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить.

— Я, простите, не понимаю...

— Пётр Трофимович! В скорлупе вы живёте! Мне ведь, окончу срок,— ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею — как проживу? Там — медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции ещё три мезозойских эры никому не вознадобятся.

— Что вы говорите, Нержин?! В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве...

— Эх, Пётр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: «одна дьяка, что за рыбу, что за рака». Дьяка — это по-украински благодарность. Так вот не жду я от них дьяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду!

Дверь растворилась. Вошёл осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу.

— Ну, как, розенкрейцеры? Договорились?

Не поднимаясь, твёрдо встретив взгляд Яконова, Нержин ответил:

— Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Акустической лаборатории не законченной.

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:

— Математика! — и артикуляция... Вы променяли пищу богов на чечевичную похлёбку. Идите.

И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте:

«Нержина — списать».

11

Уже много лет — военных и послевоенных, Яконов занимал верный пост главного инженера Отдела Специальной Техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окаёмкой и тремя крупными звёздами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высоко-чиновными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноречием своим Яконов осенял колыбели всех технических затей Отдела; увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием или долблёные корыта их чёрных гробов или золотое коронование героев.

Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого Хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлётов и глубин.

Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого года. В этом январе Отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию — такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с кунцевской дачи разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. Августейшим пальцем с жёлтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфино, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие:

— За́-чэм мне эти передатчики? Ква́р-тырных варо́в ловить?

И сроку дал — до первого января сорок девятого года. Потом подумал и добавил:

— Ладна, да́ первого мая.

Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали — и определили Яконову вытаскивать Марфино самому. Напрасно тщился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник Отдела Фома Гурьянович Осколупов посмотрел кошачьими зеленоватыми глазами — Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрьме) и смолк.

С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера Отдела в апартаментах министерства. Главный инженер дневал и ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упразднённого алтаря.

Сперва даже приятно было самому поруководить: устало захлопнуть дверцу в персональной «Победе», убаюканно домчаться в Марфино; миновать в оплетенных колючкою воротах вахтёра, отдающего приветствие; и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами марфинской рощи. Начальство ещё ничего не требовало от Яконова — только планы, планы, планы и соцобязательства. Зато рог изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом: английская и американская покупная аппаратура; немецкая трофейная; отечественные зэки, вызванные из лагерей; техническая библиотека на двадцать тысяч новинок; лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела; наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые — для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских,— и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом, под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрёпанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвёртом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из хрусталя, передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре — германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории! Всё это было изложено в рапорте заключённого Рубина на имя инженер-полковника и было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину (в арестантском просторечии — Шишкину-Мышкину), ибо что теперь делать? не рапортовать же выше о своей оплошности? А момент всё равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объекта, а для соблюдения неущерблённой секретности ехал разговаривать с ними на Лубянку.

Немцев отпускали, а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашке, зэков, только в гряз-

ных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк; зэки же с покрикиванием «раз-два-взяли!» опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимались с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами — в лагерь, ночевать.

Так в этом волшебном замке, отделённом от столицы и её несведущих жителей очарованною огнестрельною зоной, лемуры в чёрных бушлатах создавали сказочные перемены: водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб.

Между тем благоучреждённое заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате ещё один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками-скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник Особой и Специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того при трагических обстоятельствах.

Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человечества разговаривал с китайской провинцией Янь-Нань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински:

— Лаврентий! Какой дурак у тебя начальником связи? Убери.

И Мамурина убрали — то есть, посадили на Лубянку. Его убрали, однако не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний — судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули *четвертную* и закатали бы в Норильск. Но помня истину «сегодня ты, а завтра я», вершители МВД попридержали Мамурина; когда же убедились, что Сталин о нём забыл — без следствия и без срока отправили на загородную дачу.

Как-то, летним вечером сорок восьмого года, на марфинскую шарашку привезли нового зэка. Всё было необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал его не простой *вертухай*, а Начальник Отдела Тюрем МГБ; и то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.

Слышали (зэкам ничего не положено слышать, но они всегда всё слышат) — слышали, как приезжий сказал, что «колбасы он не хочет» (?!), начальник же Отдела Тюрем уговаривал его «покушать». Подслушал это через перегородку зэк, который пошёл к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий всё-таки арестант, и, удовлетворённое, легло спать.

Где ночевал приезжий в ту ночь — историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца (куда позже арестантов уже не пускали) один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.

— Ну, браток,— толкнул он его в грудки,— откуда? На чём погорел? Садись, покурим.

Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледнолимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе и в сердцах сказал:

— Ух ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена, после отбоя запрут с нами — разговоришься!

Но «гада из стеклянной банки» в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую проявительную фотографов, втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходившее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы, сама же лестница — на север, так что свет и днём еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, определило всё же решётку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения.

Тогда-то и окрестили приехавшего «Железной Маской». Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было недозволено. Железная Маска был так жёлт и тощ, как бывает доходно́й зэк после хорошего двухлетнего следствия,— однако безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии.

Много позже, когда Железная Маска уже стал являться на работу в Семёрку, зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в Отделе Особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарши и кричал:

— Ты *мимо чьего* кабинета топаешь, хам?? Как твоё фамилие?

Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своём одиночестве он всё читал книги — «Борьба за мир», «Кавалер Золотой Звезды», «России славные сыны», потом стихи Прокофьева, Грибачёва — и! — с ним случилось чудесное превращение: он и сам стал писать стихи! Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамурина были острей, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он попрежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил Мудрого Вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна (ему, кстати, готовили отдельно) и не разлука с семьёй (его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночёвкой), вообще — не примитивные животные потребности,— горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелей переносить заключение, чем окружающей беспринципной сволочи.

Рубин был коммунист. Но услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него,— всё же своё время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь.

А Мамурина стегало безутишное, как зубная боль, стремление — оправдаться перед партией и правительством. Увы, всё знакомство со связью его, начальника связи, кончалось держанием в руках телефонной трубки. Поэтому *работать* он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если б это было руководство делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему расположения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо было делом заведомо надёжным.

К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадёживающих дела: Вокодер и Семёрка.

По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и, лишь впряженные более тяжёлой рукой в одну колесницу, не могли из неё вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в Акустическую для разработки системы «вокодер», что значило по-английски voice coder (кодированный голос), а по-русски было

окрещено «аппарат искусственной речи», но это не привилось. В ответ и Яконов ободрал все прочие группы: самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в «Семёрку», лабораторию № 7. Хилые поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе.

Мамурин избрал для себя Семёрку и потому, что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчинённому Ройтману, и потому, что в министерстве тоже считали разумным, чтобы за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз.

С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте — разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щёк, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до двух часов ночи, переведя Семёрку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в Семёрке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств.

Туда, в Семёрку, и пошёл Яконов, когда оставил Веренёва с Нержиным у себя в кабинете.

12

Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара,— так и среди трёхсот зэков марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута Семёрка.

Все в институте знали её истинное наименование — «лаборатория клиппированной речи», но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово *клиппированная* было с английского и означало «стриженая» речь. Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый глуповатый столяр знали, что установка эта строится с использованием американских образцов, однако принято было, что — только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клиппировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах.

Клиппирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над

ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевезти самолётом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный воздух и лунный свет.

То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать и с речью, да ещё воссоздать её так, чтобы не только было всё понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит.

На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством: в случае успеха разработки ближайшие к ней зэки получали всё — свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве; остальные же не получали ничего — ни дня скидки со сроку, ни ста граммов водки в честь победителей.

Середины не было.

Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале,— самые цепкие арестанты старались попасть в Семёрку, чтоб из неё *выскочить* на волю.

Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прыщеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа.

Но проницательный Яконов выбирал в Семёрку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осуждённый на десять лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. (В шутку Амантая считали старейшим работником *фирмы*, ибо, кончив радиоинститут в июне сорок первого года и брошенный в месиво смоленского направления, он как татарин был извлечён немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы «Лоренц», когда её руководители ещё подписывались в письмах «mit Heil Hitler!».) Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфино он попал по ошибке неосведомленного чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛага. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфино быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радио-измерений.

Ещё тут был инженер Хоробро́в, большой знаток радио. В группу № 7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился Семёркой, никак не включался в её бешеный темп — и Мамурин тоже тяготился им.

Наконец долгоруким молниевидным *спецнарядом* сюда, в марфинскую Семёрку, был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бобынин — и сразу поставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний.

Семёрка была такая же комната, как Акустическая, только этажом над ней. Так же она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в её углу одоробла акустической будки.

Яконов по несколько раз на дню бывал в Семёрке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперёд и захлопотали ещё радостней и быстрей, да Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер — в просвет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтён, и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок.

Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых зэков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его измождённого лица и костлявой фигуры.

То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах нежильца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость:

— Антон Николаич! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс — и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю.

«Почитать» и «послушать» — это была обычная проба качества телефонного тракта: тракт менялся по несколько раз в день — добавкой, или устранением, или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчёта не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкормышем Нержиным.

Привычно подчинённые единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошёл в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включённые на другом конце тракта, и стал слушать. В науш-

никах творилось нечто ужасное: звуки разрывались тресками, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью вглядывается в уродства своего детёныша, так Яконов не только не сдёргивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное нарочито-чёткое чтение, к тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок,— поэтому Якопов легко угадывал недослышанное, понимал, что это — угадка, и забывал, что это угадка, и всё более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше.

И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Грузный, широкоплечий, с головой, демонстративно остриженной наголо, хотя на шарашке разрешались любые причёски, Бобынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фото-осциллограммы, мерил остриями измерителя.

Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия, бесправнее колхозника. Яконов был вельможа.

И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось!

Можно построить Эмпайр-стэйт-билдинг. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего.

Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.

Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.

Бобынин знал всё это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его,— негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие так же разговаривают с Бобыниным.

Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:

— Лучше, Яков Иваныч, определённо лучше! Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее.

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него *ухо хорошее*. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией — но после похвалы пришлось это

скрывать. Славой своего «хорошего уха» он и держался тут прочно, пока ещё прочней не окопался капитальной работой «Русская речь в восприятии слухо-синтетическом и электроакустическом».

Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали, уже по десятому разу, слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряжёнными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что — лучше, что намного лучше (идея перестройки на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он ещё до перестройки знал, что будет лучше). Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на тридцать два импульса. Двое услужливых электромонтажников, Любимичев и Сиромаха, разодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.

Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму.

Чёрная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме Семёрки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, зэки — уходить спать, а вольняшки — бежать к остановке автобусов, ходящих попозднее уже реже.

Илья Терентьевич Хоробров задней стороной лаборатории, не на виду у начальства, тяжёлой поступью прошёл за стеллаж к Потапову. Хоробров был вятич, и из самого медвежьего угла — из-под Кая, откуда сплошным тысячевёрстным царством не в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛаг. Он навиделся и понимал побольше многих, ему иногда становилось так не впротерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб уличного репродуктора. Необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять своё ощущение справедливости — пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засевались поля. Но несколько лбов-сыщиков в течении месяца изучали почерки всех избирателей участка — и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь! — под доносами стукачей пришлось замолчать Хороброву и в лагере.

Сейчас благоразумие требовало, чтоб он толпошился средь

общей работы Семёрки и обеспечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нём до той высоты, когда уже не хочется и жить.

Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его столу и тихо предложил:

— Андреич! Смываться пора. Суббота.

Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защёлку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил:

— Как, Терентьич, подходит? По цвету?

Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:

— Зачем раздражать дракона? Читайте передовицы «Правды»: время работает на нас. Антон уйдёт — и мы тот-час-же испаримся.

У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе.

Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам, Рубину, и без того весь вечер настроенному нерабоче, хотелось только идти скорей в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта Семёрки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 герц должен проходить хуже (этим подходом к делу сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы «Жирные сазаны ушли под палубу» и «Вспомнил, спрыгнул, победил» — известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звукосочетаний. Наконец, он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть, гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, ещё беспокоит его форманта «ж» и вовсе не идёт столь характерное для славянских языков сочетание согласных «всп», над чем и надо поработать.

Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что, значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от осциллограммы и густым басом отозвался насмешливо:

— Глупости! Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а метод искать.

Все неловко замолчали под его твёрдым неотклоняемым взглядом.

А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал

к портсигару розовую защёлку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях — и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да ещё и не пользуясь никакими инструментами.

Никто не спешил уйти с работы! И это было накануне украденного воскресенья!

Хоробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера.

Мамурин бледно полыхнул ему в спину:

— Илья Терентьич! А вы почему не послушаете? Вообще — куда вы направились?

Хоробров так же неторопливо обернулся и, искажённо улыбаясь, ответил раздельно:

— Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдётся всё благополучно — проследую в тюрьму и лягу спать.

В наступившей трусливой тишине Бобынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.

Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо:

— То есть, как это — спать? Все люди работают, а вы — спать?

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания:

— Да так — просто с п а т ь! Я по конституции свои двенадцать часов отработал — и хватит! — И, уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась — и дежурный по институту объявил:

— Антон Николаич! Вас — срочно к городскому телефону.

Яконов поспешно встал и вышел перед Хоробровым.

Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хороброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой ещё до войны аварии с мотоциклом.

Звонил Яконову замминистра Селивановский. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство, на Лубянку.

И это была жизнь!..

Яконов вернулся в свой кабинет к Веренёву и Нержину, отправил второго, первому предложил подъехать в его машине,

оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью «Нержина — списать» добавил:

«и — Хороброва».

13

Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но ещё не почувствовав его до конца, вернулся в Акустическую,— Рубина не было. Остальные были все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза.

— Спокойно, парниша! — задержал он Нержина взброшенной пятернёй, как автомашину.— Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете? — И вспомнил: — Да! А зачем вас вызывали? *кес ке пассэ?*

— Не хамите, Валентайн,— хмуро уклонился Нержин. Этому одноданцу своей науки он не мог бы признаться, что отрёкся, только что отрёкся от математики.

— Если у вас неприятности — могу порекомендовать: включайте танцевальную музыку! А чего нам огорчаться? Вы читали этого... как его...? ну, папироса в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других призывает... ну, вот это:

Моя милиция —
Меня стережёт!
В запретной зоне —
Как хорошо!

Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду:

— Вадька! Осциллограф включи-ка!

Нержин подошёл к своему столу, ещё не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки её подрагивали.

— А где Борода, Серафима Витальевна?

— Его тоже Антон Николаич вызвал, в Семёрку,— громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, ещё громче, слышно всем, попросила:

— Глеб Викентьич! Вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Ещё есть полчаса.

Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности.

— Где ж я вас проверю в таком шуме?

— А... в будку пойдёмте.— Она со значением посмотрела на Нержина, взяла таблицы, написанные тушью на ватмане, и прошла в будку.

Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полую, аршинной толщины дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь и, ещё шторы не сбросил, Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки, целуя в губы.

Он подобрал её на руки, лёгкую — было так тесно, что носки её туфель стукнулись о стену, сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил.

— Что́ вас Антон вызывал? Что было плохого?

— А усилитель не включён? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать?..

— ...Что было плохое?

— Почему ты думаешь, что плохое?

— Я сразу почувствовала, когда ещё звонили. И по вас вижу.

— А когда будешь звать на «ты»?

— Пока не надо... Что случилось?

Тепло её незнакомого тела передавалось его коленям и через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки, ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. А и память юности не у каждого обильна.

Симочка была удивительно легка: кости ли её надуты воздухом, из воска ли её сделали — она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объёме перьями.

— Да, перепёлочка... Кажется, я... скоро уеду.

Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала:

— Ку-да-а?

— Как куда? Мы — люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли,— в лагерь,— рассудливо объяснял Глеб.

— За что-о-о же?? — не словами, а стоном вышло из Симочки.

Глеб смотрел близко и даже недоумённо в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам.

— Можно было и остаться. Но в другой лаборатории. Мы всё равно не были бы вместе.

(Он так сейчас выговорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вокодер. На самом деле таково было арестантское крайнее положение, что и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал бы всего этого с женщиной, работающей рядом,

и оставшись в Акустической — с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки.)

А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала.

Эти минувшие недели, после первого поцелуя,— зачем было щадить Симочку, жалеть её призрачное будущее счастье? Вряд ли найдёт она жениха, всё равно достанется кому-нибудь так. Сама идёт в руки, и с таким испугом стучит у обоих... Перед тем, как нырнуть в лагеря, где уж этого ни за что не будет...

— Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увезти память о... о твоём... о твоей... Вообще оставить тебя... с ребенком...

Она стремглав опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову.

— Перепёлочка... ну, не прячься... Ну, подними головку. Что ты замолчала? А ты — хочешь?

Она вскинула голову и изглубока сказала:

— Я буду вас ждать! Вам — *пять* осталось? — я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь — вернётесь ко мне?

Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!

Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но всё равно, как если бы и на Марсе.

А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, ещё были в письменном столе захороненные — его этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли. Его первые нащупывающие формулировки.

Ни клочка записей не выпускали из шарашки. Да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок.

И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки.

Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой.

Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать её маленькие неокруглые плечи, оголённые из-под блузки его руками.

— Ты меня как-то спрашивала, что́ я всё пишу да пишу,— с затруднением сказал он.

— А что? Что ты пишешь? — любопытливо спросила Симочка.

Если б она не перебила, не спросила так жадно,— он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила — и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые незаметные проволочки мин, проволочки ко взрывателям.

Вот эти доверчивые любящие глаза — они вполне могли работать на оперуполномоченного.

Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он — она. Так это могло быть подстроено!..

— Так, историческое,— ответил он.— Вообще историческое, из петровских времён... Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет — я ещё буду писать. А куда я всё дену, уезжая?

И подозрительно углубился глазами в её глаза.

Симочка покойно улыбалась:

— Как — куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый.— И ещё высматривала в нём: — Скажи, а твоя жена — очень красивая?

Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что её стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а — раскраснелая, в растрёпанной одежде — стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу:

— ...дьер... фскоп... штап... Да, я слушаю... Что, Валентин Мартыныч? Двойной диод-триод?.. Шесть-Гэ-семь нету, но, кажется, есть шесть-Гэ-два. Сейчас я кончу таблицу и выйду... гвен... жан...— и отпустила клапан. И ещё тёрлась головой о грудь Глеба.— Надо идти, становится заметно. Ну, отпустите меня...

Но в голосе её не было никакой решительности.

Он плотней охватил и сильно прижал её к себе вверху, внизу, всю:

— Нет!.. Я отпускал тебя — и зря. А вот теперь — нет!

— Опомнитесь, меня ждут! Надо лабораторию закрывать!

— Сейчас! Здесь! — требовал он.

И целовал.

— Не сегодня! — возражала она, послушная.

— Когда же?

— В понедельник... Я опять буду дежурить, вместо Лиры... Приходите в ужинный перерыв... Целый час будем с вами... Если этот сумасшедший Валентуля не придёт...

Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застёгнута, причёсана и вышла первая, неприступно-холодна.

14

— Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражала.

— Не попадёшь.

— С пяти метров — чего не попасть? Спорим на завтрашний компот?

— Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь.

— Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают — лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.

— Синий свет?

— А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Иваныч, вы не спите? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог.

— Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет?

— Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.

— Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.

— Мама! — в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу — о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.

— А что, лампадке здесь было бы подстать. Ведь это — бывший алтарь.

— Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.

— Дмитрий Александрыч! Что вы делаете? В декабре окно открываете! Пора это кончать.

— Господа! Кислород как раз и делает зэка бессмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе — ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.

— И даже на полтора! На верхних койках духотища!

— Эренбурга вы как считаете,— по ширине?

— Нет, господа, по длине, очень хорошо упирается в раму.

— С ума сойти, где мой лагерный бушлат?

— Всех этих кислородников я послал бы на Ой-Мякон, на *общие*. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков,— в козлятник бы приползли, только бы тепло!

— В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я — за подогретый кислород.

— ...Что за чёрт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет?

— Валентуля, вы фрайер! Вы бродили б ещё до часу! Какой вам свет в двенадцать?

— А вы — пижон!

В синем комбинезоне
Надо мной пижон.
В лагерной зоне —
Как хорошо!

Опять накурили? Зачем вы все курите? Фу, гадость... Э-э, и чайник холодный.

— Валентуля, где Лев?

— А что, его на койке нет?

— Да книг десятка два лежит, а самого нет.

— Значит, около уборной.

— Почему — около?

— А там лампочку белую вкрутили, и стенка от кухни тёплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умываться. Что ему передать?

— Да-а... Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну такая сочная...

— Друзья, я вас прошу — о чём-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей — это социально-опасный разговор.

— Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.

— Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно откуда-то.

— Спать захочешь — уснёшь, небось.

— Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?

— А позывные? Для такой страны, как Россия?!.. Жабьи вкусы.

— В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо? — жарко очень и воды нет...

— В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — лётчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.

— Михаил Кузьмич, что вы там всё ворочаетесь?

— Ну, повернуться с боку на бок я могу?

— Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот внизу отдаётся здесь, наверху, громадной амплитудой.

— Вы, Иван Иваныч, ещё лагерь миновали. Там — *вагонка* четверная, один повернётся — троих качает. А внизу ещё кто-нибудь цветным тряпьём завесится, бабу приведёт — и наворачивает. Двенадцать баллов качка! Ничего, спят люди.

— Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали?

— Я думаю там пентод поставить и реостатик маленький.

— Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет — на полу не оставит, под голову ло́жит.

— В те года на полу не оставляй!

— В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно: с вокзала к крематориям ведут — и музыка играет.

— Рыбалка там замечательная, это одно, а другое — охота. Осенью час походишь — фазанами весь изувешен. В камыши зайдёшь — кабаны, в поле — зайцы...

— Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом — рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят — скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом — основная идея шарашек.

— ...Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!

— Валька, не скули, подушкой наверну!

— Куда, Валентуля?

— Как повезли?

— Младшина пришёл, сказал — надеть пальто, шапку.

— И с вещами?

— Без вещей.

— Наверно, к начальству большому.

— К Фоме?

— Фома бы сам приехал, хватай выше!

— Чай остыл, какая пошлость!..

— Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело!

— Спокойно, а как же мешать сахар?

— Беззвучно.

— Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда,— мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадёт, что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце — Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?

— Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!

— Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный... *С'э лё мо!* Он хочет жить!

— Валька! Куда повезли Бобынина?
— Откуда я знаю? Может — к Сталину.
— А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?
— Меня? Хо-го! Парниша! Я б ему объявил протест по всем пунктам!
— Ну, по каким, например?
— Ну, по всем-по всем-по всем. *Пар экзампль* — почему живём без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.
— Прянчик! Заткнись! Все спят давно — чего разорался?
— Но если я не хочу спать?
— Друзья, кто курит — прячьте огоньки, идёт младшина.
— Что это он, падло?.. Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант — долго ли нос расшибить?
— Прянчиков!
— А?
— Где вы? Ещё не спите?
— Уже сплю.
— Оденьтесь быстро.
— Куда? Я спать хочу.
— Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.
— С вещами?
— Без вещей. Машина ждёт, быстро.
— Это что — я вместе с Бобыниным поеду?
— Уж он уехал, за вами другая.
— А какая машина, младший лейтенант,— воронок?
— Быстрей, быстрей. «Победа».
— Да кто вызывает?
— Ну, Прянчиков, ну что я вам буду всё объяснять? Сам не знаю, быстрей.
— Валька! Скажи там!
— Про свидания скажи! Что, гады, Пятьдесят Восьмой статье свидание раз в год?
— Про прогулки скажи!
— Про письма!..
— Про обмундирование!
— Рот фронт, ребята! Ха-ха! *Адьё!*
—...Товарищ младший лейтенант! Где, наконец, Прянчиков?
— Даю, даю, товарищ майор! Вот он!
— Про всё, Валька, кроши, не стесняйся!..
— Во псы разбегались среди ночи!
— Что случилось?
— Никогда такого не было...
— Может, война началась? Расстреливать возят?..

— Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас — по одному возить? Когда война начнётся — нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы к концлагерях, в сорок пятом...

— Ну, ладно, спать, браты! Завтра узнаем.

— Это вот так, бывало, в тридцать девятом — в сороковом Бориса Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия,— уж он с пустыми руками не вернется: или начальника тюрьмы переменят или прогулки увеличат... Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного масла, а простым лошадкам по двадцать... Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное...

— Умер?

— Нет, освободился... Лауреатом стал.

15

Потом стих и мерный усталый голос *повторника* Абрамсона, побывавшего на шарашках ещё во время своего первого срока. В двух сторонах дошёптывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться.

Неяркая синяя лампочка над широкими четырёхстворчатыми дверьми, вделанными во входную арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната — может быть, единственная такая в Москве, имела двенадцать добрых мужских шагов в диаметре, вверху — просторный купол, сведенный парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге — пять стройных, скругленных поверху окон. Окна были обрешечены, но *намордников* на них не было, днём сквозь них был виден по ту сторону шоссе парк, необихоженный, как лес, а летними вечерами доносились тревожащие песни безмужних девушек московского предместья.

Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался. Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов. На соседних койках — слева, через проходец, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый вакуумщик «Земеля» (под ним пустела кровать Прянчикова), справа же, на койке, приставленной вплотную, метался в бессоннице Руська Доронин, один из самых молодых зэков шарашки.

Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал всё ясней: отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни. Он должен был повлечь — и, может быть, очень вскоре — тяжёлый

долгий этап куда-нибудь в Сибирь или в Арктику. Привести к смерти или к победе над смертью.

Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что успел он за трёхлетнюю шарашечную передышку? Достаточно ли он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал?

И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год (не было, конечно, никакого настроения напоминать друзьям эту дату). Середина ли это жизни? Почти конец её? Только начало?

Но мысли мешались. Огляд вечности не состраивался. То вступала слабость: ведь ещё не поздно и поправить, согласиться на криптографию. То приходила на память обида, что одиннадцать месяцев ему всё откладывают и откладывают свидание с женой — и уж теперь дадут ли до отъезда?

И, наконец, просыпался и раскручивался в нём — нахрап и хват, совсем не он, не Нержин, а тот, кто вынужденно выпер из нерешительного мальчика в очередях у хлебных магазинов первой пятилетки, а потом утверждался всей жизненной обстановкой и особенно лагерем. Этот внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какие обыски ждут — на выходе из Марфина, на приёме в Бутырки, на Красную Пресню; и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля; как суметь вывезти с шарашки старую спецодежду (работяге каждая лишняя шкура дорога); как доказать, что алюминиевая чайная ложка, весь срок возимая с собой, его собственная, а не украденная с шарашки, где почти такие же.

И был зуд — прямо хоть сейчас, при синем свете, вставать и начинать все приготовления, перекладки и похоронки.

Между тем Руська Доронин то и дело резко менял положение: он валился ничком, по самые плечи уходя в подушку, натягивая одеяло на голову и стаскивая с ног; потом перепластывался на спину, сбрасывая одеяло, обнажая белый пододеяльник и темноватую простыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня задерживалась). Вдруг он сел на кровати и посунулся назад вместе с подушкой к железной спинке, открыв там на углу матраса томищу Моммзена, «Историю древнего Рима». Заметив, что Нержин, уставясь в синюю лампочку, не спит, Руська хриплым шёпотом попросил:

— Глеб! У тебя есть близко папиросы? Дай.

Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили.

Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика — под клубом вольных тём-

но-белых волос даже в мертвенном свете синей лампочки казалось привлекательным.

— На вот,— подставил ему Нержин пустую пачку из-под «Беломора» вместо пепельницы.

Стали стряхивать туда.

Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему.

Но оказалось, что Руська, хотя ему было только двадцать три года (а лагерный срок закатали ему двадцать пять) в покровительстве вовсе не нуждался: и характер, и мировоззрение его вполне сформировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений — не так двумя неделями учёбы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском (Глебу это было сообщено под глубоким секретом) и теперь двумя годами заключения. Со мгновенной переимчивостью, как говорится — с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛага, всегда был настороженн, лишь с немногими — откровенен, а со всеми — только казался ребячески откровенным. Ещё он был кипуч, старался уместить много в малое время — и чтение тоже было одним из таких его занятий.

Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и ещё меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкшей комнаты спросил шёпотом:

— Ну? Как теория циклов?

Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Моммзена.

Руська обернулся на шёпот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие доосмыслить, о чём его спросили.

— Как с теорией цикличности, говорю?

Руська вздохнул, и вместе с выдохом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль. Он обвис, сполз на локоть, бросил погасший недокурок в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал:

— Всё надоело. И книги. И теории.

И опять они замолчали. Нержин уже хотел отвернуться на другой бок, как Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:

— История до того однообразна, что противно её читать. Всё равно как «Правду». Чем человек благородней и честней,— тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов — и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом

голодный народ — и казнён, будто бы он добивался царской власти. Марк Манлий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий,— казнён как государственный изменник! А?..

— Да что ты!

— Начитаешься истории — самому хочется стать подлецом, наиболее выгодное дело! Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали — этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище! Всё — уже было... Уже тогда Гнея Невия сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые пьесы. Ещё этолийцы, задолго до нас, объявили лживую амнистию, чтоб заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Ещё в Риме выяснили истину, которую забывает ГУЛаг: что раба неэкономично оставлять голодным и надо кормить. Вся история — одно сплошное ...ядство! Кто кого схопает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни развития. И некуда звать.

В безжизненном освещении особенно растравно выглядело подёргивание неверия на губах — таких молодых!

Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызывали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность.

— Хочу тебя предупредить, Ростислав,— очень тихо возражал Нержин, склонясь почти к уху соседа.— Как бы ни были остроумны и беспощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма,— пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью — потому что люди ведь не могут остановиться, и значит не могут отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих...

— Хотя бы в болото? Лишь бы переться? — со злостью возразил Руська.

— Хотя бы... Ч-ч-чёрт его знает,— заколебался Глеб.— Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки. На русской почве особенно нужен, хотя и особенно трудно прививается. Но скептицизм не может стать твёрдой землёй под ногой человека. А земля всё-таки — нужна?

— Дай ещё папиросу! — попросил Ростислав. И закурил нервно.— Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться! на историка! — раздельным громковатым шёпотом говорил он.— Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок иди-

ота. Ну, стал бы учёным, допустим даже не продажным, хотя трудно допустить. Ну, написал бы пухлый том. С какой-то ещё восемьсот третьей точки зрения посмотрел бы на новгородские пятины или на войну Цезаря с гельветами. Столько на земле культур! языков! стран! и в каждой стране столько умных людей и ещё больше умных книжек — какой дурак всё это будет читать?! Как это ты приводил? — «То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, ещё большими знатоками, как призрачное», да?

— Вот-вот,— упрекнул Нержин.— Ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить, что ли?

— Да, да, любить! — торжествующим хриплым шёпотом перехватил Руська.— Любить! — но не историю, не теорию, а де-ву-шку! — Он перегнулся на кровать к Нержину и схватил его за локоть.— А *чего* лишили нас, скажи? Права ходить на собрания? на политучёбу? Подписываться на заём? Единственное, в чём Пахан мог нам навредить — это лишить нас женщин! И он это сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это может представить,— бил он себя в грудь,— что такое женщина для арестанта?

— Ты... не кончи сумасшествием! — пытался обороняться Нержин, но самого его охватила внезапная горячая волна при мысли о Симочке, о её обещании в понедельник вечером...— Выбрось эту мысль! На ней мозг затемнится.— (Но в понедельник!.. Чего совсем не ценят благополучные семейные люди, но что подымается знобляющим зверством в измученном арестанте!) — Фрейдовский комплекс или симплекс, как там его, чёрта,— всё слабей говорил он, мутясь.— В общем: сублимация! Переключай энергию в другие сферы! Занимайся философией — не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.

(А сам содрогнулся, представляя подробно, как это будет послезавтра — и от этой мысли, до ужаса сладкой, отнялась речь, не хотелось продолжать.)

— У меня мозг *уже* затемнился! Я не засну до утра! Девушку! Девушку каждому надо! Чтоб она в руках у тебя... Чтобы... А, да что там!..— Руська обронил ещё горящую папиросу на одеяло, но не заметил того, резко отвернулся, шлёпнулся на живот и дёрнул одеяло на голову, стягивая с ног.

Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже катившуюся меж их кроватей вниз, на Потапова.

Философию представлял он Руське как убежище, но сам в том убежище выл давно. Руську гонял всесоюзный розыск, теперь когтила тюрьма. Но что держало Глеба, когда ему было семнадцать и девятнадцать, и вот эти горячие шквалы затмений

налетали, отнимая разум? — а он себя струнил, передавливал и пятаком поросячьим тыкался, тыкался в ту диалектику, хрюкал и втягивал, боялся не успеть. Все эти годы до женитьбы, свою невозвратимую, не тем занятую юность, горше всего вспоминал он теперь в тюремных камерах. Он беспомощно не умел разрешать тех затмений: не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Ещё его связывала от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина, опытней и мудрей, не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял! только на тюремном полу перебрал и осознал — и этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир — жгли его тут напрокол.

Ну ничего, теперь уже дожить меньше двух суток, до вечера понедельника.

Глеб наклонился к уху соседа:

— Руська! А у тебя — что? Кто-нибудь есть?

— Да! Есть! — с мукой прошептал Ростислав, лёжа пластом, сжимая подушку. Он дышал в неё — и ответный жар подушки, и весь жар юности, так зло-бесплодно чахнущей в тюрьме,— всё накаляло его молодое, пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тело. Он сказал — «есть», и он хотел верить, что девушка есть, но было только неуловимое: не поцелуй, даже не обещание, было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером, как он рассказывал о себе — и в этом взгляде девушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и биографию свою как необыкновенную. Ничего ещё не произошло между ними, и вместе с тем уже произошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у него — есть.

— Но кто она, слушай? — допытывался Глеб.

Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из темноты:

— Тс-с-с... Клара...

— Клара?? Дочь прокурора?!!

16

Начальник Отдела Специальных Задач кончал свой доклад у министра Абакумова. (Речь шла о согласовании календарных сроков и конкретных исполнителей смертных актов за границей в наступающем 1950-м году; принципиальный же план политических убийств был утверждён самим Сталиным ещё перед уходом в отпуск.)

Высокий (ещё увышенный высокими каблуками), с зачёсанными назад чёрными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попирал локтями свой

крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену фигуре и даже поигрывал в теннис). Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности. Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать.

Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин и высокое пристенное зеркало; потолок — высокий, лепной, на нём люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом (министр разрешил там оставить всё, как было, только зелёный цвет перекрасить, потому что терпеть его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на зиму и на лето; и большие окна, выходившие на площадь и не отворяемые никогда. Часы тут были: стоячие, отменные футляром; и накаминные, с фигуркою и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время, но Абакумов никогда не ошибался, потому что ещё двое золотых у него было при себе: на волосатой руке и в кармане (с сигналом).

В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. Росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но ревнивее всего росли портреты Вдохновителя и Организатора Побед. Даже в кабинете простых следователей он был изображён много больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Вождь Человечества был выписан кремлёвским художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от самого себя, частью — от других королей и президентов, и только югославские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя.

Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от стола,— Абакумов ещё и на столе держал барельеф Сталина на стоячей родонитовой плите.

А ещё на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто направлял Абакумова непосредственно.

Когда начальник смертного отдела ушёл,— во входных дверях показались цепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра Селивановский, начальник отдела Специальной Техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же отдела инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не сходя со средней полоски ковра,

гуськом, по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного Селивановского.

Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Селивановский из десяти заместителей министра был на особом положении как бы нестроевого: он заведовал не оперчекистскими и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой секретной техникой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему меньше перепадало от гнева министра, он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное толстое кресло перед столом.

Когда Селивановский сел,— передним оказался уже Осколупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность.

Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три — и что-то симпатичное показалось ему в нём. Осколупов был расположен к полноте, шея его распирала воротник кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. Одубелое лицо его, изрытое оспой щедрее, чем у Вождя, было простое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента, много из себя воображающего.

Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил:

— Ты — кто?

— Я? — перегнулся Осколупов, удручённый, что его не узнали.

— Я? — выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул, сколько мог, свой вызывающий мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям,— и никакой мысли не дозволено было выразиться в его больших синих глазах, когда он представился.

— Ты, ты,— подтвердительно просопел министр.— Объект Марфино — твой, значит? Ладно, садитесь.

Сели.

Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа, почесал им за ухом и сказал:

— В общем, так... Вы мне голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев? Когда будут готовы два аппарата? — И угрожающе предупредил: — Не врать! Вранья не люблю!

Именно к этому вопросу и готовились три высоких лгуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперёд из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнёс:

— Товарищ министр!.. Товарищ генерал-полковник! — (Аба-

кумов больше любил так, чем «генеральный комиссар».) — Разрешите заверить вас, что личный состав отдела не пожалеет усилий...

Лицо Абакумова выразило удивление:

— Что мы? — на собрании, что ли? Что мне вашими усилиями? — задницу обматывать? Я говорю — к числу к какому?

И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке-календарю.

Тогда по условию вступил Яконов, самим тоном своим и негромкостью голоса подчёркивая, что говорит не как администратор, а как специалист:

— Товарищ министр! При полосе частот до двух тысяч четырёхсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера...

— Херц, херц! Ноль целых, херц десятых — вот это у вас только и получается! На хрена мне твои ноль целых? Ты мне аппарата дай — два! целых! Когда? А? — И обвёл глазами всех троих.

Теперь выступил Селивановский — медленно, перебирая одной рукой свой серо-седой бобрик:

— Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семёнович. Двусторонние переговоры ещё без абсолютной шифрации...

— Ты что из меня дурочку строишь? Как это — без шифрации? — быстро взглянул на него министр.

Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли (а был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками),— ему вполне хватало его четырёхклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джицу и тренировался только в залах «Динамо».

Когда же, в годы расширения и обновления следовательских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо ведёт следствие, руками длинными ловко и лихо поднося в морду, и началась его великая карьера, и за семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ, а теперь вот и министром,— ни разу на этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчинённые не могли его дурачить.

Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу,— как растворилась высокая дверь и в неё без стука вошёл Михаил Дмитриевич Рюмин — низенький кругленький херувимчик с приятным румянцем на щеках, которого всё министерство называло *Минькой,* но редко кто — в глаза.

Он шёл, как котик, беззвучно. Приблизясь, невинно-светлыми глазами окинул сидящих, поздоровался за руку с Селивановским (тот привстал), подошёл к торцу стола министра и, склонив головку, маленькими пухлыми ладонями чуть поглаживая желобчатый скос столешницы, задумчиво промурлыкал:

— Вот что, Виктор Семёныч, по-моему это задача — Селивановского. Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим? Неужели они не могут по магнитной ленте узнать го́лоса? Разогнать их тогда.

И улыбнулся так сладенько, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково оглядел всех трёх представителей отдела.

Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человечком — бухгалтером райпотребсоюза в Архангельской области. Розовенький, одутловатый, с обиженными губками, он, сколько мог, донимал ехидными замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя.

Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя Особого отдела. И тут Рюмин нашёл себя! — с усердием и успехом (может, к этому прыжку он и жмурился всю жизнь?) он освоил *намотку дел*. Даже с усердием избыточным — так грубо сляпал дело на одного северофлотского корреспондента, что всегда покорная Органам прокуратура тут не выдержала и — не остановила дела, нет! — но осмелилась донести Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там круглую голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, уже старшим следователем по спецделам центрального аппарата СМЕРШа. С тех пор звезда его только взлетала (на гибель Абакумову, но оба ещё не знали о том).

— Я их и без этого разгоню, Михал Дмитрич, поверь. Так разгоню — костей не соберут! — ответил Абакумов и грозно оглядел всех троих.

Трое виновато потупились.

— Но что ты хочешь — я тоже не понимаю. Как же можно по телефону по голосу узнать? Ну, неизвестного — как узнать? Где его искать?

— Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.

— Ну, а ты — арестовал кого-нибудь?

— А как же? — сладко улыбнулся Рюмин.— Взяли четверых около метро «Сокольники».

Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что

взяли их слишком поздно, это не они. Но уж раз взяты — освобождать не полагается. Да может кого-то из них по этому же делу и придётся оформить, чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение:

— Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти — семи, кто мог знать, в министерстве.

— Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить? — возмутился Абакумов.— Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!

— Нельзя, Виктор Семёныч,— благорассудно возразил Рюмин.— Это министерство — не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт. Тут именно надо найти — кто? И как можно скорей.

— Гм-м...— подумал Абакумов.— Так что с чем сравнивать, не пойму?

— Ленту с лентой.

— Ленту с лентой?.. Да, когда-то ж надо эту технику осваивать. Селивановский, сможете?

— Я Виктор Семёныч, ещё не понимаю, о чём речь.

— А чего тут понимать? Тут и понимать нечего. Какая-то сволочь, гадюга какой-то, наверно, что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков *там*. Насчёт атомной бомбы. Вот угадай — молодчик будешь.

Селивановский, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и без того хватает — не стоит браться. Селивановский был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей и всю обстановку. И он приготовился запутать ясный вопрос в трёх соснах.

Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте начальника отдела. С тех пор, как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и может в них разбираться лучше других — иначе б его не назначили. И хотя он в своё время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчинённых мог понимать дело лучше его — разве только в деталях, в схемах, где нужно руку приложить. Недавно он был в одном первоклассном санатории, был там в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем Казакевичем, тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, всё записывал в книжку и говорил, что

будет с него писать образ современного учёного. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя учёным.

И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку:

— Товарищ министр! Так это мы — можем!

Селивановский удивлённо оглянулся на него:

— На каком объекте? Какая лаборатория?

— Да на телефонном, в Марфине. Ведь говорили ж — по телефону? Ну!

— Но Марфино выполняет более важную задачу.

— Ничего-о! Найдём людей! Там триста человек — что ж, не найдём?

И вперился взглядом готовности в лицо министра.

Абакумов не то, что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался — беззаветно готовый рубить в окрошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя.

— Молодец! — одобрил он.— Так и надо рассуждать! Интересы государства! — а потом остальное. Верно?

— Так точно, товарищ министр! Так точно, товарищ генерал-полковник!

Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности рябого генерал-майора. Рассеянно глядя на Селивановского, он сказал:

— Так утром я к вам пришлю.

Переглянулся с Абакумовым и ушёл, ступая неслышно.

Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина.

— Ну, так когда же? Вы меня манили-манили — к первому августа, к октябрьским, к новому году,— ну?

И упёрся глазами в Яконова, вынуждая отвечать именно его.

Как будто что-то стесняло Яконова в постановке его шеи. Он повёл ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд — и опустил.

Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал, что и ещё более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме работы, не занятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И безоглядчивые щедрые американцы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также косвенно участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже побеждённых и ещё только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать

и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил сроку год.

Там, в кабинете Селивановского, договорились просить отсрочки десять дней. К десятому января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчёт был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. Абсолютности или неабсолютности шифрации никто сейчас проверять не будет и не сумеет — а пока испытают общее качество да пока дойдёт дело до серии, да пока повезут аппараты в наши посольства за границу — за это время ещё пройдёт полгода, наладятся и шифрация и качество звучания.

Но Яконов знал, что мёртвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к десятому января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с Мамуриным: Хозяин позовёт Берию и спросит: какой дурак делал эту машину? Убери его. И Яконов тоже станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова простым зэком.

И под взглядом министра почувствовав неразрываемую стяжку петли на своей шее, Яконов преодолел жалкий страх и бессознательно, как набирая воздуха в лёгкие, ахнул:

— Месяц ещё! Ещё один месяц! До первого февраля!

И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Абакумова.

Талантливые люди иногда несправедливы к серякам. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.

Он мог в душе понять, что не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов — сами были виноваты Селивановский, Осколупов и Яконов. Если так трудно — зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год? Почему не потребовали три? (Он уже забыл, что так же нещадно торопил их тогда.) Упрись они тогда перед Абакумовым, — упёрся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули.

Но столь велик страх, вырабатываемый долголетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватило мужества остояться перед начальством.

Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про *запас* и перед Сталиным всегда набавлял ещё пару запасных

месяцев. Так и сейчас: обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним первого марта. Так что на худой конец можно было разрешить ещё месяц,— но чтоб это был действительно месяц.

И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил:

— Это как — месяц? По-человечески месяц или опять брешете?

— Это точно! Это — точно! — обрадованный счастливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо отсюда, из кабинета, порывался ехать в Марфино и сам браться за паяльник.

И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настольном календаре:

— Вот. К ленинской годовщине. Все получите сталинскую премию. Селивановский — будет?

— Будет! будет!

— Осколупов! Голову оторву! Будет?

— Да товарищ министр, да там всего-то осталось...

— А — ты? Чем рискуешь — знаешь? Будет?

Ещё удерживая мужество, Яконов настоял:

— Месяц! К первому февраля.

— А если к первому не будет? Полковник! Взвесь! Врёшь.

Конечно, Яконов лгал. И, конечно, надо было просить два месяца. Но уж откроено.

— Будет, товарищ министр,— печально пообещал он.

— Ну, смотри, я за язык не тянул! Всё прощу — обмана не прощу! Идите.

Облегчённые, всё так же цепочкой, след в след, они ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина.

Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку.

Едва их вывели, как в кабинете было доложено:

— Инженер Прянчиков!

17

В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Селивановского был вызван Яконов, а потом, уже втайне от них всех, на объект Марфино были посланы с перерывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вызывался в министерство зэ́-ка́ Бобынин, потом зэ-ка Прянчиков. Бобынина и Прянчикова доставили в отдельных машинах и посадили дожидаться в разных комнатах, лишая возможности сговориться.

Но Прянчиков вряд ли был способен сговариваться — по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века

считали душевной ненормальностью. На шарашке её так и называли: «сдвиг фаз у Валентули».

Тем более не был он способен к сговору или какому-нибудь умыслу сейчас. Вся душа его была всколыхнута светящимися видениями Москвы, мелькавшими и мелькавшими за стёклами «Победы». После полосы окраинного мрака, окружавшего зону Марфина, тем разительней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к весёлой суете привокзальной площади, потом к неоновым витринам Сретенки. Для Прянчикова не стало ни шофёра, ни двух сопровождающих переодетых — казалось, не воздух, а пламя входило и выходило из его лёгких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневной-то Москве никогда не возили, а вечерней Москвы ещё не видел ни один арестант за всю историю шарашки!

Перед Сретенскими воротами автомобиль задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожидании светофора.

Миллионам заключённых, им казалось, что жизнь на воле без них остановилась, что мужчин нет и женщины изнывают от избытка никем не разделённой, никому не нужной любви. А тут катилась сытая, возбуждённая столичная толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернобурки — и вибрирующие чувства Валентина воспринимали, как сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов автомобиля его обдают удары, удары, удары духов проходящих женщин. Слышался смех, смутный говор, не до конца разборчивые фразы,— Валентину впору было расшибить неподатливое пластмассовое стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что он тоскует, что он сидит ни за что! После монастырского уединения шарашки это была какая-то феерия, кусочек той изящной жизни, которою ему никак не доводилось пожить то из-за студенческой скудости, то из-за плена, то из-за тюрьмы.

Потом, ожидая в какой-то комнате, Прянчиков не различал столов и стульев, стоявших там: чувства и впечатления, захватив его, отпускали нехотя.

Молодой лощёный подполковник попросил его следовать за собой. Прянчиков, с нежной шеей, с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, никогда не выглядел ещё таким щуплым, как вступая в этот зал-кабинет, на пороге которого сопровождающий оставил его.

Прянчиков даже не догадался, что это — кабинет (так он был просторен), и что пара золотых погонов в конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Сталина за своей спиной он тоже не заметил. Перед глазами его всё ещё шли ночные женщины и проносилась ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал. Он не удивился бы, если б сюда вошли разряженные

женщины и начались бы танцы. Нелепо было предположить, что в какой-то полукруглой комнате, освещённой синею лампочкой, хотя война кончилась пять лет назад, остался его недопитый холодный стакан чая, и мужчины бродят в одном белье.

Ноги ступали по ковру, расточительно расстеленному по полу. Ковёр был мягок, ворсист, по нему хотелось просто кататься. Правой стороной зала шли большие окна, а на левой высилось зеркало от самого пола.

Вольняшки не знают цены вещам! Для зэка, кому не всегда доступно дешёвенькое зеркальце меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало — праздник!

Прянчиков, как притянутый, остановился около зеркала. Он подошёл к нему очень близко, с удовлетворением рассмотрел своё чистое свежее лицо. Поправил немного галстук и воротник голубой рубашки. Потом стал медленно отходить, неотрывно оглядывая себя анфас, в три четверти и в профиль. Чуть прошёлся так, сделал некое полутанцующее движение. Опять приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, несмотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящным, и прийдя в наилучшее расположение духа, он не потому двинулся дальше, что его ждал деловой разговор (об этом Прянчиков вовсе забыл), а потому, что намеревался продолжить осмотр помещения.

А человек, который мог из одной половины мира любого посадить в тюрьму, а из другой половины — любого убить, всевластный министр, перед которым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь смотрел на этого щуплого синего зэка с любопытством. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно уже не видел их близко.

Походкой гуляющего франта Прянчиков подошёл и вопросительно посмотрел на министра, как бы не ожидав его тут встретить.

— Вы — инженер...— Абакумов сверился с бумажкой,— ...Прянчиков?

— Да,— рассеянно подтвердил Валентин.— Да.

— Вы — ведущий инженер группы...— он опять заглянул в запись...— аппарата искусственной речи?

— Ка-кого аппарата искусственной речи! — отмахнулся Прянчиков.— Что за чушь! Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-ко-дер. Voice coder.

— Но вы — ведущий инженер?

— Вообще да. А что такое? — насторожился Прянчиков.

— Садитесь.

Прянчиков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.

— Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер — когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно два месяца? Скажите, не бойтесь.

— Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! — звонким юношеским смехом, никогда не раздававшимся под этими сводами, расхохотался Прянчиков, откинулся на мягкие кожаные спинки стульев и всплеснул руками.— Да вы что??! Что́ вы?! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!

Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.

— У вас клочок бумажки найдётся? Да вот! — Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.

Абакумов не испугался — столько детской искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Прянчикова, не слушая.

— Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник,— почти захлёбывался Прянчиков от напирающего желания всё скорей высказать.— И вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса... Чёрт! Как вы пишете таким гадким пером?.. воспроизведении путём суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов. Ну, с системой декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, это каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?

— Подождите,— опомнился Абакумов.— Вы мне только скажите одно: когда будет готово? Готово — когда?

— Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался.— В Прянчикове уже сменилась инерция вечерней столицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему было трудно остановиться.— Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идём на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых...

— Ну, к какому числу? К какому? К первому марта? К первому апреля?

— Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом дешифрация импульсов? Ведь там качество ещё огрубится! Да не станем загадывать! — уговаривал он Абакумова, тяня его за рукав.— Я вам сейчас всё объясню. Вы сами поймёте и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..

Но Абакумов, заторможенным взглядом уперевшись в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.

Появился тот же лощёный подполковник и пригласил Прянчикова к выходу.

Прянчиков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было, что он не досказал мысль. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подойдя к двери, он вспомнил, что ребята просили его жаловаться, добиваться... Он круто обернулся и направился назад:

— Да!! Слушайте! Я же совсем забыл вам...

Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал,— и в этот короткий неловкий момент из памяти Прянчикова, давно уже захваченной одними радиотехническими схемами, как на зло ускользнули все беззакония, все тюремные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в дверях:

— Например, насчёт кипятка! С работы поздно вечером придёшь — кипятка нет! чаю нельзя напиться!..

— Насчёт кипятка? — переспросил тот начальник, вроде генерала.— Ладно. Сделаем.

18

В таком же синем комбинезоне, но крупный, ражий, с остриженной каторжанской головой вошёл Бобынин.

Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сту раз на дню, прошёл, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый, им самим стиранный в последнюю баню платок.

Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, но не принявший всерьёз легкомысленного юнца, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно. И он не крикнул ему: «встать!», а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:

— А почему вы без разрешения садитесь?

Бобынин, едва скосясь на министра, ещё кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:

— А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять — лучше, чем ходить, сидеть — лучше, чем стоять, а ещё лучше — лежать.

— Но вы представляете — *кем* я могу быть?

Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение:

— Ну — кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга?

— Вроде к о г о???..

— Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и в другую комнату пошёл.

По лицу Абакумова прошло движение, отдалённо похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно-дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:

— Так вы что? Не видите между нами разницы?

— Между *вами?* Или между *нами?* — голос Бобынина гудел как растревоженный чугун.— Между *нами* отлично вижу: я вам нужен, а вы мне — нет!

У Абакумова тоже был голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть. Но сейчас чувствовал, что кричать было бы беспомощно, несолидно. Он понял, что арестант этот — трудный.

И только предупредил:

— Слушайте, заключённый. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь...

— А если бы вы со мной грубо — я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

— Сколько нужно — и вас заставим.

— Ошибаетесь, гражданин министр! — И сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью.— У меня ничего нет, вы понимаете — н е т н и ч е г о! Жену мою и ребёнка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. Имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот бельё под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) — казённое. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших силах, ибо её нет у вас самих. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима — чем ещё можете вы мне угрозить? чего ещё лишить? Инженерной работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.

Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлёвского выпуска и пододвинул Бобынину:

— Вот, возьмите этих.

— Спасибо. Не меняю марки. Кашель.— И достал «беломорину» из самодельного портсигара.— Вообще, поймите

и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей н е всё. Но человек, у которого вы отобрали в с ё — уже не подвластен вам, он снова свободен.

Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что ради эффекта отказался от роскошных папирос.

Министр сверился с бумажкой.

— Инженер Бобынин! Вы — ведущий инженер установки «клиппированная речь»?

— Да.

— Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации?

Бобынин вскинул густые тёмные брови:

— Что за новости? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить?

— Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова?

— К февралю? Вы что — смеётесь? Если для отчёта, на скорую руку да на долгую муку — ну, что-нибудь... через полгодика. А абсолютная шифрация? Понятия не имею. Может быть — год.

Абакумов был оглушён. Он вспомнил злобно-нетерпящее подёргивание усов Хозяина — и ему жутко стало тех обещаний, которые, повторяя Селивановского, он дал. Всё опустилось в нём, как у человека, пришедшего лечить насморк и открывшего у себя рак носоглотки.

Обеими руками министр подпёр голову и сдавленно сказал:

— Бобынин! Я прошу вас — взвесьте ваши слова. Если можно быстрей, скажите: что нужно сделать?

— Быстрей? Не выйдет.

— Но причины? Но какие причины? Кто виноват? Скажите, не бойтесь! Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили! Я сорву с них погоны!

Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества «Россия».

— Ведь это получается два с половиной — три года! — возмущался министр.— А вам срок был дан — год!

И Бобынина взорвало:

— Что значит — дан срок? Как вы представляете себе науку: Сивка-Бурка, вещая каурка? Воздвигни мне к утру дворец — и к утру дворец? А если проблема неверно поставлена? А если обнаруживаются новые явления? Дан срок! А вы не думаете, что кроме приказа ещё должны быть спокойные сытые свободные люди? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали — и не то у нас, не то после нас станина хрупнула. Чёрт её знает,

почему она хрупнула! Но её заварить — час работы сварщику. Да и станок — говно, ему полтораста лет, без мотора, шкив под открытый ременной привод! — так из-за этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство намотать. Это на работе — *опер,* дармоед, да в тюрьме ещё один *опер,* дармоед, только нервы дёргает, протоколы, закорючки — да на чёрта вам это *оперное* творчество?! Вот все говорят — секретную телефонию для Сталина делаем. Лично Сталин наседает — и даже на таком участке вы не можете обеспечить технического снабжения: то конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не хватает. Нищета! Позор! «Кто виноват»! А о людях вы подумали? Работают вам все по двенадцать, иные по шестнадцать часов в день, а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных — костями?.. Свиданий с родственниками почему Пятьдесят Восьмой не даёте? Положено раз в месяц, а вы даёте раз в год. От этого что — настроение подымается? Может, воронков не хватает, в чём арестантов возить? Или надзирателям — зарплаты за выходные дни? Режим!! Режим вам голову мутит, с ума скоро сойдёте от режима. По воскресеньям раньше можно было весь день гулять, теперь запретили. Это зачем? Чтобы больше работали? На говне сметану собираете? От того, что без воздуха задыхаются — скорее не будет. Да чего говорить! Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.

Бобынин выпрямился, гневный, большой.

Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке стола.

Было двадцать пять минут второго ночи. Через час, в половине третьего, Абакумов должен был предстать с докладом у Сталина, на кунцевской даче.

Если этот инженер прав — как теперь изворачиваться?

Сталин — не прощает...

Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. И тёмное бешенство обожгло ему глаза.

И он позвонил за ними.

19

Комната была невелика, невысока. В ней было две двери, а окно, если и было, то намертво зашторено сейчас, слито со стеною. Однако воздух стоял свежий, приятный (особое лицо отвечало за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его).

Много места занимала низкая оттоманка с цветастыми подушками. Над ней со стены горели сдвоенные лампы, прикрытые абажуриками.

На оттоманке лежал человек, чьё изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толчёным кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зёрен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолётов, заснято на киноплёнку — как ничьё никогда за три миллиарда лет существования земной коры.

А он просто лежал, немного подобрав ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нём был френч с четырьмя большими карманами, нагрудными и боковыми — старый, обжитый, из тех серых, защитных, чёрных и белых френчей, какие (немного повторяя Наполеона) он усвоил носить с гражданской войны и сменил на маршальский мундир только после Сталинграда.

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов. По этому имени во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли — и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными) уже редеющими (изображали густыми) волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшею кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с тёмными неровными зубами, частью уклонёнными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.

К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная и отрыгалось тухло, не помогали салол с беладонной, а слабительных он пить не любил. Сегодня он и вовсе не обедал и вот рано, с полуночи, лёг полежать. В тёплом воздухе он ощущал спиной и плечами как бы холодок и прикрыл их бурой верблюжьей шалью.

Глухонемая тишина налила дом и двор, и весь мир.

В этой тишине почти не продрогало, почти не проползало

время, и надо было пережить его как болезнь, как недуг, всякую ночь придумывая дело или развлечение. Не стоило большого труда исключить себя из мирового *пространства,* не двигаться в нём. Но невозможно было исключить себя из *времени.*

Сейчас он перелистывал книжечку в коричневом твёрдом переплёте. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто — она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный и старый могли без утомления её читать. На переплёте было выдавлено и позолочено: «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо. Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. (Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь — Великий Сталин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности — всё это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность — это очень верно.)

Безотказное знание людей помогло юбиляру собрать хороший коллектив авторов для этой биографии. Но какие б они старательные ни были, из кожи вон,— а никто не напишет так умно, так сердечно, так верно о твоих делах, о твоём руководстве, о твоих качествах, как ты сам. И приходилось Сталину вызывать к себе из этого коллектива то одного, то другого, беседовать неторопливо, смотреть их рукопись, указывать мягко на промахи, подсказывать формулировки.

И вот теперь книга имеет большой успех. Это второе издание вышло пятью миллионами экземпляров. Для такой страны? — маловато. Надо будет третье издание запустить миллионов на десять, на двадцать. Продавать на заводах, в школах, в колхозах. Можно прямо распределять по списку сотрудников.

Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже

двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для того и нужны были миллионы портретов по всей стране (а Сталину самому они зачем? — он скромен), для того и нужно было постоянное и громкое повторение его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя — его это уже не радовало, ему уже давно приелось,— это нужно было для подданных, для простых советских людей. Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний — а самому появляться редко и говорить мало, как будто ты не всё время с ними на земле, а бываешь ещё где-то. И тогда нет предела их восхищению и преклонению.

Не тошнило, но как-то тяжело поднималось из желудка. Из вазочки с очищенными фруктами он взял фейхуа.

Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие.

По кавказским понятиям семьдесят лет — это ещё джигит! — на гору, на коня, на женщину. И Сталин тоже ещё вполне здоров, ему надо обязательно жить до девяноста, он так загадал, так требуют дела. Правда, один врач предупредил его, что... (впрочем, кажется, его расстреляли потом). Настоящей серьёзной болезни никакой нет. Никаких уколов, никакого лечения, лекарства он и сам знает, умеет выбрать. «Побольше фруктов!» Рассказывай кавказскому человеку про фрукты!..

Он сосал мякоть, прижмурив глаза. Слабый привкус иода ложился на язык.

Он вполне здоров, но что-то и меняется с годами. Уже нет прежнего свежего наслаждения едой — как будто все вкусы надоели, притупились. Уже нет острого ощущения в переборе вин и в смеси их. И хмель переходит в головную боль. И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими вождишками за обедом, то не потому, что так наслаждается едой, а куда-то же надо деть это пустое долгое время.

Уже и женщины, с которыми он так попировал после Надиной смерти, нужны ему были мало, редко, и с ними было не до дрожи, а мутновато как-то. Уже и сон не облегчал по-молодому, а проснувшись слабым и со сдавленной головой, не хотелось подниматься.

Положив себе дожить до девяноста, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, он просто должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в человечестве.

Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели — мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Ещё

потом — узкий банкет. Пили старые вина испанских погребов, когда-то присланные за оружие. Потом отдельно с Лаврентием — кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический приём. 23-го смотрел о себе вторую серию «Сталинградской битвы» и «Незабываемый 1919».

Хотя и утомив, произведения эти ему очень понравились. Теперь всё более и более правдиво вырисовывается его роль не только в отечественной, но и в гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экран и сцена показывали теперь, как часто он серьёзно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого поверхностного Ленина. И благородно вложил драматург в его уста: «Каждый трудящийся свои мысли имеет право высказывать!» А у сценариста хорошо сочинена эта ночная сцена с Другом. Хотя такого преданного большого Друга у Сталина никого не осталось из-за постоянной неискренности и коварства людей — да и за всю жизнь не было такого Друга! вот так складывалось, что никогда его не было! — но, увидев на экране, Сталин почувствовал умиление в горле (э́то художник — та́к художник!): как бы хотел он иметь такого правдивого бескорыстного Друга, и вот что думаешь целыми ночами про себя — говорить ему вслух.

Однако невозможно иметь такого Друга, потому что он должен был бы тогда быть чрезвычайно велик. А — где ему тогда жить? чем заниматься?

А эти все, с Вячеслава-Каменной задницы и до Никиты-плясуна — разве это вообще люди? За столом с ними от скуки подохнешь, никто ничего умного первый не предложит, а как им укажешь — так сразу все соглашаются. Когда-то Ворошилова Сталин немножко любил — по Царицыну, по Польше, потом за кисловодскую пещеру (доложил о совещании предателей, Каменева — Зиновьева с Фрунзе),— но тоже манекен для фуражки и орденов, разве это человек?

Никого он сейчас не мог вспомнить как своего друга. Ни о ком не вспоминалось больше доброго, чем плохого.

Друга нет и быть не может, но зато весь простой народ любит своего Вождя, готов жизнь и душу отдать. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения Вождя стал всенародным праздником, это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий! — от учреждений приветствия, от организаций приветствия, от заводов приветствия, от отдельных граждан приветствия. Просила «Правда» разрешения печатать их не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет, ничего, это не плохо.

А подарки в музее Революции не уместились в десяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать их днём, Сталин

съездил посмотреть их ночью. Труд тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним — но и тут его настигла та же безучастность, то же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки?.. Он соскучился быстро. И ещё какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее, но, как часто в последнее время, мысль не дошла до ясности, а осталось только, что — неприятно. Сталин прошёл три зала, ничего не выбрал, постоял у большого телевизора с гравированной надписью «Великому Сталину от чекистов» (это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Марфине), повернулся и уехал.

А в общем прошёл замечательный юбилей — такая гордость! такие победы! такой успех, какого не знал ни один политик мира! — а полноты торжества не было.

Что-то, как в груди застрявшее, досаждало и пекло.

Он откусил и пососал ещё.

Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень уж многими недостатками, сам народ никуда не годился. Достаточно вспомнить: из-за кого отступали в сорок первом году? Кто ж тогда отступал, если не народ?

Вот почему не праздновать надо было, не лежать, а — приниматься за работу. Думать.

Думать — был его долг. И рок его, и казнь его тоже была — думать. Ещё два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить, и не больше же в сутки спать, чем восемь часов, больше не выспишь. А по остальным часам, как по острым камням, надо было ползти, перетягиваться уже не молодым, уязвимым телом.

Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное: пока солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию — Сталин спал в темноте, зашторенный, закрытый, запертый. Он просыпался, когда солнце уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой однодневной жизни. Около трёх часов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, к закату, начинал оживать. Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, хмуро, все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из политбюро и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами и разговорами хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй половины ночи. Все главные Указы, направившие великое государство, формировались в сталинской голове после двух часов ночи — и только до рассвета.

И сейчас то время как раз начиналось. И был тот уже зре-

ющий указ, которого ощутимо не хватало среди законов. Почти всё в стране удалось закрепить навечно, все движения остановить, все потоки перепрудить, все двести миллионов знали своё место — и только колхозная молодёжь давала утечку. Это тем более странно, что общие колхозные дела обстояли наглядно хорошо, как показывали фильмы и романы, да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах слётов и съездов. Однако проницательный и постоянно самокритичный государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть ещё глубже. Кто-то из секретарей обкомов (кажется, его расстреляли потом) проговорился ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах безотказно работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года, а вот несознательная часть молодёжи старается после школы обманным образом получить паспорт и увильнуть в город. Сталин услышал — и в нём началась подтачивающая работа.

Образование!.. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут безответственно напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! — как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особоотобранным кадрам, закалённым кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя.

Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почётное право. Сразу — агиткомпанию: «Новый шаг к коммунизму», «юные наследники колхозной житницы»... ну, там писатели найдут, как выразиться.

Но — наши сторонники на Западе?..

Но — кому же работать в колхозах?..

Нет, что-то не шли сегодня рабочие мысли. Нездоровилось.

Раздался лёгкий четырёхкратный стук в дверь — не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней, будто о дверь скреблась собака.

Сталин повернул около оттоманки ручку тяги дистанционного запора, предохранитель сощёлкнул и дверь приотворилась. Её не закрывала портьера (Сталин не любил пологов, складок, всего, где можно прятаться), и видно было, как голая дверь

растворилась ровно настолько, чтобы пропустить собаку. Но не в нижней, а в верхней части просунулась голова как будто ещё и молодого, но уже лысого Поскрёбышева с постоянным выражением честной преданности и полной готовности на лице.

С тревогой за Хозяина он посмотрел, как тот лежал, полуприкрывшись верблюжьей шалью, однако не спросил прямо о здоровьи (Сталин не любил таких вопросов), а, недалеко от шёпота:

— Ёсь Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначали. Будете принимать? нет?

Иосиф Виссарионович отстегнул клапан грудного кармана и на цепочке вытащил часы (как все люди старого времени, терпеть не мог ручных).

Ещё не было и двух часов ночи.

Тяжёлый ком стоял в желудке. Вставать, переодеваться не хотелось. Но и распускать никого нельзя: чуть-чуть послабь — сразу почувствуют.

— Па́-смотрым,— устало ответил Сталин и моргнул.— Нэ знаю.

— Ну, пусть себе едет. Подождёт! — подтвердил Поскрёбышев и кивнул с излишком раза три. И замер опять, со вниманием глядя на Хозяина: — Какие распоряжения ещё, Ё-Сарионыч?

Сталин смотрел на Поскрёбышева вялым полуживым взглядом, и никакого распоряжения не выражалось в нём. Но при вопросе Поскрёбышева вдруг высеклась из его прорончивой памяти внезапная искра, и он спросил, о чём давно хотел и забывал:

— Слушай, как там кипарисы в Крыму? — рубят?

— Рубят! Рубят! — уверенно тряхнул головой Поскрёбышев, будто этого вопроса только и ждал, будто только что звонил в Крым и справлялся.— Вокруг Массандры и Ливадии уже много свалили, Ё-Сарионыч!

— Ты всё ж таки сводку па́-требуй. Цы-фравую. Нэт ли саботажа? — озабочены были жёлтые нездоровые глаза Всесильного.

В этом году сказал ему один врач, что его здоровью вредны кипарисы, а нужно, чтобы воздух пропитывался эвкалиптами. Поэтому Сталин велел крымские кипарисы вырубить, а в Австралию послать за молодыми эвкалиптами.

Поскрёбышев бодро обещал и навязался также узнать, в каком положении эвкалипты.

— Ладно,— удовлетворённо вымолвил Сталин.— Иды́-пока, Саша.

Поскрёбышев кивнул, попятился, ещё кивнул, убрал голову вовсе и затворил дверь. Иосиф Виссарионович снова спустил дистанционный запор. Придерживая шаль, повернулся на другой бок.

И опять стал листать свою Биографию.

Но, расслабляемый лежаньем, ознобом и несвареньем, невольно предался угнетённому строю мысли. Уже не ослепительный конечный успех его политики выступил перед ним, а: как ему в жизни не везло, и как несправедливо-много препятствий и врагов городила перед ним судьба.

20

Две трети столетия — сизая даль, из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться конец, из конца — трудно оживить и поверить в начало.

Безнадёжно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из луж подле горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребёнку выйти из самого низменного, самого униженного положения?

Всё же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи — сперва в духовное училище, потом даже в семинарию.

Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал новопослушника, распластанного на холодных каменных плитах. О, с каким усердием стал мальчик служить Богу! как доверился ему! За шесть лет ученья он по силам долбил Ветхий и Новый Заветы, Жития святых и церковную историю, старательно прислуживал на литургиях.

Вот здесь, в «Биографии», есть этот снимок: выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом; матовый, как бы изнурённый моленьями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготовляемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши — и только глаза да напряжённые брови выдают, что этот послушник пойдёт, пожалуй, до митрополита.

А Бог — обманул... Заспанный постылый городок среди круглых зелёных холмов, в извивах Меджуды и Лиахви, отстал: в шумном Тифлисе умные люди давно уже над Богом смеялись. И лестница, по которой Сосо цепко карабкался, вела, оказывается, не на небо, а на чердак.

Но клокочущий забиячный возраст требовал действия! Время уходило — не сделано ничего! Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли — зато был социализм, принимающий всех, социализм, привыкший к семинаристам. Не было наклонностей к наукам или к искусствам, не было

умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы — но открытыми объятьями звала всех, принимала и всем обещала место — Революция.

Сюда, в «Биографию», он посоветовал включить и фото этого времени, его любимый снимок. Вот он, почти в профиль. У него не борода, не усы, не бакенбарды (он не решил ещё, что), а просто не брился давно, и всё воедино живописно заросло буйной мужской порослью. Он весь готов устремиться, но не знает, куда. Что за милый молодой человек! Открытое, умное, энергичное лицо, ни следа того изувера-послушника. Освобождённые от масла, волосы воспряли, густыми волнами украсили голову и, колыхаясь, прикрывают то, что в нём может быть несколько не удалось: лоб невысокий и покатый назад. Молодой человек беден, пиджачок его куплен поношенным, дешёвый клетчатый шарфик с художнической вольностью облегает шею и закрывает узкую болезненную грудь, где и рубашки-то нет. Этот тифлисский плебей не обречён ли уже и туберкулёзу?

Всякий раз, когда Сталин смотрит на эту фотографию, сердце его переполняется жалостью (ибо не бывает сердец, совсем не способных к ней). Как всё трудно, как всё против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключённого из семинарии! (Он хотел для страховки совместить то и другое, он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис — но всё-таки исключили его.)

Одиннадцать лет он кланялся и молился — впустую, плакало потерянное время... Тем решительней передвинул он свою молодость — на Революцию!

А Революция — тоже обманула. Да и чтó то была за революция — тифлисская, игра хвастливых самомнений в погребках за вином? Здесь пропадёшь, в этом муравейнике ничтожеств: ни правильного продвижения по ступенькам, ни выслуги лет, а — кто кого переболтает. Бывший семинарист возненавиживает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. (На тех за что сердиться? — те честно служат за жалованье и естественно должны обороняться, но этим выскочкам не может быть оправдания!) Революция? среди грузинских лавочников? — никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни.

И чёрт ему вообще в этой революции, в какой-то голытьбе, в рабочих, пропивающих получку, в каких-то больных старухах, чьих-то недоплаченных копейках? — почему он должен любить их, а не себя, молодого, умного, красивого и — обойденного?

Только в Батуме, впервые ведя за собой по улице сотни две людей, считая с зеваками, Коба (такова была у него теперь кличка) ощутил прорастаемость зёрен и силу власти. Люди шли

за ним! — отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь — а люди чтобы делали, ты укажешь — а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого — ничего нет. Это — выше богатства.

Через месяц полиция раскачалась, арестовала его. Арестов никто тогда не боялся: дело какое! два месяца подержат, выпустят, будешь — страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков.

Но в него вцепились. Сменились все его однокамерники, а он сидел. Да что он такого сделал? За пустячные демонстрации никого так не наказывали.

Прошёл г о д — и его перевели в кутаисскую тюрьму, в тёмную сырую одиночку. Здесь он пал духом: жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался всё ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И ещё справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни: почему *им* так легко сходит революция, почему *их* так долго не держат?

Тем временем приезжал в кутаисскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. Ну, вы достаточно подумали, Джугашвили? Это только начало, Джугашвили. Мы будем держать вас тут, пока вы сгниёте от чахотки или исправите линию поведения. Мы хотим спасти вас и вашу душу. Вы были без пяти минут священник, отец Иосиф! Зачем вы пошли в эту свору? Вы — случайный человек среди них. Скажите, что вы сожалеете.

Он и правда сожалел, ка́к сожалел! Кончалась его вторая весна в тюрьме, тянулось второе тюремное лето. Ах, зачем он бросил скромную духовную службу? Как он поторопился!.. Самое разнузданное воображение не могло представить себе революции в России раньше, чем через пятьдесят лет, когда Иосифу будет семьдесят три года... Зачем ему тогда и революция?

Да не только поэтому. Но уже сам себя изучил и узнал Иосиф — свой неторопливый характер, свой основательный характер, свою любовь к прочности и порядку. Так именно на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла Российская империя, и зачем же было её расшатывать?

А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. (Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу.) В конце концов то, что я вам предлагаю,— есть государственная служба. (На государственную бы службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуме.) Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление. Среди них — выдвигайтесь. Мы повсюду будем

обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтоб это не бросило на вас тени. Какую изберём кличку?.. А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, мы этапируем вас в далёкую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу, так все и делают.

И Джугашвили решился! И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию!

В ноябре его выслали в Иркутскую губернию. Там у ссыльных он прочёл письмо некоего Ленина, известного по «Искре». Ленин откололся на самый край, теперь искал себе сторонников, рассылал письма. Очевидно, к нему и следовало примкнуть.

От ужасных иркутских холодов Иосиф уехал на Рождество, и ещё до начала японской войны был на солнечном Кавказе.

Теперь для него начался долгий период безнаказанности: он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги — арестовывали других (особенно — несимпатичных ему), а его — не узнавали, не ловили. И на войну не брали.

И вдруг! — никто не ждал её так быстро, никто её не подготовил, не организовал — а *Она* наступила! Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Иваново-Вознесенск, восставали Лодзь, «Потёмкин» — и быстро из царского горла выдавили манифест, и всё равно ещё стучали пулемёты на Пресне и замерли железные дороги.

Коба был поражён, оглушён. Неужели опять он ошибся? Да почему ж он ничего не видит вперёд?

Обманула его охранка!.. Третья ставка его была бита! Ах, отдали б ему назад его свободную революционную душу! Что за безвыходное кольцо? — вытрясать революцию из России, чтоб на второй её день из архива охранки вытрясли твои донесения?

Не только *стальной* не была его воля тогда, но раздвоилась совсем, он потерял себя и не видел выхода.

Впрочем, постреляли, пошумели, повешали, оглянулись — где ж та революция? Нет её!

В это время большевики усваивали хороший революционный способ *эксов* — экспроприаций. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы — та́к метод борьбы! — не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли-меньшевики брюзжали, что — грабёж и террор противоречат марксизму. А́х, как издевался над ними Коба, а́х, гонял их как тараканов, за то и назвал его Ленин «чудесным грузином»! — эксы — грабёж, а революция — нэ грабёж? а́х, лакированные чистоплюи! Откуда

же брать деньги на партию, откуда же — на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе.

Изо всей революции Коба особенно полюбил именно эксы. И тут никто кроме Кобы не умел найти тех единственных верных людей, как Камо, кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесёт его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли 340 тысяч золотом у экспедиторов тифлисского банка — так вот это и была пока в маленьких масштабах пролетарская революция, а другой, большой революции ждут — дураки.

И этого о Кобе — не знала полиция, и ещё подержалась такая средняя приятная линия между революцией и полицией. Деньги у него были всегда.

А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки. Это была уже не вонючая кутаисская камера! В Таммерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину. Потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего чёрного гнева.

А его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали, уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск, и не на три года, а на два. Между ссылками не мешали крутить революцию. Наконец, после трёх сибирских и уральских уходов из ссылки, его, непримиримого, неутомимого бунтаря, загнали... в город Вологду, где он поселился на квартире у полицейского и поездом за одну ночь мог доехать до Петербурга.

Но февральским вечером девятьсот двенадцатого года приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Орджоникидзе, тряс за плечи и кричал: «Сосо! Сосо! Тебя кооптировали в ЦК!»

В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в доху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦК! Ведь вот Малиновский — член большевистского ЦК — и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин. Но ведь это же при царе! А после революции сегодняшний член ЦК — верный министр. Правда, никакой революции теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК — это какая-то власть. А что́ он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться. Судьба Азефа как призрак-великан качалась над каждым днём его, над каждой его ночью.

Утром они пошли на станцию и поехали в Петербург. Там схватили их. Молодому неопытному Орджоникидзе дали три года шлиссельбургской крепости и ещё потом ссылку добавочно.

Сталину, как повелось, дали только ссылку, три года. Правда, далековато — Нарымский край, это как предупреждение. Но пути сообщения в Российской империи были налажены неплохо, и в конце лета Сталин благополучно вернулся в Петербург.

Теперь он перенёс нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков (это не было трудно и ссыльному). Там какая типография, там маёвка, там листовка — и на Калашниковской бирже, на вечеринке, завалили его (Малиновский, но это узналось потом гораздо). Рассердилась Охранка — и загнали его теперь в настоящую ссылку — под Полярный Круг, в станок Курейка. И срок ему дали — умела царская власть лепить безжалостные сроки! — *четыре* года, страшно сказать.

И опять заколебался Сталин: ради чего, ради кого отказался он от умеренной благополучной жизни, от покровительства власти, дал заслать себя в эту чёртову дыру? «Член ЦК» — словечко для дурака. Ото всех партий тут было несколько сотен ссыльных, но оглядел их Сталин и ужаснулся: что за гнусная порода эти профессиональные революционеры — вспышкопускатели, хрипуны, несамостоятельные, несостоятельные. Даже не Полярный Круг был страшен кавказцу Сталину, а — оказаться в компании этих легковесных, неустойчивых, безответственных, неположительных людей. И чтобы сразу себя от них отделить, отсоединить — да среди медведей ему было бы легче! — он женился на челдонке, телом с мамонта, а голосом пискливым,— да уж лучше её «хи-хи-хи» и кухня на зловонном жире, чем ходить на те сходки, диспуты, передряги и товарищеские суды. Сталин дал им понять, что они — чужие люди, отрубил себя от них ото всех и от революции тоже. Хватит! Не поздно честную жизнь начать и в тридцать пять лет, когда-то ж надо кончать по ветру носиться, карманы как паруса. (Он себя самого презирал, что столько лет возился с этими щелкопёрами.)

Так он жил, совсем отдельно, не касался ни большевиков, ни анархистов, пошли они все дальше. Теперь он не собирался бежать, он собирался честно отбывать ссылку до конца. Да и война началась, и только здесь, в ссылке, он мог сохранить жизнь. Он сидел со своей челдонкой, затаясь; родился у них сын. А война никак не кончалась. Хоть ногтями, хоть зубами натягивай себе лишний годик ссылки — даже сроков настоящих не умел давать этот немощный царь!

Нет, не кончалась война! И из полицейского ведомства, с которым он так сжился, карточку его и душу его передали воинскому начальнику, а тот, ничего не смысля ни в социал-демократах, ни в членах ЦК, призвал Иосифа Джугашвили, 1879 года рождения, ранее воинской повинности не отбывавшего,— в русскую императорскую армию рядовым. Так будущий вели-

кий маршал начал свою военную карьеру. Три службы он уже перепробовал, должна была начаться четвёртая.

Санным сонным полозом его повезли по Енисею до Красноярска, оттуда в казармы в Ачинск. Ему шёл тридцать восьмой год, а был он — ничто, солдат-грузин, съёженный в шинельке от сибирских морозов и везомый пушечным мясом на фронт. И вся великая жизнь его должна была оборваться под каким-нибудь белорусским хутором или еврейским местечком.

Но ещё он не научился скатывать шинельной скатки и заряжать винтовку (ни комиссаром, ни маршалом потом тоже не знал, и спросить было неудобно), как пришли из Петрограда телеграфные ленты, от которых незнакомые люди обнимались на улицах и кричали в морозном дыхании: «Христос воскресе!» Царь — отрёкся! Империи — больше не было!

Как? Откуда? И надеяться забыли, и рассчитывать забросили. Верно учили Иосифа в детстве: «неисповедимы пути Твои, Господи!»

Не запомнить, когда так единодушно веселилось русское общество, все партийные оттенки. Но чтобы возликовал Сталин, нужна была ещё одна телеграмма, без неё призрак Азефа, как повешенный, всё раскачивался над головой.

И пришла через день та депеша: Охранное отделение сожжено и разгромлено, все документы уничтожены!

Знали революционеры, что́ надо было сжигать побыстрей. Там, наверно, как понял Сталин, было немало таких, как он...

(Охранка сгорела, но ещё целую жизнь Сталин косился и оглядывался. Своими руками перелистал он десятки тысяч архивных листов и бросал в огонь целые папки, не просматривая. И всё-таки пропустил, едва не открылось в тридцать седьмом. И каждого однопартийца, отдаваемого потом под суд, непременно обвинял Сталин в осведомительстве: он узнал, как легко пасть, и трудно было вообразить ему, чтобы другие не страховались тоже.)

Февральской революции Сталин позже отказал в звании великой, но он забыл, как сам ликовал и пел, и нёсся на крыльях из Ачинска (теперь-то он мог и дезертировать!), и делал глупости и через какое-то захолустное окошечко подал телеграмму в Швейцарию Ленину.

В Петроград он приехал и сразу согласился с Каменевым: вот это оно и есть, о чём мы мечтали в подполье. Революция совершилась, теперь укреплять достигнутое. Пришло время положительных людей (особенно, если ты уже член ЦК). Все силы на поддержку временного правительства!

Так всё ясно было им, пока не приехал этот авантюрист, не знающий России, лишённый всякого положительного

равномерного опыта, и, захлёбываясь, дёргаясь и картавя, не полез со своими апрельскими тезисами, запутал всё окончательно! И таки заговорил партию, потащил её на июльский переворот! Авантюра эта провалилась, как верно предсказывал Сталин, едва не погибла и вся партия. И куда же делась теперь петушиная храбрость этого героя? Убежал в Разлив, спасая шкуру, а большевиков тут марали последними ругательствами. Неужели его свобода была дороже авторитета партии? Сталин откровенно это высказал им на Шестом съезде, но большинства не собрал.

Вообще, семнадцатый год был неприятный год: слишком много митингов, кто красивей врёт, того и на руках носят, Троцкий из цирка не вылезал. И откуда их налетело, краснобаев, как мухи на мёд? В ссылках их не видели, на эксах не видели, по заграницам болтались, а тут приехали горло драть, на переднее место лезть. И обо всём они судят, как блохи быстрые. Ещё вопрос и в жизни не возник, не поставлен — они уже знают, как ответить! Над Сталиным они обидно смеялись, даже не скрывались. Ладно, Сталин в их споры не лез, и на трибуны не лез, он пока помалкивал. Сталин это не любил, не умел — выбрасывать слова наперегонки, кто больше и громче. Не такой он себе представлял революцию. Революцию он представлял: занять руководящие посты и дело делать.

Над ним смеялись эти остробородки, но почему наладили всё тяжёлое, всё неблагодарное сваливать именно на Сталина? Над ним смеялись, но почему во дворце Кшесинской все животами переболели и в Петропавловку послали не кого другого, а именно Сталина, когда надо было убедить матросов отдать крепость Керенскому без боя, а самим уходить в Кронштадт опять? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом.

Авантюрой был и октябрьский переворот, но удался, ладно. Удался. Хорошо. За это можно Ленину пятёрку поставить. Там что дальше будет — неизвестно, пока — хорошо. Наркомнац? Ладно, пусть. Составлять конституцию? Ладно. Сталин приглядывался.

Удивительно, но похоже было, что революция за один год полностью удалась. Ожидать этого было нельзя — а удалась! Этот клоун, Троцкий, ещё и в мировую революцию верил, Брестского мира не хотел, да и Ленин верил, áх, книжные фантазёры! Это ослом надо быть — верить в европейскую революцию, сколько там сами жили — ничего не поняли, Сталин один раз проехал — всё понял. Тут перекреститься надо, что своя-то удалась. И сидеть тихо. Соображать.

Сталин оглядывался трезвыми непредвзятыми глазами. И обдумывал. И ясно понял, что такую важную революцию эти фразёры загубят. И только он один, Сталин, может её верно

направить. По чести, по совести, только он один был тут настоящий руководитель. Он беспристрастно сравнивал себя с этими кривляками, попрыгунами, и ясно видел своё жизненное превосходство, их непрочность, свою устойчивость. Ото всех них он отличался тем, что п о н и м а л л ю д е й. Он та́м их понимал, где они соединяются с землёй, где *базис,* в том месте их понимал, без которого они не стоят, не устоят, а что выше, чем притворяются, чем красуются — это *надстройка,* ничего не решает.

Верно, у Ленина был орлиный полёт, он мог просто удивить: за одну ночь повернул — «земля — крестьянам!» (а там посмотрим), в один день придумал Брестский мир (ведь не то, что русскому, даже грузину больно пол-России немцам отдать, а ему не больно!). Уж о НЭПе совсем не говори, это хитрей всего, таким манёврам и поучиться не стыдно.

Что в Ленине было выше всего, сверхзамечательно: он крепчайше держал реальную власть только в собственных руках. Менялись лозунги, менялись темы дискуссий, менялись союзники и противники, а полная власть оставалась только в собственных руках!

Но не было в этом человеке — настоящей надёжности, предстояло ему много горя со своим хозяйством, запутаться в нём. Сталин верно чувствовал в Ленине хлипкость, перебросчивость, наконец плохое понимание людей, никакое не понимание. (Он по самому себе это проверил: каким хотел боком — поворачивался, и с этого только боку Ленин его видел.) Для тёмной рукопашной, какая есть истинная политика, этот человек не был годен. Себя ощущал Сталин устойчивей и твёрже Ленина настолько, насколько шестьдесят шесть градусов туруханской широты крепче пятидесяти четырёх градусов шушенской. И что испытал в жизни этот книжный теоретик? Он не прошёл низкого звания, унижений, нищеты, прямого голода; хоть плохенький был, да помещик. Он из ссылки ни разу не уходил, та́кой примерный! Он тюрем настоящих не видел, он и России самой не видел, он четырнадцать лет проболтался по эмиграциям. Что́ тот писал — Сталин больше половины не читал, не предполагал набраться умного. (Ну, бывали у него и замечательные формулировки. Например: «Что такое диктатура? Неограниченное правительство, не сдерживаемое законами». Написал Сталин на полях: «Хорошо!») Да если бы был у Ленина настоящий трезвый ум, он бы с первых дней ближе всех приблизил Сталина, он бы сказал: «Помоги! Я политику понимаю, классы понимаю — живых людей не понимаю!» А он не придумал лучше, как заслать Сталина каким-то уполномоченным по хлебу, куда-то в угол России. Самый нужный был ему в Москве человек — Сталин, а он его в Царицын послал...

И на всю Гражданскую Ленин устроился сидеть в Кремле, он себя берёг. А Сталину досталось три года кочевать, по всей стране гонять, когда трястись верхом, когда в тачанке, и мёрзнуть, и у костра греться. Ну, правда, Сталин любил себя в эти годы: как бы молодой генерал без звания, весь подтянутый, стройный; фуражка кожаная со звёздочкой; шинель офицерская двубортная, мягкая, с кавалерийским разрезом — и не застёгнута; сапожки хромовые, сшитые по ноге; лицо умное, молодое, чисто-побритое, и только усы литые, ни одна женщина не устоит (да и своя жена третья — красавица).

Конечно, сабли он в руки не брал и под пули не лез, он дороже был для Революции, он не мужик Будённый. А приедешь в новое место — в Царицын, в Пермь, в Петроград,— помолчишь, вопросы задашь, усы поправишь. На одном списке напишешь «расстрелять», на другом списке напишешь «расстрелять» — очень тогда люди тебя уважать начинают.

Да и правду говоря, показал он себя как великий военный, как создатель победы.

Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что ещё одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был — Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал. С таким бешеным самомнением, с такими претензиями на красноречие, а никогда честно не спорил, не бывало у него «да» — так «да», «нет» — так «нет», обязательно: и так — и так, ни так — ни так! Мира не заключать, войны не вести — какой разумный человек может это понять? А заносчивость? Как сам царь, в салон-вагоне мотался. Да куда же ты в главковерхи лезешь, если у тебя нет стратегической жилки?

До того жёг и пёк этот Троцкий, что в борьбе с ним на первых порах Сталин сорвался, изменил главному правилу всякой политики: вообще не показывать, что ты ему враг, вообще не обнаруживать раздражения. Сталин же открыто ему не подчинялся, и в письмах ругал, и устно, и жаловался Ленину, не пропускал случая. И как только он узнавал мнение, решение Троцкого по любому вопросу — сейчас же выдвигал, почему должно быть совсем наоборот. Но так нельзя победить. И Троцкий вышибал его как городошной палкой под ноги: выгнал его из Царицына, выгнал с Украины. А однажды получил Сталин суровый урок, что не все средства в борьбе хороши, что есть запретные приёмы: вместе с Зиновьевым они пожаловались в Политбюро на самоуправные расстрелы Троцкого. И тогда Ленин взял несколько

чистых бланков, по низам расписался «одобряю и впредь!» — и тут же при них Троцкому передал для заполнения.

Наука! Стыдно! *На что* жаловался?! Нельзя даже в самой напряжённой борьбе апеллировать к благодушию. Прав был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не расстреливать — вообще ничего невозможно сделать в истории.

Все мы — люди, и чувства толкают нас впереди разума. От каждого человека запах идёт, и по запаху ты ещё раньше головы действуешь. Конечно, ошибся Сталин, что открылся против Троцкого раньше времени (больше никогда так не ошибался). Но те же чувства повели его самым правильным способом на Ленина. Если головой рассуждать — надо было угождать Ленину, говорить «ах, как правильно! я тоже — *за*!» Однако безошибочным сердцем Сталин нашёл совсем другой путь: грубить ему как можно резче, упираться ишаком — мол, необразованный, неотёсанный, диковатый человек, хотите принимайте, хотите нет. Он не то, что грубил — он хамил ему («ещё могу быть на фронте две недели, потом давайте отдых» — кому это Ленин мог простить?), но именно такой — неломаемый, неуступчивый, завоевал уважение Ленина. Ленин почувствовал, что этот *чудесный грузин* — сильная фигура, такие люди очень нужны, а дальше — больше будут нужны. Ленин шибко слушал Троцкого, но и к Сталину прислушивался. Потеснит Сталина — потеснит и Троцкого. Тот за Царицын виноват, а тот — за Астрахань. «Вы научитесь сотрудничать» — уговаривал их, но принимал и так, что они не ладят. Прибежал Троцкий жаловаться, что по всей республике сухой закон, а Сталин распивает царский погреб в Кремле, что если на фронте узнают...— отшутился Сталин, рассмеялся Ленин, отвернул бородёнку Троцкий, ушёл ни с чем. Сняли Сталина с Украины — так дали второй наркомат, РКИ.

Это был март 1919 года. Сталину шёл сороковой год. У кого другого была б РКИ задрипанная инспекция, но у Сталина она поднялась в главнейший наркомат! (Ленин так и хотел. Он знал сталинскую твёрдость, неуклонность, неподкупность.) Именно Сталину поручил Ленин следить за справедливостью в Республике, за чистотой партийных работников, до самых крупных. По роду работы, если её правильно понять, если отдать ей душу и не щадить своего здоровья, должен был теперь Сталин тайно (но вполне законно) собирать уличающие материалы на всех ответственных работников, посылать контролёров и собирать донесения, а потом руководить *чистками*. А для этого надо было создать аппарат, подобрать по всей стране таких же самоотверженных, таких

же неуклонных, подобных себе, готовых скрытно трудиться, без явной награды. Кропотливая работа, терпеливая работа, долгая работа, но Сталин готов был на неё.

Правильно говорят, что сорок лет — наша зрелость. Только тут понимаешь окончательно, как надо жить, как себя вести. Только тут Сталин ощутил свою главную силу: силу невысказанного решения. Внутри ты уже решение принял, но чьей головы оно касается — тому прежде времени знать его не надо. (Когда голова его покатится — тогда пусть узнает.) Вторая сила: чужим словам никогда не верить, своим — значенья не придавать. Говорить надо не то, что́ будешь делать (ты ещё и сам, может, не знаешь, там видно будет, что́), а то, что твоего собеседника сейчас успокаивает. Третья сила: если тебе кто изменил — тому не прощать, если кого зубами схватил — того не выпускать, уж *этого* ни за что не выпускать, хотя бы солнце пошло назад и небесные явления разные. И четвёртая сила: не на теории голову направлять, это ещё никому не помогало (теорию потом какую-нибудь скажешь), а постоянно соображать: с кем тебе сейчас по пути и до какого столба.

Так постепенно выправилось и положение с Троцким — сперва поддержкой Зиновьева, потом и Каменева. (Душевные создались отношения с ними обоими.) Уяснил себе Сталин, что с Троцким он зря волновался: такого человека, как Троцкий, никогда не надо в яму толкать, он сам попрыгает и свалится. Сталин знал своё, он тихо работал: медленно подбирал кадры, проверял людей, запоминал каждого, кто будет надёжный, ждал случая их поднять, передвинуть. Подошло время — и, точно! свалился Троцкий сам на профсоюзной дискуссии — набелибердил, наегозил, Ленина разозлил — партию не уважает! — а у Сталина как раз готово, кем людей Троцкого заменять: Крестинского — Зиновьевым, Преображенского — Молотовым, Серебрякова — Ярославским. Подтянулись в ЦК и Ворошилов, и Орджоникидзе, все свои. И знаменитый главнокомандующий зашатался на журавлиных своих ножках. И понял Ленин, что только Сталин один за единство партии как скала, а для себя ничего не хочет, не просит.

Простодушный симпатичный грузин, этим и трогал он всех ведущих, что не лез на трибуну, не рвался к популярности, к публичности, как они все, не хвастался знанием Маркса, не цитировал звонко, а скромно работал, аппарат подбирал — уединённый товарищ, очень твёрдый, очень честный, самоотверженный, старательный, немножко правда невоспитанный, грубоватый, немножко недалёкий. И когда стал Ильич болеть — избрали Сталина генеральным секретарём, как когда-то Мишу Романова на царство, потому что никто его не боялся.

Это был май 1922 года. И другой бы на том успокоился, сидел бы — радовался. Но только не Сталин. Другой бы «Капитал» читал, выписки делал. А Сталин только ноздрями потянул и понял: время — крайнее, завоевания революции в опасности, ни минуты терять нельзя: Ленин власти не удержит и сам её в надёжные руки не передаст. Здоровье Ленина пошатнулось, и может быть это к лучшему. Если он задержится у руководства — ни за что ручаться нельзя, ничего нет надёжного: раздёрганный, вспыльчивый, а теперь ещё больной, он всё больше нервировал, просто мешал работать. Всем мешал работать! Он мог ни за что человека обругать, осадить, снять с выборного поста.

Первая идея была — отослать Ленина, например на Кавказ, лечиться, там воздух хороший, места глухие, телефона с Москвой нет, телеграммы идут долго, там его нервы успокоятся без государственной работы. А приставить к нему для наблюдения за здоровьем — проверенного товарища, экспроприатора бывшего, налётчика Камо. И соглашался Ленин, уже с Тифлисом переговоры вели, но как-то затянулось. А тут Камо автомобилем раздавили (много болтал об эксах).

Тогда, беспокоясь за жизнь вождя, Сталин через Наркомздрав и через профессоров-хирургов поднял вопрос: ведь пуля невынутая — она отравляет организм, надо ещё одну операцию делать, вынимать. И убедил врачей. И все повторяли, что надо, и Ленин согласился — но опять затянулось. И всего-навсего уехал в Горки.

«По отношению к Ленину нужна твёрдость!» — написал Сталин Каменеву. И Каменев с Зиновьевым, его лучшие в то время друзья, полностью соглашались. Твёрдость в лечении, твёрдость в режиме, твёрдость в отстранении от дел — в интересах его же драгоценной жизни. И в отстранении от Троцкого. И Крупскую тоже обуздать, она рядовой партийный товарищ. «Ответственным за здоровье товарища Ленина» назначился Сталин и не считал это для себя чёрной работой: заняться непосредственно лечащими врачами и даже медсёстрами, указывать им, какой именно режим полезней всего для Ленина: ему полезней всего — запрещать и запрещать, даже если поволнуется. То же и в политических вопросах. Не нравится ему законопроект насчёт Красной армии — провести, не нравится насчёт ВЦИКа — провести, и не уступать ни за что, ведь он больной, он не может знать, ка́к лучше. Если что настаивает проводить скорей — наоборот медленней проводить, отложить. И может быть, даже грубо, очень грубо ему ответить — так это у генсека от прямоты, свой характер не переломаешь.

Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо выздоравливал, болезнь его затянулась до осени, а тут ещё спор

обострился насчёт ЦИКа-ВЦИКа, и не надолго сумел дорогой Ильич подняться на ноги. Только и встал для того, чтобы в декабре 22-го года восстановить сердечный союз с Троцким — против Сталина, конечно. Так для этого и вставать не надо было, лучше опять лечь. Теперь ещё строже врачебный догляд, не читать, не писать, о делах не знать, кушай манную кашку. Придумал дорогой Ильич тайком от генсека написать политическое завещание — опять против Сталина. По пять минут в день диктовал, больше ему не разрешали (Сталин не разрешил). Но генеральный секретарь смеялся в усы: стенографистка тук-туктук каблучками, и приносила ему обязательную копию. Тут пришлось ещё Крупскую одёрнуть, как она заслужила,— закипятился дорогой Ильич — и третий удар! Так не помогли все усилия спасти его жизнь.

Он в удачное время умер: как раз Троцкий был на Кавказе, и Сталин туда неправильный день похорон сообщил, потому что незачем тому приезжать: клятву верности гораздо приличнее, очень важно, произнести генеральному секретарю.

Но от Ленина осталось завещание. От него у товарищей мог создаться разнобой, непонимание, даже хотели Сталина снимать с генсека. Тогда ещё тесней подружился Сталин с Зиновьевым, он ему так доказывал, что очевидно тот будет теперь вождь партии, и пусть на XIII съезде делает отчёт от ЦК как будущий вождь, а Сталин будет скромный генсек, ему ничего не нужно. И Зиновьев покрасовался на трибуне, сделал доклад (только и всего доклад, куда ж его и кем выбирать, такого нет поста — «вождь партии»), а за тот доклад уговорил ЦК — завещания на съезде даже не читать, Сталина не снимать, он уже исправился.

Все они в Политбюро были тогда очень дружны, и все против Троцкого. И хорошо опровергали его предложения и снимали с постов его сторонников. И другой бы генсек на том успокоился. Но неутомимый, неусыпный Сталин знал, что далеко ещё до покоя.

Хорошо ли было Каменеву оставаться вместо Ленина предсовнаркома? (Ещё когда вместе с Каменевым посещали больного Ленина, Сталин отчитывался в «Правде», что он ходил без Каменева, один. На всякий случай. Он предвидел, что Каменев тоже не вечен.) Не лучше ли — Рыкова? И сам Каменев согласился, и Зиновьев тоже, вот так дружно жили!

Но скоро большой удар пришёлся по их дружбе: обнаружилось, что Зиновьев-Каменев — лицемеры, двурушники, что они только к власти стремятся, а ленинскими идеями не дорожат. Пришлось их поджать. Они стали «новая оппозиция» (и болтушка Крупская полезла туда же), а Троцкий битый-битый пока присмирел. Это очень удобное создалось положение. Тут кстати

большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым Бухарчиком, первым теоретиком партии. Бухарчик и выступал, Бухарчик базу поводил и обоснования (те дают — «наступление на кулака!», а мы с Бухариным даём — «смычка города с деревней!»). Сам Сталин нисколько не претендовал на известность, ни на руководство, он только следил за голосованием и кто на каком посту. Уже многие правильные товарищи были на нужных постах и правильно голосовали. Сняли Зиновьева с Коминтерна, отобрали у них Ленинград.

И кажется бы им смириться, так нет: они теперь с Троцким объединились, спохватился и тот кривляка в последний раз, дал лозунг: «индустриализация». А мы с Бухарчиком даём — единство партии! Во имя единства все должны подчиниться! Сослали Троцкого, заткнули Зиновьева с Каменевым.

Тут ещё очень помог *ленинский набор:* теперь большинство партии составляли люди, не заражённые интеллигентщиной, не заражённые прежними склоками подполья и эмиграции, люди, для которых уже ничего не значила прежняя высота партийных лидеров, а только их сегодняшнее лицо. Из партийных низов поднимались здоровые люди, преданные люди, занимали важные посты. Сталин никогда не сомневался, что он таких найдёт, и так они спасут завоевания революции.

Но какая роковая неожиданность: Бухарин, Томский и Рыков оказались тоже лицемеры, они не были за единство партии! И Бухарин оказался — первый путаник, а не теоретик. И его хитрый лозунг «смычка города с деревней» скрывал в себе реставраторский смысл, сдачу перед кулаком и срыв индустриализации!.. Так вот они где нашлись, наконец, правильные лозунги, только Сталин сумел их сформулировать: наступление на кулака и форсированная индустриализация! И — единство партии, конечно! И эту гнусную компанию «правых» тоже отмели от руководства.

Хвастался как-то Бухарин, что некий мудрец вывел: «низшие умы более способны в управлении». Дал ты маху, Николай Иваныч, вместе со своим мудрецом: не низшие — *здравые.* Здравые умы.

А какие вы были умы — это вы на процессах показали. Сталин сидел на галерее в закрытой комнате, через сеточку смотрел на них, посмеивался: что за краснобаи были когда-то! что за сила когда-то казалась! и до чего дошли? размокли как.

Именно знание человеческой природы, именно трезвость всегда помогали Сталину. Понимал он тех людей, которых видел глазами. Но и тех понимал, которых не видел глазами. Когда трудности были в 31-м-32-м, нечего было в стране ни надеть, ни поесть — казалось, только придите и толкните снаружи, упадём.

И партия дала команду — бить набат, опасность интервенции! Но никогда Сталин сам ни на мизинец не верил: потому что тех, западных, болтунов он тоже заранее представлял.

Не посчитать, сколько сил, сколько здоровья, сколько выдержки пошло, чтоб очистить от врагов партию, страну и очистить ленинизм — это безошибочное учение, которому Сталин никогда не изменял: он точно делал, чтó Ленин наметил, только мягче немножко и без суеты.

Столько усилий! — а всё равно никогда не было покойно, никогда не было так, чтоб никто не мешал. То наскакивал этот кривогубый сосунок Тухачевский, что будто из-за Сталина он Варшаву не взял. То с Фрунзе не очень чисто получилось, проморгал цензор, то в дрянной повестушке представили Сталина на горé стоячим мертвецом, и тоже прохлопали, идиоты. То Украина хлеб гноила, Кубань стреляла из обрезов, даже Иваново бастовало.

Но ни разу Сталин не вышел из себя, после ошибки с Троцким — никогда больше ни разу. Он знал, что медленно мелят жернова истории, но — крутятся. И без всякой парадной шумихи все недоброжелатели, все завистники уйдут, умрут, будут растёрты в навоз. (Как ни обидели Сталина те писатели — он им не мстил, *за это* не мстил, это было бы не поучительно. Он другого случая дожидался, случай всегда придёт.)

И правда: кто в гражданскую войну хоть батальоном командовал, хоть ротой в частях, не верных Сталину,— все куда-то уходили, исчезали. И делегаты Двенадцатого, и Тринадцатого, и Четырнадцатого, и Пятнадцатого, и Шестнадцатого, и Семнадцатого съездов как просто бы по спискам — уходили туда, откуда не проголосуешь, не выступишь. И дважды чистили смутьянский Ленинград, опасное место. И даже друзьями, как Серго, приходилось жертвовать. И даже старательных помощников, как Ягода, как Ежов, приходилось потом убирать. Наконец, и до Троцкого дотянулись, раскроили череп.

Не стало главного врага на земле и, кажется, заслужена была передышка? Но отравила её Финляндия. За это срамотное топтание на перешейке просто стыдно было перед Гитлером — тот по Франции с тросточкой прогулялся! Ах, несмываемое пятно на гении полководца! Этих финнов, насквозь буржуазную враждебную нацию, эшелонами отправлять бы в Кара-Кумы до маленьких детей, сам бы у телефона сидел, сводки записывал: сколько уже расстреляли-закопали, сколько ещё осталось.

А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию! И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались «братья и сёстры», теперь из истории не вытравишь. А эти братья и сёстры бежали как

бараны, и никто не хотел достоять насмерть, хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему ж — не стояли? почему — не сразу стояли?!.. Обидно.

И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища... Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике — и зря. Ходил по комнатам — неделю звонил: уже сдали Москву? уже сдали? — нет, не сдали!! Поверить нельзя было, что остановят — остановили! Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать: это будет не победа — если пронесётся слух, что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось седьмого ноября небольшой парад зафотографировать.)

А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького — городи выше! Старый враг, жирный Черчилль, свинья для чохохбиля, прилетал позлорадствовать, выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину в Сибирь, да некем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши — даже опора революции латыши! И даже родные грузины, обережённые от мобилизаций,— и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи.

Так даже национальный вопрос посмеялся над ним в те тяжёлые годы...

Но, слава Богу, миновали и эти несчастья. Многое Сталин исправил тем, как переиграл Черчилля и Рузвельта-святошу. От самых 20-х годов не имел Сталин такого успеха, как с этими двумя растяпами. Когда на письма им отвечал или в Ялте в комнату к себе уходил — просто смеялся над ними. Государственные люди, какими же умными они себя считают, а — глупее младенцев. Всё спрашивают: а *как* будем после войны, а как? Да вы самолёты шлите, консервы шлите, а там посмотрим — *как*. Им слово бросишь, ну первое проходное, они уже радуются, уже на бумажку записывают. Сделаешь вид — от любви размягчился, они уже — вдвое мягкие. Получил от них ни за так, ни за понюшку: Польшу, Саксонию, Тюрингию, власовцев, красновцев, Курильские острова, Сахалин, Порт-Артур, пол-Кореи, и запутал их на Дунае и на Балканах. Лидеры «сельских хозяев» побеждали на выборах и тут же садились в тюрьму. И быстро свернули Миколайчика, отказало сердце Бенеша, Масарика, кардинал Миндсенти сознался в злодеяниях, Димитров в сердечной клинике Кремля отрёкся от вздорной Балканской Федерации.

И посажены были в лагеря все советские, вернувшиеся из европейской жизни. И — туда же на вторые десять лет все отсидевшие только по разу.

Ну, кажется всё начинало окончательно налаживаться!

И вот когда даже в шелесте тайги не расслышать было о каком-нибудь другом варианте социализма — выполз чёрный дракон Тито и загородил все перспективы.

Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал отсекать всё новые и новые вырастающие головы гидры!..

Да как же можно было ошибиться в этой скорпионовой душе?! — ему! знатоку человеческих душ! Ведь в 36-м году уже за глотку держали — и отпустили!.. Ай-я-я-я-яй!

Сталин со стоном спустил ноги с оттоманки и взялся за голову, уже с плешиной. Ничем не поправимая досада саднила его. Горы валял — а на вонючем бугорке споткнулся.

Иосиф споткнулся на Иосифе...

Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй или Колчак — против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм! Иначе, чем у Сталина! Сопляк! Социализм б е з Сталина — это же готовый фашизм!

Не в том, что у Тито что-нибудь получится — выйти у него ничего не может. Как старый коновал, перепоровший множество этих животов, отсекший несчётно этих конечностей в курных избах, при дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку,— так смотрел Сталин на Тито.

Но Тито всколыхнул давно забытые побрякушки для дурачков: «рабочий контроль», «земля — крестьянам», все эти мыльные пузыри первых лет революции.

Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды — Основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых примечаниях,— все, кто думал и н а ч е строить социализм. И теперь, когда ясно, что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был бы построен,

если бы не зазнавшиеся вельможи; не лживые рапорта; не бездушные бюрократы; не равнодушие к общественному делу; не слабость организационно-разъяснительной работы в массах; не самотёк в партийном просвещении; не замедленные темпы строительства;

нэ простои, нэ прогулы на производстве, нэ выпуск нэдоброкачественной продукции, нэ плохое планирование, нэ безразличие к внедрению новой техники, нэ бездеятельность научно-исследовательских институтов, нэ плохая подготовка молодых специалистов, нэ уклонение молодёжи от посылки в глушь, нэ

саботаж заключённых, нэ потери зерна на поле, нэ растраты бухгалтеров, нэ хищения на базах, нэ жульничество завхозов и завмагов, нэ рвачество шоферов,

нэ́ самоуспокоенность местных властей! нэ́ либерализм и взятки в милиции! нэ́ злоупотребление жилищным фондом! нэ́ нахальные спекулянты! нэ́ жадные домохозяйки! нэ́ испорченные дети! нэ́ трамвайные болтуны! нэ́ критиканство в литературе! нэ́ вывихи в кинематографии!—

когда всем уже ясно, что ка́мунизм на́вернойдороге и-нэ́далёк а́т-завершения,— высовывается этот кретин Тито са́-своим талмудистом Карделем и заявляет, шьто́-камунизм надо строить н э́ т а к!!!

Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его ожесточённо бьётся, застлало глаза, во все члены вступило неприятное желание подёргиваться.

Он перевёл дух. Разгладил рукой лицо, усы. Ещё перевёл. Нельзя же поддаваться.

Да, Абакумова надо принять.

И хотел уже встать, но проясненными глазами увидел на телефонной тумбочке чёрно-красную книжечку дешёвого массового издания. И с удовольствием потянулся за ней, подмостил подушек, на несколько минут полуприлёг опять.

Это был сигнальный экземпляр из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания «Тито — главарь предателей» Рено де-Жувенеля (удачно, что автор — как бы посторонний в споре, объективный француз, да ещё с дворянской частицей). Сталин уже прочёл эту книгу подробно несколько дней назад (да и при написании её давал советы), но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана! гнусного предателя! безнадёжного тупицу! Ведь даже коммунисты на Западе растерялись, тычутся в два угла, не знают, кому верить. Старого дурака Андре Марти — и того за защиту Тито придётся выгнать из компартии.

Он перелистал книжку. Вот! Пусть не венчают Тито героем: дважды по трусости он хотел сдаться немцам, но начальник штаба Арсо Иованович *заставил* его остаться главнокомандующим! Благородный Арсо! Убит. А Петричевич? «Убит только за то, что любил Сталина.» Благородный Петричевич! Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достаётся приканчивать Сталину.

Всё здесь есть, всё — и как Тито, наверно, был английский шпион, и как кичился кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга, и пальцы все

в бриллиантовых перстнях, увешан орденами и медалями (что за жалкое чванство в человеке, не одарённом полководческим гением!).

Объективная, принципиальная книга. Нет ли ещё у Тито половой неполноценности? Об этом тоже надо бы написать.

«Югославская компартия во власти убийц и шпионов.» «Тито потому только мог заняться руководством, что за него поручились Бела Кун и Трайчо Костов.»

Костов!! — укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в морду Трайчо, в окровавленную морду! — и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворённого чувства справедливости.

Проклятый Костов! Грязный мерзавец!

У-у-удивительно, как задним числом становятся понятны козни этих негодяев! Они все были троцкисты — но как маскировались! Куна хоть расшлёпали в тридцать седьмом, а Костов ещё десять дней назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов Сталин провёл, каких врагов заставил топтать самих себя — и такой срыв в процессе Костова! Позор на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах — а на публичном заседании ото всего отказаться! При иностранных корреспондентах! Где же порядочность? где же партийная совесть? где же пролетарская солидарность? — жаловаться империалистам? Ну хорошо, ты не виноват,— но умри так, чтобы была польза коммунизму!

Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было лежать! Звала борьба.

Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер за собой) другую дверь, не ту, в которую стучался Поскрёбышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошёл низким узким кривым коридором, тоже без окон, миновал люк потайного хода на подземную автодорогу, остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть приёмную. Посмотрел.

Абакумов был уже там. С большим блокнотом в руках сидел напряжённо, ждал, когда позовут.

Всё более твёрдо, не шаркая, Сталин прошёл в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень.

Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер.

Подошёл к зеркалу. Ясно, неподкупно-сторого смотрели глаза, которых не выдерживали западные премьер-министры. Вид был суровый, простой, солдатский.

Он позвонил ординарцу-грузину — одевать себя.
Даже к приближённому он выходил как перед историей.
Его железная воля... Его непреклонная воля...
Быть постоянно, быть постоянно — горным орлом.

21

Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не осмеливались звать Сашкой, а только Александром Николаевичем. «Звонил Поскрёбышев» значило: звонил С а м. «Распорядился Поскрёбышев» значило: распорядился С а м. Поскрёбышев держался начальником личного секретариата Сталина уже больше пятнадцати лет. Это было очень долго, и кто не знал его ближе, мог удивляться, как ещё цела его голова. А секрет был прост: он был по душе денщик, и именно тем укреплялся в должности. Даже когда его делали генерал-лейтенантом, членом ЦК и начальником спецотдела по слежке за членами ЦК,— он перед Хозяином ничуть не считал себя выше ничтожества. Тщеславно хихикая, он чокался с ним в тосте за свою родную деревню Сопляки. Никогда не обманывающими ноздрями Сталин не ощущал в Поскрёбышеве ни сомнения, ни противоборства. Его фамилия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не наскребли в достатке всех качеств ума и характера.

Но оборачиваясь к младшим, этот плешивый царедворец простоватого вида приобретал огромную значительность. Нижестоящим он еле-еле выдавал голоса по телефону — надо было в трубку головой влезть, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустяках иногда, может быть и можно было, но спросить его, *как там* сегодня — не пошевеливался язык.

Сегодня Поскрёбышев сказал Абакумову:

— Иосиф Виссарионович работает. Может быть, и не примет. Велел ждать.

Отобрал портфель (идя к Самому, его полагалось сдавать), ввёл в приёмную и ушёл. Так Абакумов и не решился спросить, о чём больше всего хотел: о сегодняшнем настроении Хозяина. С тяжело колотящимся сердцем он остался в приёмной один.

Этот рослый, мощный, решительный человек, идя сюда, всякий раз замирал от страха ничуть не меньше, чем в разгар арестов граждане по ночам, слушая шаги на лестнице. От страха уши его сперва леденели, а потом отпускали, наливались огнём — и всякий раз Абакумов ещё того боялся, что постоянно горящие уши вызовут подозрение Хозяина. Сталин был подозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например, чтобы при нём лазили во внутренние карманы. Поэтому Абакумов

перекладывал обе авторучки, приготовленные для записи, из внутреннего кармана в наружный грудной.

Всё руководство Госбезопасностью изо дня в день шло через Берию, оттуда Абакумов получал бóльшую часть указаний. Но раз в месяц Единодержец сам хотел как живую личность ощутить того, кому доверял охрану передового в мире порядка.

Эти приёмы, по часу, были тяжёлой расплатой за всю власть, за всё могущество Абакумова. Он жил и наслаждался только от приёма до приёма. Наступал срок — всё замирало в нём, уши леденели, он сдавал портфель, не зная, получит ли его обратно, наклонял перед кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнёт ли шею через час.

Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял — только вздрагивал кончик одного уса, и там, внутри, выносился приговор, а осуждённый его не знал: он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру.

Хуже всего, когда Сталин молчал и оставалось мучиться в догадках. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тяжёлое или острое, наступал сапогом на ногу, плевал в тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо — этот гнев был не окончательный, этот гнев проходил! Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми последними словами, Абакумов радовался: это значило, что Хозяин ещё надеется исправить своего министра и работать с ним дальше.

Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усердии своём заскочил слишком высоко: пониже было бы безопаснее, с *дальними* Сталин разговаривал добродушно, приятно. Но вырваться из *ближних* назад — пути не было.

Оставалось — ждать смерти. Своей. Или... непроизносимой.

И так неизменно складывались дела, что, представая перед Сталиным, Абакумов всегда боялся раскрытия чего-нибудь.

Уж перед тем одним ему приходилось трястись, чтобы не раскрылась история его обогащения в Германии.

...В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины — это хорошо, за Сталина — ещё лучше, но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время — в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно — право послать домой: солдату — пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять, а генера-

лу — пуд? (Такое распределение было справедливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в походе, у генерала же всегда есть своей автомобиль.) Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До неё не долетали снаряды врага. Её не бомбили самолёты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушёл, но куда не пришли ещё ревизоры казны. Её офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что́ они опечатали в вагоне, что́ они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолёты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники — на сотни тысяч, Абакумов грёб миллионы.

Правда, он не мог вообразить таких странных обстоятельств, при которых он пал бы с поста министра или пал бы охраняемый им режим — а золото спасло бы его, даже если б находилось в швейцарском банке. Казалось бы ясно, что никакие драгоценности не спасут обезглавленного. Однако это было свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчинённые, а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он рассылал и рассылал всё новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно.

Но этот клад Нибелунгов, не принеся Абакумову свободного богатства, стал источником постоянного страха разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести на всесильного министра, зато любая случайность могла всплыть и погубить его голову. Бесполезно было взято — однако и не объявляться же теперь министерству финансов!..

...Он приехал в половине третьего ночи, но ещё и в десять минут четвёртого с большим чистым блокнотом в руках ходил по приёмной и томился, ощущая внутреннюю слабость от боязни, а уши его между тем предательски разгорались. Больше всего он был бы сейчас рад, если б Сталин заработался и вообще не принял его сегодня: Абакумов опасался расправы за секретную телефонию. Он не знал, что́ теперь врать.

Но тяжёлая дверь приоткрылась — наполовину. В раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, Поскрёбышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов пошёл, стараясь не становиться всей грубой широкой ступнёй. В следующую дверь, тоже полуоткрытую, он протиснулся тушей своей, не раскрывая дверь шире, придерживая её за начищенную бронзовую ручку, чтоб не отошла. И на пороге сказал:

— Добрый вечер, товарищ Сталин! Разрешите?

Он сплошал, не прокашлялся вовремя, и оттого голос вышел хриплый, недостаточно верноподданный.

Сталин в кителе с золочёными пуговицами, с несколькими рядами орденских колодок, но без погонов, писал за столом. Он дописал фразу, только потом поднял голову, совино-зловеще посмотрел на вошедшего.

И ничего не сказал.

Очень плохой признак! — он ни слова не сказал...

И писал опять.

Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел идти дальше без пригласительного кивка или жеста. Он стоял, держа длинные руки у бёдер, немного наклонясь вперёд, с почтительно-приветственной улыбкой мясистых губ — а уши его пылали.

Министр госбезопасности ещё бы не знал, ещё бы сам не употреблял этот простейший следовательский приём: встречать вошедшего недоброжелательным молчанием. Но сколько б он ни знал, а когда Сталин встречал его так — Абакумов испытывал внутренний обрыв страха.

В этом малом ночном кабинете, прижатом к земле, не было ни картин, ни украшений, оконца малы. Невысокие стены были обложены резной дубовой панелью, по одной стене проходили небольшие книжные полки. Не впридвиг к стене стоял письменный стол. Ещё — радиола в одном углу, а около неё — этажерка с пластинками: Сталин любил по ночам включать свои записанные старые речи и слушать.

Абакумов просительно перегнулся и ждал.

Да, он весь был в руках Вождя, но отчасти — и Вождь в его руках. Как на фронте от слишком сильного продвижения одной стороны возникает переслойка и взаимный обхват, не всегда поймёшь, кто кого окружает, так и здесь: Сталин сам себя (и всё ЦК) включил в систему МГБ — всё, что он надевал, ел, пил, на чём сидел, лежал — всё доставлялось людьми МГБ, а уж охраняло только МГБ. Так что в каком-то искажённо-ироническом смысле Сталин сам был подчинённым Абакумова. Только вряд ли бы успел Абакумов эту власть проявить первый.

Перегнувшись, стоял и ждал дюжий министр. А Сталин писал. Он всегда так сидел и писал, сколько ни входил Абакумов. Можно было подумать — он никогда не спал и не уходил с этого места, а постоянно писал с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала свет на бумаги, верхний же свет от скрытых светильников был небольшой. Сталин не всё время писал, он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол, то взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислушиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате.

Из чего рождается эта манера повелевать, эта значительность

каждого мелкого движения? Разве не так же точно шевелил пальцами, двигал руками, водил бровями и взглядывал молодой Коба? Но тогда это никого не пугало, никто не извлекал из этих движений их страшного смысла. Лишь после какого-то по счёту продырявленного затылка люди стали видеть в самых небольших движениях Вождя — намёк, предупреждение, угрозу, приказ. И заметив это по другим, Сталин начал приглядываться к себе самому, и тоже увидел в своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний смысл — и стал уже сознательно их отрабатывать, отчего они ещё лучше стали получаться и ещё вернее действовать на окружающих.

Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда сегодня сесть.

Абакумов радостно встрепенулся, легко прошёл и сел — но не на всё сиденье, а на переднюю только часть его. Так было ему совсем не удобно, зато легче привставать, когда понадобится.

— Ну? — буркнул Сталин, глядя в свои бумаги.

Настал момент! Теперь надо было не терять инициативы!

Абакумов кашлянул и прочищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно. (Он себя потом проклинал за эту говорливую угодливость в кабинете Сталина, за неумеренные обещания,— но как-то само так всегда получалось, что чем недоброжелательней встречал его Хозяин, тем несдержанней Абакумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые и новые обещания.)

Постоянным украшением ночных докладов Абакумова, тем главным, что привлекало в них Сталина, было всегда — раскрытие какой-то очень важной, очень разветвлённой враждебной группы. Без такой обезвреженной (каждый раз новой) группы Абакумов на доклады не приходил. Он и сегодня приготовил такую группку по Академии имени Фрунзе и долго мог заполнять время подробностями.

Но сперва принялся рассказывать об успехах (он сам не знал — подлинных или мнимых) подготовки покушения на Тито. Он говорил, что будет поставлена бомба замедленного действия на яхту Тито перед отправлением её на остров Брионй.

Сталин поднял голову, вставил погасшую трубку в рот и раза два просопел ею. Он не сделал больше никаких движений, не выказал никакого интереса, но Абакумов, немного всё-таки проникая в шефа, почувствовал, что попал в точку.

— А — Ранкович? — спросил Сталин.

Да, да! Подгадать момент, чтоб и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде — вся эта клика взлетела бы на воздух вместе! По расчётам, не позже этой весны так и должно получиться! (Ещё при взрыве должна была погибнуть команда яхты, однако

министр такой мелочи не касался, и собеседник его не допытывался.)

Но о чём он думал, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого свисающего носа?

Не о том, конечно, что руководимая им партия родилась с отрицания индивидуального террора. И не о том, что сам он всю жизнь только и ехал на терроре. Сопя трубкой и глядя на этого краснощёкого упитанного молодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о чём всегда думал при виде этих ретивых, на всё готовых, заискивающих подчинённых. Даже это не мысль была, а движение чувства: насколько этому человеку можно сегодня доверять? И второе движение: не наступил ли уже момент, когда этим человеком надо пожертвовать?

Сталин прекрасно знал, что Абакумов в сорок пятом году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину нравилось, что Абакумов — такой. Такими легче управлять. Больше всего в жизни Сталин остерегался так называемых «идейных», вроде Бухарина. Это — самые ловкие притворщики, их трудно раскусить.

Но даже и понятному Абакумову нельзя было доверять, как никому вообще на земле.

Он не доверял своей матери. И Богу. И революционерам. И мужикам (что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять). И рабочим (что будут работать, если им не установить норм). И тем более не доверял инженерам. Не доверял солдатам и генералам, что будут воевать без штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим приближённым. Не доверял жёнам и любовницам. И детям своим не доверял. И прав оказывался всегда!

И доверился он одному только человеку — единственному за всю свою безошибочно-недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов и протянул дружескую руку. Это не был болтун, это был человек дела.

И Сталин поверил ему!

Человек этот был — Адольф Гитлер.

С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер чехвостил Польшу, Францию, Бельгию, как самолёты его застилали небо над Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Англию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим. Он слал в Германию эшелоны сырья, не укреплял границ, боялся обидеть коллегу.

Он верил Гитлеру!..

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову.

Тем более теперь он окончательно не верил никому!

На это давление недоверия Абакумов мог бы ответить горькими словами, да не смел их сказать. Не надо было играть в деревянные лошадки — призывать этого олуха Попивода и обсуждать с ним фельетоны против Тито. И тех славных ребят, которых Абакумов намечал послать колоть медведя, знавших язык, обычаи, даже Тито в лицо,— не надо было отвергать по анкетам (раз жил за границей — *не наш* человек), а поручить им, поверить. Теперь-то, конечно, чёрт его знает, что из этого покушения выйдет. Абакумова самого сердила такая неповоротливость.

Но он знал своего Хозяина! Надо было служить ему на какую-то долю сил — больше половины, но никогда на полную. Сталин не терпел открытого невыполнения. Однако чересчур удачное выполнение он ненавидел: он усматривал в этом подкоп под свою единственность. Никто, кроме него, не должен был ничего знать, уметь и делать безупречно!

И Абакумов,— как и все сорок пять министров! — по виду натужась в министерской упряжке, тянул вполплеча.

Как царь Мидас своим прикосновением обращал всё в золото, так Сталин своим прикосновением обращал всё в посредственность.

Но сегодня-таки лицо Сталина по мере абакумовского доклада светлело. И до подробности рассказав о предполагаемом взрыве, министр далее докладывал об арестах в Духовной Академии, потом особенно подробно — об Академии Фрунзе, потом о разведке в портах Южной Кореи, потом...

По прямому долгу и по здравому смыслу он должен был сейчас доложить о сегодняшнем телефонном звонке в американское посольство. Но мог и не говорить: он *мог* бы думать, что об этом уже доложил Берия или Вышинский, а ещё верней — ему самому могли в эту ночь не доложить. Именно из-за того, что, никому не доверяя, Сталин развёл параллелизм, каждый запряженный мог тянуть вполплеча. Выгодней было пока не выскакивать с обещанием найти преступника посредством спецтехники. Всякого же упоминания о *телефоне* он вдвойне сегодня боялся, чтобы Хозяин не вспомнил секретную телефонию. И Абакумов старался даже не смотреть на настольный телефон, чтобы глазами не навести на него Вождя.

А Сталин вспоминал! Он как раз что-то вспоминал! — и как бы не секретную телефонию! Он собрал в тяжёлые складки лоб, и напряглись хрящи его большого носа, упорный взгляд уставил он на Абакумова (министр придал лицу как можно больше

открытой честной прямоты) — но не вспоминалось! Едва державшаяся мысль сорвалась в провал памяти. Беспомощно распустились складки серого лба.

Сталин вздохнул, набил трубку и закурил.

— Да! — вспомнил он в первом дымке, но мимоходом, не то главное, что вспоминал.— Гомулка — арестован?

Гомулка в Польше не так давно был снят со всех постов и, не задерживаясь, катился в пропасть.

— Арестован! — подтвердил облегчённый Абакумов, чуть приподнимаясь со стула. (Да Сталину уже и докладывали об этом.)

Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет на большой — несколько ламп на стенах. Поднялся и, дымя трубкой, начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на коленях большой блокнот, достал авторучку, приготовился писать. (Хозяин любил, чтобы слова его тут же записывали.)

Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымил трубкой и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абакумова. Серое рябоватое лицо его насупилось в мучительном усилии припоминания. Когда он в профиль проходил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи, сутулится спина Вождя, отчего он кажется ещё меньше ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про себя (обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб как-нибудь их не учуял Верховный) — загадал, что не проживёт батька ещё десяти лет, помрёт. Может не рассудительно, а хотелось, чтоб это случилось побыстрей: казалось, что всем им, приближённым, откроется тогда лёгкая вольная жизнь.

А Сталин был подавлен новым провалом в памяти — голова отказывалась ему служить! Идя сюда из спальни, он специально думал, о чём надо спросить Абакумова — и вот забыл. В бессилии он не знал, какую кожу наморщить, чтобы вспомнить.

И вдруг запрокинул голову, посмотрел на верх противоположной стены и вспомнил!! — но не то, что надо было,— а то, чего две ночи назад не мог вспомнить в музее революции, что ему так показалось там неприятно.

...Это было в тридцать седьмом году. К двадцатилетию революции, когда так много изменилось в трактовке, он решил сам просмотреть экспозицию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале — в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор, он с порога внезапно прозревшими глазами увидел на верху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: «Убей тирана!»

Как двумя стрелами, поражённый в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле пальцем тряс, показывая на портреты.

Их сняли тотчас.

И из музея в Ленинграде тоже убрали первую реликвию революции — обломки кареты Александра Второго.

С того самого дня Сталин и приказал строить себе в разных местах убежища и квартиры, иногда целые горы прорывать ходами, как на Холодной речке. И, теряя вкус жить в окружении густого города, дошёл до этой загородной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ дежурной комнаты лейб-охраны.

Чем больше других людей успевал он лишить жизни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за свою. И его мозг изобретал много ценных усовершенствований в системе охраны, вроде того, что состав караула объявлялся лишь за час до вступления и каждый наряд состоял из бойцов разных, удалённых друг от друга казарм: сойдясь в карауле, они встречались впервые, на одни сутки, и не могли сговориться. И дачу себе построил мышеловкой-лабиринтом из трёх заборов, где ворота не приходились друг против друга. И завёл несколько спален, и где стелить сегодня, назначал перед самым тем, как ложиться.

И все эти предосторожности не были трусостью, а лишь — благоразумием. Потому что бесценна его личность для человеческой истории. Однако другие могли этого не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он и всем малым вождям в столице и в областях предписал подобные меры: запретил ходить без охраны в уборную, распорядился ездить гуськом в трёх неразличимых автомобилях.

...Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о портретах народовольцев, он остановился посреди комнаты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая в воздухе трубкой:

— А шьто ты при́д-принимайшь па́ линии безопасности па́р-тийных кадров?

И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя шею набок.

С раскрытым чистым блокнотом Абакумов приподнялся со стула навстречу Вождю (но не встал, зная, что Сталин любит неподвижность собеседников) — и с краткостью (длинные объяснения Хозяин считал неискренними), и с готовностью, со всей готовностью стал говорить о том, о чём сейчас не собирался (эта постоянная готовность была здесь главным качеством, всякое замешательство Сталин бы истолковал как подтверждение злого умысла).

— Товарищ Сталин! — дрогнул от обиды голос Абакумова. Он от души бы сердечно выговорил «Иосиф Виссарионович», но

так не полагалось обращаться, это претендовало бы на приближение к Вождю, как бы почти один разряд с ним.— Для чего и существуем мы, Органы, всё наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин, могли спокойно трудиться, думать, вести страну!..

(Сталин говорил «безопасность партийных кадров», но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!)

— Да дня не проходит, чтоб я не проверял, чтоб я не арестовывал, чтоб я не вникал в дела!..

Всё так же в позе ворона со свёрнутой шеей Сталин смотрел внимательно.

— Слюшай,— спросил он в раздумьи,— а шьто? *Дэла* по террору — идут? Нэ прекращаются?

Абакумов горько вздохнул.

— Я бы рад был вам сказать, товарищ Сталин, что *дел* по террору нет. Но они есть. Мы обезвреживаем их даже... ну, в самых неожиданных местах.

Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было удовлетворение.

— Это — харашё! — кивнул он.— Значит — ра́ботаете.

— Причём, товарищ Сталин! — Абакумову всё-таки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождём, и он привстал, не распрямляя колен полностью (а уж на высоких каблуках он никогда сюда не являлся).— Всем этим делам мы не даём созреть до прямой подготовки. Мы их прихватываем на замысле! на намерении! через девятнадцатый пункт!

— Харашё, харашё,— Сталин успокоительным жестом усадил Абакумова (ещё б такая туша возвышалась над ним).— Значит, ты считайшь — нэ́-довольные е́щё есть в народе?

Абакумов опять вздохнул.

— Да, товарищ Сталин. Ещё некоторый процент...

(Хорош бы он был, сказав, что — нет! Зачем тогда его и фирма?..)

— Верно ты говоришь,— задушевно сказал Сталин. В голосе его был перевес хрипов и шорохов над звонкими звуками.— Значит, ты — мо́жишь работать в госбезопасности. А вот мне говорят — нэт больше нэдовольных, все, кто голосуют на выборах *за* — всэ довольны. А? — Сталин усмехнулся.— Па́литическая слепота! Враг притаился, голосует за, а он — нэ́ доволен! Процентов пять, а? Или, может — восемь?..

(Вот эту проницательность, эту самокритичность, эту неподдаваемость свою на фимиам Сталин особенно в себе ценил!)

— Да, товарищ Сталин,— убеждённо подтвердил Абакумов.— Именно так, процентов пять. Или семь.

Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошёл вокруг письменного стола.

— Это уж мой недостаток, товарищ Сталин,— расхрабрился Абакумов, уши которого охладились вполне.— Не могу я самоуспокаиваться.

Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:

— А — нáстроение молодёжи?

Вопрос за вопросом шли как ножи, и порезаться достаточно было на одном. Скажи «хорошее» — политическая слепота. Скажи «плохое» — не веришь в наше будущее.

Абакумов развёл пальцами, а от слов пока удержался.

Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, пристукивая трубкой:

— Нада бóльши заботиться á молодёжи. К порокам средú молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!

Абакумов спохватился и начал писать.

Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажёг и снова зашагал по комнате бодрéй гораздо:

— Нада ýсилить наблюдение зá настроениями студентóв! Нáда вы́корчёвывать нэ́ по адиночке — а целыми группами! И надо переходить нá полную меру, которую даёт вам закон — двадцать пять лет, а не десять! Десять — это шькола, а не тюрьма! Это шькольникам можнё по десять. А у кого усы пробиваются — двадцать пять! Мáладые! Дá-живут!

Абакумов строчил. Первые шестерёнки долгой цепи завертелись.

— И надо прэ́кратить сáнаторные условия в пáлитических тюрьмах! Я слышал от Берии: в пáлитических тюрьмах дó-сих-пор-есть прáдуктовые передачи?

— Уберём! Запретим! — с болью в голосе вскликнул Абакумов, продолжая писать.— Это была наша ошибка, товарищ Сталин, простите!!

(Уж, действительно, это был промах! Это он мог догадаться и сам!)

Сталин расставил ноги против Абакумова:

— Да скóлько жи раз вам объяснять? Нáда жи вам понять наконец...

Он говорил без злобы. В его помягчевших глазах выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймёт. Абакумов не помнил, когда ещё Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его, мозг заработал как у обычного человека в обычных условиях. И служебное обстоятельство, давно уже мешавшее ему, как кость в горле, нашло теперь выход. С оживившимся лицом Абакумов сказал:

— Мы понимаем, товарищ Сталин! мы (он говорил за всё

министерство) понимаем: классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение — как нас связывает в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы колотимся уже два с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом — зарплату *исполнителям* по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учёт. Потом — и в лагерях припугнуть нечем. Ка́к нам смертная казнь нужна! Товарищ Сталин, *верните нам смертную казнь*!! — от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя.

И Сталин — чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жёсткие усы дрогнули, но мягко.

— Знаю,— тихо, понимающе сказал он.— Думал.

Удивительный! Он обо всём знал! Он обо всём думал! — ещё прежде, чем его просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли.

— На́-днях верну вам смэртную казнь,— задумчиво говорил он, глядя глубоко вперёд, как бы в годы и в годы.— Эт-та будыт харёшая воспитательная мера.

Ещё бы он не думал об этой мере! Он больше их всех третий год страдал, что поддался порыву прихвастнуть перед Западом, изменил сам себе — поверил, что люди не до конца испорчены.

А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля: ни разжалование, ни всеобщая травля, ни дом умалишённых, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Только смерть была расчётом надёжным, сполна. Только смерть нарушителя подтверждает, что ты обладаешь реальной полной властью.

И если кончик уса его вздрагивал от негодования, то приговор всегда был один: смерть.

Меньшей кары просто не было в его шкале. Из далёкой светлой дали, куда он только что смотрел, Сталин перевёл глаза на Абакумова. С нижним прищуром век спросил:

— А ты — нэ боишься, что мы тебя жи первого и расстреляем?

Это «расстреляем» он почти не договорил, он сказал его на спаде голоса, уже шорохом, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое.

Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый Родной и Любимый стоял над ним лишь немного дальше, чем мог бы Абакумов достать протянутым кулаком, и следил за каждой чёрточкой министра, как он поймёт эту шутку.

Не смея встать и не смея сидеть, Абакумов чуть приподнялся

на напряжённых ногах, и от напряжения они задрожали в коленях:

— Товарищ Сталин!.. Так если я заслуживаю... Если нужно...

Сталин смотрел мудро, проницательно. Он тихо сверялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о приближённом. Увы, он знал эту человеческую неизбежность: от самых усердных помощников со временем обязательно приходится отказаться, отчураться, они себя компрометируют.

— Правильно! — с улыбкой расположения, как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин.— Когда́ заслужишь — тогда́ расстреляем.

Он провёл в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся.

Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру госбезопасности ещё не приходилось слышать:

— Скоро будыт мно́го-вам-работы, А́бакумов. Будым йищё один раз та́кое мероприятие проводить, ка́к в тридцать седьмом. Весь мир — против нас. Война давно неизбежна. С сорок четвёртого года неизбежна. А перед ба́ль-шой войной ба́ль-шая нужна и чистка.

— Но товарищ Сталин! — осмелился возразить Абакумов.— Разве мы сейчас не сажаем?

— Эт-та разве сажаем!..— отмахнулся Сталин с добродушной усмешкой.— Во́т начнём сажать — увидишь!.. А во время войны пойдём вперёд — там Йи-вропу начнём сажать! Крепи Органы. Крепи Органы! Шьта́ты, зарплата — я тыбе ны́когда нэ откажу.

И отпустил мирно:

— Ну, иды́-пока.

Абакумов не чувствовал — шёл он или летел через приёмную к Поскрёбышеву за портфелем. Не только можно было жить теперь целый месяц — но не начиналась ли новая эпоха его отношений с Хозяином?

Ещё, правда, было угрожено, что его же и расстреляют. Но ведь то была шутка.

22

А Властитель, возбуждённый большими мыслями, крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нём, какой-то огромнейший духовой оркестр давал ему музыку к маршу.

Недовольные? Пусть недовольные. Они всегда были и будут.

Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со временем люди всё дурное простят, и даже забудут, и даже припомнят как хорошее. Целые народы подобны королеве Анне, вдове из шекспировского «Ричарда III»,— их гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдаться победителю.

Толпа — это как бы материя истории. (Записать!) Сколько её в одном месте убудет, столько в другом прибудет. Так что беречь её нечего.

Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что не кончена борьба, не достроено здание, неверное время — и некому его заменить.

Провести и выиграть последнюю мировую войну. Как сусликов выморить западных социал-демократов и всех недобитых во всём мире. Потом, конечно, поднять производительность труда. Решить там эти разные экономические проблемы. Одним словом, как говорится, построить коммунизм.

Тут, кстати, укрепились совершенно неправильные представления, Сталин последнее время обдумал и разобрался. Близорукие наивные люди представляют себе коммунизм как царство сытости и свободы от необходимости. Но это было бы невозможное общество, все на голову сядут, такой коммунизм хуже буржуазной анархии! Первой и главной чертой истинного коммунизма должна быть дисциплина, строгое подчинение руководителям и выполнение всех указаний. (И особенно строго должна быть подчинена интеллигенция.) Вторая черта: сытость должна быть очень умеренная, даже недостаточная, потому что совершенно сытые люди впадают в идеологический разброд, как мы видим на Западе. Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от материальной силы истории, бытие перестанет определять сознание, и всё пойдёт кувырком.

Так что, если разобраться, то истинный коммунизм у Сталина *уже* построен.

Однако объявлять об этом нельзя, ибо тогда: куда же идти? Время идёт, и всё идёт, и надо куда-то же идти.

Очевидно, объявлять о том, что коммунизм уже построен, вообще не придётся никогда, это было бы методически неверно.

Вот кто молодец был — Бонапарт. Не побоялся лая из якобинских подворотен, объявил себя императором — и кончено дело.

В слове «император» ничего плохого нет, это значит — повелитель, начальник. Это ничуть не противоречит мировому коммунизму.

Как бы это звучало! — Император Планеты! Император Земли!

Он шагал и шагал, и оркестры играли.

А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?.. Нет, не успеют.

Как же бросить человечество? И — на кого? Напутают, ошибок наделают.

Ну, ладно. Понастроить себе памятников — ещё побольше, ещё повыше (техника разовьётся). Поставить на Казбеке памятник, и поставить на Эльбрусе памятник — и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть — Величайшим изо всех Великих, нет ему равных, нет сравнимых в истории Земли.

И вдруг он остановился.

Ну, а...— выше? Равных ему, конечно, нет, ну а если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а там... ?

Он опять пошёл, но медленнее.

Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину.

Давно, кажется, доказано то, что надо, а что мешало — то опровергнуто.

А всё равно как-то неясно.

Особенно если детство твоё прошло в церкви. И ты вглядывался в глаза икон. И пел на клиросе. А «Ныне отпущаеши» и сейчас споёшь-не соврёшь.

Эти воспоминания почему-то за последнее время оживились в Иосифе.

Мать, умирая, так и сказала: «Жалко, что ты не стал священником.» Вождь мирового пролетариата, Собиратель славянства, а матери казалось: неудачник...

На всякий случай Сталин против Бога никогда не высказывался, довольно было ораторов без него. Ленин на крест плевал, топтал, Бухарин, Троцкий высмеивали — Сталин помалкивал.

Того церковного инспектора, Абакадзе, который выгнал Джугашвили из семинарии, Сталин трогать не велел. Пусть доживает.

И когда третьего июля пересохло горло, и на глаза вышли слёзы — не страха, а жалости, жалости к себе — не случайно с его губ сорвались «братья и сёстры». Ни Ленин, ни кто другой и нарочно б так не придумал обмолвиться.

Его же губы сказали то, к чему привыкли в юности.

Никто не видел, не знает, никому не говорил: в те дни он в своей комнате запирался и молился, по-настоящему молился, только в пустой угол, на коленях стоял, молился. Тяжелей тех месяцев во всей его жизни не было.

В те дни он дал Богу обет: что если опасность пройдёт, и он сохранится на своём посту, он восстановит в России церковь, и служения, и гнать не даст, и сажать не даст. (Этого и раньше не следовало допускать, это при Ленине завели.) И когда точно опасность прошла, Сталинград прошёл — Сталин всё сделал по обету.

Если Бог есть — Он один знает.

Только вряд ли он всё-таки есть. Потому что слишком уж тогда благодушный, ленивый какой-то. Такую власть иметь — и всё терпеть? и ни разу в земные дела не вмешаться — ну, как это возможно?.. Вот обойдя это спасение сорок первого года, никогда Сталин не замечал, чтоб кроме него кто-нибудь ещё распоряжался. Ни разу локтем не толкнул, ни разу не прикоснулся.

Но если всё-таки Бог есть, если распоряжается душами — нуждался Сталин мириться, пока не поздно. Несмотря на всю свою высоту — тем более нуждался. Потому что — пустота его окружала, ни рядом, ни близко никого, всё человечество — внизу где-то. И, пожалуй, ближе всего к нему был — Бог. Тоже одинокий.

И последние годы Сталину просто приятно было, что церковь в своих молитвах провозглашает его Богоизбранным Вождём. За то ж и он держал Лавру на кремлёвском снабжении. Никакого премьер-министра великой державы не встречал Сталин так, как своего послушного дряхлого патриарха: он выходил его встречать к дальним дверям и вёл к столу под локоток. И ещё он подумывал, не подыскать ли где именьице какое, подворье, и подарить патриарху. Ну, как раньше дарили на помин души.

Об одном писателе Сталин узнал, что тот — сын священника, но скрывает. «Ты — пра́ва-славный?» — спросил он его наедине. Тот побледнел и замер. «А ну, пэ́рэкрестысь! Умейшь?» Писатель перекрестился и думал — тут ему конец. «Ма́ладэц!» — сказал Сталин и похлопал по плечу.

Всё-таки в долгой трудной борьбе были у Сталина кое-какие перегибы. И хорошо бы так, над гробом, хор светлый собрать и чтобы — «Ныне отпущаеши...»

Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только православию: раз, и другой, и третий потягивала его какая-то привязанность к старому миру — к тому миру, из которого он вышел сам, но который по большевистской службе уже сорок лет разрушал.

В тридцатые годы из одной лишь политики он оживил забытое, пятнадцать лет не употреблявшееся и на слух почти позорное слово *Родина*. Но с годами ему самому вправду стало очень приятно выговаривать «Россия», «родина». При этом его со-

бственная власть приобретала как будто бóльшую устойчивость. Как будто святость.

Раньше он проводил мероприятия партии и не считал, сколько там этих русских идёт в расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен русский народ — этот никогда не изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудности и не бунтовавший никогда. Преданный, простоватый. Вот такой, как Поскрёбышев. И после Победы Сталин вполне искренне сказал, что у русского народа — ясный ум, стойкий характер и терпение.

И самому Сталину с годами уже хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже.

Что-то приятное находил он также в самой игре слов, напоминающей старый мир: чтобы были не «заведующие школами», а директоры; не «комсостав», а — офицерство; не ВЦИК, а — Верховный Совет (верховный — очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от гимназистов, и носили пелеринки, и платили за проучение; и чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия; и чтобы советские люди отдыхали как все христиане, в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни; и даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе — хоть самому ему круто пришлось от этого в своё время, и что́ б об этом ни думал Энгельс в морской пучине; и хотя советовали ему Булгакова расстрелять, а белогвардейские «Дни Турбиных» сжечь, какая-то сила подтолкнула его локоть написать: «допустить в одном московском театре».

Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю старые русские погоны — и ощутил в этом удовольствие.

В конце концов и в короне, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего зазорного. В конце концов то был проверенный, устойчивый, триста лет стоявший мир, и лучшее из него — почему не заимствовать?

И хотя сдача Порт-Артура могла в своё время только радовать его, бежавщего из Иркутской губернии ссыльного революционера,— после разгрома Японии он, кажется, не солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежала тёмным пятном на самолюбии его и других старых русских людей.

Да, да, старых русских людей! Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился во главе этой страны и привлёк сердца её — именно он, а не все те знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты — без родства, без корней, без положительности.

Вот они, вот они все здесь, на полках, без переплётов, в брошюрах двадцатых годов — захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожжённые, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифические — здесь они выстроились все! Каждую ночь они предлагают ему свои страницы, трясут бородёнками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: «Мы предупреждали!», «Нужно было иначе!» Чужих блох искать — ума не надо! Для того Сталин и собрал их здесь, чтобы злей быть по ночам, когда принимает решения. (Почему-то всегда оказывалось так, что уничтоженные противники в чём-то оказывались и правы. Сталин настороженно прислушивался к их враждебным загробным голосам и иногда кое-что перенимал.)

Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низкопокатым назад лбом питекантропа, неуверенно брёл мимо полок и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов.

Невидимый внутренний оркестр, под который он шагал, разладился и замолк в нём.

И заломили, почти отняться готовы были ноги. Тяжёлыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась — и он совсем забыл, зачем подошёл к этим полкам? о чём он только что думал?

Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.

Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без любви. Старость без веры. Старость без желаний.

Даже любимая дочь давно была ему не нужна, чужда.

Ощущение перешибленной памяти, меркнущего разума, отъединения ото всех живых заполняло его беспомощным ужасом.

Мутным взглядом он обвёл комнату, не различая, близко её стены или далеко.

На тумбочке рядом стоял ещё один графинчик под замком. Сталин нащупал ключ, длинно привязанный к поясу (в дурном состоянии он мог обронить его и искать долго), отпер графинчик, налил и выпил бодрящей настойки.

И ещё сидел с закрытыми глазами. В теле стало лучше, лучше, хорошо.

Прояснeвший взгляд его упал на телефон — и что-то, ускользавшее весь вечер, опять скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста.

Что-то надо было спросить у Абакумова... Арестован ли Гомулка?..

Да! Вот оно! Он поднялся и, мягко шаркая по ковру, добрался до письменного стола, взял ручку, написал на календаре: *Секретная телефония.*

Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обязательства — почему не кончают?! Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый — ни слова не сказал!

Вот так и все они, во всех ведомствах — каждый старается обмануть своего Вождя! Как же можно им довериться? Как же можно не работать по ночам?

Ещё до завтрака больше десяти часов.

Он позвонил, чтоб его переодели в халат.

Беззаботная страна может спать, но Отец её спать не может!

23

Уж, кажется, всё было сделано для бессмертия.

Но Сталину казалось, что современники, хотя и называют его Мудрейшим из Мудрейших,— всё-таки не по заслугам мало восхищаются им; всё-таки в своих восторгах поверхностны и не оценили всей глубины его гениальности.

И последнее время язвила его мысль: не только выиграть третью мировую войну, но совершить ещё один научный подвиг, внести свой блистающий вклад в какую-нибудь ещё из наук, кроме философских и исторических.

Конечно, такой вклад он мог бы внести в биологию, но там он доверил работу Лысенко, этому честному энергичному человеку из народа. Да и больше была заманчива для Сталина математика или хотя бы физика. Все Основоположники бесстрашно пробовали свои силы в этих науках. Просто завидно читать бойкие рассуждения Энгельса о ноле или о минус единице, возведенной в квадрат. Восхищала Сталина и та решительность Ленина, с которой он, юрист, пошёл в дебри физики, и там, на месте, распушил учёных, доказал, что материя не может превращаться ни в какую энергию.

Сталин же, сколько ни перелистывал учебник «Алгебры» Киселёва и «Физику» Соколова для старших классов,— никак не мог набрести ни на какой счастливый толчок.

Такую счастливую мысль — правда, совсем в другой области, в языкознании, ему подал недавний случай с тбилисским профессором Чикобавой. Этого Чикобаву Сталин смутно помнил, как всех сколько-нибудь выдающихся грузинов: он был посетителем дома Игнатошвили-сына, тбилисского адвоката, меньшевика, и сам фрондёр, уже не мыслимый нигде, кроме Грузии.

В последней статье, доживя до того почтенного возраста и до того скептического состояния ума, когда начинаешь мало считаться с земным, Чикобава умудрился написать по видимости

антимарксистскую ересь, что язык — никакая не *надстройка,* а просто себе язык, и что будто бы существует язык не буржуазный и пролетарский, а просто национальный язык. И открыто осмелился посягнуть на имя самого Марра.

Так как и тот и другой были грузинами, то отклик последовал в грузинском же университетском вестнике, серенький непереплетенный номер которого с грузинской вязью лежал сейчас перед Сталиным. Несколько лингвистов-марксистов-марристов обрушились на наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось только ожидать ночного стука МГБ. Уже намекнуто было, что Чикобава — агент американского империализма.

И ничто не спасло бы Чикобаву, если бы Сталин не снял трубку и не оставил его жить. Его он оставил жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие.

Правда, звучней было бы опровергнуть, например, контрреволюционную теорию относительности или волновую механику. Но за государственными делами просто нет на это времени. Языкознание же всё-таки рядом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда казалась Сталину рядом с математикой.

Это можно будет ярко, выразительно написать (он уже сидел и писал): «Какой бы язык советских наций мы ни взяли — русский, украинский, белорусский, узбекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский... (вот чёрт, с годами ему всё трудней останавливаться в перечислениях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется)...— каждому ясно, что...» Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно.

А что ясно? Ничего не ясно... Экономика — базис, общественные явления — надстройка. И — ничего третьего, как всегда в марксизме.

Но с опытом жизни Сталин разобрался, что без третьего не поскачешь. Например, нейтральные страны могут же быть (их доконаем потом отдельно) и нейтральные партии (конечно, не у нас). При Ленине скажи такую фразу: «Кто не с нами — тот ещё не против нас»? — в минуту бы выгнали *из рядов.*

А получается так... Диалектика.

Вот и тут. Над статьёй Чикобавы Сталин сам задумался, поражённый никогда не приходившей ему мыслью: если язык — надстройка, почему он не меняется с каждой эпохой? Если он *не* надстройка, так что́ он? Базис? Способ производства?

Собственно так: способ производства состоит из производительных сил и производственных отношений. Назвать язык *отношением* — пожалуй что нельзя. Значит, язык — производитель-

ная сила? Но производительные силы есть: орудия производства, средства производства и люди. Но хотя люди говорят языком, всё же язык — не люди. Чёрт его знает, тупик какой-то.

Честнее всего было бы признать, что язык — это орудие производства, ну, как станки, как железные дороги, как почта. Тоже ведь — связь. Сказал же Ленин: «без почты не может быть социализма». Очевидно, и без языка...

Но если прямым тезисом так и дать, что язык — это орудие производства, начнётся хихиканье. Не у нас, конечно.

И посоветоваться не с кем.

Ну, можно будет вот так, поосторожнее: «В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем от машин, которые так же безразличны к классам, как язык.»

«Безразличны к классам»! Тоже ведь раньше, бывало, не скажешь...

Он поставил точку. Заложил руки за затылок, зевнул и потянулся. Не так много он ещё думал, а уже устал.

Сталин поднялся и прошёлся по кабинету. Он подошёл к небольшому окошку, где вместо стёкол было два слоя прозрачной желтоватой брони, а между ними высокое выталкивающее давление. Впрочем, за окнами был маленький отгороженный садик, там по утрам проходил садовник под наблюдением охраны — и сутки не было больше никого.

За непробиваемыми стёклами стоял в садике туман. Не было видно ни страны, ни Земли, ни Вселенной.

В такие ночные часы, без единого звука и без единого человека, Сталин не мог быть уверен, что вся страна-то его существует.

Когда после войны несколько раз он ездил на юг, он видел одно пустое, как вымершее, пространство, никакой живой России, хотя проехал тысячи километров по земле (самолётам он себя не доверял). Ехал ли он на автомобилях — и пустое стлалось шоссе, и безлюдная полоса вдоль него. Ехал ли он поездом — и вымирали станции, на остановках по перрону ходила только его поездная свита и очень проверенные железнодорожники (а скорей всего — чекисты). И у него укреплялось ощущение, что он одинок не только на своей кунцевской даче, но и вообще во всей России, что вся Россия — придумана (удивительно, что иностранцы верят в её существование). К счастью, однако, это неживое пространство исправно поставляет государству хлеб, овощи, молоко, уголь, чугун — и всё в заданных количествах и в срок. Ещё и отличных солдат поставляет это пространство. (Тех дивизий Сталин тоже никогда своими глазами не видел, но судя по взятым городам — которых он тоже не видел — они несомненно существовали.)

Сталин был так одинок, что уже некем было ему себя проверить, не с кем соотнестись.

Впрочем, половина Вселенной заключалась в его собственной груди и была стройна, ясна. Лишь вторая половина — та самая объективная реальность, корчилась в мировом тумане.

Но отсюда, из укреплённого, охраняемого, очищенного ночного кабинета, Сталин совсем не боялся той второй половины — он чувствовал в себе власть корёжить её, как хотел. Только когда приходилось своими ногами вступать в ту объективную реальность, например, поехать на большой банкет в Колонный зал, своими ногами пересечь пугающее пространство от автомобиля до двери, и потом своими ногами подниматься по лестнице, пересекать ещё слишком обширное фойе и видеть по сторонам восхищённых, почтительных, но всё же слишком многочисленных гостей — тогда Сталин чувствовал себя худо, и не знал даже, как лучше использовать руки свои, давно не годные к настоящей обороне. Он складывал их на животе и улыбался. Гости думали, что Всесильный улыбается в милость к ним, а он улыбался от растерянности...

Пространство им самим было названо коренным условием существования материи. Но овладев его сухой шестой частью, он стал опасаться его. Тем и хорош был его ночной кабинет, что здесь не было пространства.

Сталин задвинул металлическую шторку и поплёлся опять к столу. Проглотил таблетку, снова сел.

Никогда в жизни ему не везло, но надо трудиться. Потомки оценят.

Как это случилось, что в языкознании — аракчеевский режим? Никто не смеет слова сказать против Марра. Странные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь демократии, разжуёшь им, в рот положишь — не берут!

Всё — самому, и тут — самому...

И он в увлечении записал несколько фраз:

«Надстройка *для того* и создана базисом, *чтобы...*»

«Язык *для того и создан, чтобы...*»

В усердии выписывания слов он низко склонил над листом коричневато-серое лицо с большим носом-бороздилом.

Лафарг этот, тоже мне в теоретики! — «внезапная языковая революция между 1789 и 1794 годами». (Или с тестем согласовал?..)

Какая там революция! Был французский язык — и остался французский.

Кончать надо все эти разговорчики о революциях!

«Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому качеству путём взрыва неприменим не только к истории

развития языка,— он редко применим и к другим общественным явлениям.»

Сталин отклонился, перечитал. Это хорошо получилось. Надо, чтобы это место агитаторы особенно хорошо разъясняли: что с какого-то момента всякие революции прекращаются и развитие идёт только эволюционным путём. И даже, может быть, количество не переходит в качество. Но об этом в другой раз.

«Редко»?.. Нет, пока ещё так нельзя.

Сталин перечеркнул «редко» и написал: «не всегда».

Какой бы примерчик?

«Мы перешли от буржуазного индивидуально-крестьянского строя (новый термин получился, и хороший термин!) к социалистическому колхозному.»

И, поставив, как все люди, точку, он подумал и дописал: «строю». Это был его любимый стиль: ещё один удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов любая фраза воспринималась им как-то понятнее. Увлечённое перо писало дальше:

«Однако этот переворот совершился не путём взрыва, то есть не путём свержения существующей власти,— (надо, чтоб это место агитаторы особенно разъясняли!),— и создания новой власти»,— (об этом чтоб и мысли не было!!).

С легкодумной ленинской руки в советской исторической науке признают только революцию снизу, а революцию сверху считают полумерой, ублюдком, признаком дурного тона. Но пора назвать вещи своими именами:

«А удалось это проделать потому, что это была революция *сверху*, что переворот был совершён по инициативе существующей власти...»

Стоп, это получилось нехорошо. Так выходит, что инициатива коллективизации шла не от крестьян?..

Сталин откинулся в кресле, зевнул — и вдруг потерял мысль, все мысли, какие только что были. Загоревшийся в нём пыл исследования — погас.

Сильно сгорбившись, путаясь в длинных полах халата, шаркающею походкой владетель полумира прошёл во вторую узкую дверь, не различную от стены, опять в кривой узкий лабиринтик, а лабиринтиком — в низкую спальню без окна, с железобетонными стенами.

Ложась, он кряхтел и пытался подкрепить себя привычным рассуждением: ни Наполеон, ни Гитлер не могли взять Британии потому, что имели врага на континенте. А у него — не будет. Сразу с Эльбы — марш на Ламанш, Франция сыпется как труха (французские коммунисты помогут), Пиренеи — с ходу штурмом. Блиц-криг — это, конечно, афера. Но без молниеносной войны не обойтись.

Начать можно будет, как атомных бомб наделаем и прочистим тыл хорошенько.

Уже уткнувшись в подушку щекой, перебрал последние бессвязные мысли: что в Корее тоже надо молниеносно; что с нашими танками, артиллерией, авиацией обойдёмся мы, пожалуй, и без Мирового Октября.

Вообще путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много сложностей.

Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной!

И опустился в сон.

24

Когда инженер-полковник Яконов вышел из министерства боковым парадным ходом на улицу Дзержинского и обогнул чёрно-мраморный нос здания под пилястры Фуркасовского, он не сразу узнал свою «победу» и уже надавил было ручку садиться в чужую.

Вся прошедшая ночь была густо-туманная. Снег, порывавшийся идти с вечера, вначале всё таял, потом пресекся. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а натаявшую воду подбирало хрупким ледком.

Холодало.

Было уже скоро пять часов. В небе стояла чёрная фонарная ночь.

Мимо проходил студент-первокурсник (он всю ночь простоял в парадном со своей возлюбленной) и с завистью поглядел, как Яконов садился в автомобиль. Он вздохнул — доживёт ли когда-нибудь, чтоб иметь машину. Не то, чтобы девушку покатать в легковой — он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхоз на уборочную.

Но он не знал, кому завидовал...

Шофёр спросил:

— Домой?

Яконов бессмысленно держал на ладони карманные часы, не понимая, что они показывали.

— Домой? — спросил шофёр.

Яконов дико посмотрел на него.

— А? Нет.

— В Марфино? — удивился шофёр. Хотя он ждал в бурках и в полушубке — он продрог, хотел спать.

— Нет,— ответил инженер-полковник, держась рукой чуть повыше сердца.

Шофёр смотрел на лицо шефа в мутноватом пятне от уличного фонаря сквозь ветровое стекло.

Это не был его шеф. Покойные мягкие, порой надменно-сжатые губы Яконова беспомощно тряслись.

И он всё ещё держал на ладони часы, не понимая.

И хотя шофёр с полуночи ждал, злился на полковника, матерясь в бараний мех воротника, припоминая ему все его дурные поступки за два года,— сейчас, не переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его прошла.

Было так поздно, что уже становилось рано. Редкий автомобиль встречался на пустынных улицах. Уже не было ни милиции, ни тех, кто раздевает, ни тех, кого раздевают. Скоро должны были пойти троллейбусы.

Несколько раз шофёр оглядывался на полковника: всё же надо было что-то решать. Он уже сгонял до Мясницких ворот, доехал бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не ездить же было так до утра!

Яконов неподвижным бессмысленным взглядом упёрся вперёд, в ничто.

Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что вид кварталов, близких к дому, приведёт инженер-полковника к желанию вернуться домой, шофёр направил в Замоскворечье. Из Охотного ряда он развернулся на строгую пустынную Красную площадь.

Зубцы стен и верхушки елей у стен тронуло инеем. Брусчатка была особенно скользка. Туман жался под колёса автомобиля, к мостовой.

В двухстах метрах от них за зубцами, которые поэтами назывались не иначе как священными, за проходными, караулками, вахтами, часовыми, патрулями и засадами, обитал, по тем же поэтам, Неусыпный, и должен был сейчас кончать свою одинокую ночь.

А они проехали, даже не вспомнив о нём.

И уж когда спустились мимо Василия Блаженного и повернули налево по набережной, шофёр затормозил и спросил опять:

— А может домой, товарищ полковник?

Надо было именно домой. Может быть этих ночей, проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но как пёс убегает умирать в одиночестве, так Яконов должен был уйти куда-то, не в семью.

Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из «победы» и сказал шофёру:

— Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду.

Братцем он иногда называл шофёра. Но звукнула в его голосе такая скорбь, будто он прощался.

Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана.

Не застёгивая пальто, в полковничьей папахе чуть набекрень, Яконов, оскользаясь, пошёл по набережной.

Шофёр хотел окликнуть его, поехать с ним рядом, но потом подумал, что — небось, в таких чинах не топятся, развернулся и уехал.

А Яконов пошёл долгим пролётом набережной без пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шёл он по асфальту, посередине, немигающе уставясь в далёкие фонарные огни.

И пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похоронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему простое и давно не испытанное удовольствие.

Когда их вызвали к министру второй раз — случилось непоправимое. Было ощущение, что рухнули все привычные прикрывающие потолки. Абакумов метался красным зверем. Он наступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался, плевал — едва что мимо них, и, не соразмерив тычка кулаком к лицу Яконова, с очевидным желанием причинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова пошла кровь.

Селивановского он разжаловал в лейтенанты и послал на заполярную подкомандировку; Осколупова вернул рядовым надзирателем в Бутырскую тюрьму, где тот начал карьеру в 1925 году; а Яконова за обман и за *повторное вредительство* арестовал и послал в таком же синем комбинезоне в ту же Семёрку, к Бобынину, своими руками налаживать клиппированную речь.

Потом отдышался и дал им последнего сроку — до ленинской годовщины.

Большой безвкусный кабинет плыл и качался в глазах Яконова. Платком он пытался осушить нос. Он стоял беззащитно перед Абакумовым, а сам думал о тех, с кем проводил один только час в сутки, но единственно для кого извивался, боролся и тиранил остальные часы бодрствования: о двух девочках восьми и девяти лет и о жене Варюше, тем более дорогой, что он не рано женился на ней. Он женился тридцати шести лет, едва выйдя оттуда, куда опять его теперь толкал железный кулак министра.

Потом Селивановский повёл Осколупова и Яконова к себе и угрозил, что обоих их загонит за решётку, но не даст себя низвести до заполярного лейтенанта.

Потом Осколупов повёл Яконова к себе и начистую открыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное прошлое Яконова и его вредительское настоящее.

...Яконов подошёл к высокому бетонному мосту, уводившему направо за Москва-реку. Но он не стал обходить, подниматься на

его въезд, а прошёл под ним, тоннелем, где расхаживал милиционер.

Милиционер долгим подозрительным взглядом проводил странного пьяного человека в пенсне и полковничьей папахе.

Дальше Яконов перешёл коротким мостом через малую речку. Это было устье Яузы, но он не пытался опознаться, где он.

Да, затеяна была угарная игра, и подходил её конец. Яконов не раз вокруг себя и на себе испытывал ту безумную непосильную гонку, в которой захлестнулась вся страна — её наркомы и обкомы, учёные, инженеры, директоры и прорабы, начальники цехов, бригадиры, рабочие и простые колхозные бабы. Кто бы и за какое бы дело ни брался, очень скоро оказывался в захвате, в защеме придуманных, невозможных, калечащих сроков: больше! быстрее! ещё!! ещё!!! норму! сверх нормы!! три нормы!!! почётную вахту! встречное обязательство! досрочно!! ещё досрочнее!!! Не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе — а человеку, попавшему в эту круговерть, то есть каждому отдельному человеку, не оставалось, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между этими шестерёнками, сойти с ума, попасть в аварию — и только тогда отлежаться в больнице, в санатории, дать забыть о себе, вдохнуть лесного воздуха — и опять, и опять вползать постепенно в тот же хомут.

Только больные наедине со своей болезнью (не в клинике!) могли жить бестревожно в этой стране.

Однако до сих пор из таких дел, неотвратимо загубляемых спешкой, Яконову всё удавалось выскакивать в другие дела — или поспокойнее, или ещё пока вначале.

Лишь на этот раз, он чувствовал, ему уже не вырваться. Установку клиппера нельзя было спасти так быстро. Никуда нельзя было и перейти.

И заболеть — тоже было упущено.

Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз. Туман вовсе лёг на лёд, обнажив его,— и прямо под Яконовым виднелось чёрное гнило-зимнее пятно — разводье.

Чёрная бездна прошлого — тюрьма — опять разверзалась перед ним и опять звала его вернуться.

Шесть лет, проведенных *там,* Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни.

Он сел в тридцать втором году, молодым инженером-радистом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках (из-за этих командировок он и сел). И тогда попал в число первых зэков, из которых сформировали одну из первых шарашек.

Как он хотел забыть тюремное прошлое — сам! и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! Как он сторонился тех,

кто напоминал ему злосчастное время, кто знал его заключённым!

С порывом он отошёл от парапета подальше, пересек набережную и пошёл куда-то круто вверх. Огибая долгий забор ещё одной строительной площадки, там шла тропа, утоптанная и сохранившая нескользкий ледок.

Только центральная картотека МГБ знала, что и под мундирами МГБ порой скрывались бывшие зэки.

Двое таких, кроме Яконова, было и в Марфинском институте.

Яконов щепетильно избегал их, старался никогда не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставался один на один в кабинете, дабы со стороны не примыслили чего дурного.

Один из них был — Княженецкий, семидесятилетний профессор химии, любимый студент Менделеева. Он отбыл свои положенные десять лет, после чего во внимание к длинному списку научных заслуг послан был в Марфино *вольным* и проработал здесь три года, пока свистящий бич Постановления об Укреплении Тыла не поразил и его. Как-то среди дня он был вызван по телефону в министерство, откуда уже не вернулся. Яконову запомнилось, как Княженецкий спускался по красно-ковровой лестнице института с трясущейся серебряной головой, ещё не ведая, зачем его вызвали на полчаса, а за спиной его, на верхней площадке той же лестницы оперуполномоченный Шикин уже подрезал перочинным ножиком фотографию профессора с институтской доски почёта.

Второй — Алтынов, не был знаменит в науке, а просто деловой человек. Он после первого срока был замкнут, подозрителен, прозорлив недоверчивостью арестантского племени. И как только Постановление об Укреплении стало совершать свои первые провороты по кольцам столицы, Алтынов словчил и лёг в сердечную клинику. И словчил так натурально, так надолго, что сейчас уже доктора не надеялись его спасти, и друзья перестали шептаться, поняв, что просто не выдержало иссилившееся сердце изворачиваться тридцать лет кряду.

Так и Яконов, уже год назад обречённый как бывший зэк, теперь повторно обрекался как вредитель.

Бездна звала своих детей назад.

...Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая — куда, не замечая подъёма. Наконец одышка остановила его. И ноги устали, вывихиваясь от неровностей.

И тогда с высокого места, куда он забрёл, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он.

За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразилась отходившая, всё холодавшая ночь. Туман весь упал и исчез. Земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом

стекле, и какой-то покосившийся тесовый сарайчик или будка по соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство — всё угадывалось белесоватым, где от нестаявшего снега, где от осевшего инея.

А в горке этой, подвергшейся странному запустению неподалеку от центра столицы, шли вверх белые ступени, числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь.

Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при виде этих белых ступеней в горе. Недоумевая, он поднялся по ним и потом по уплотнившейся шлаковой пересыпи выше их, и опять по ступеням. То здание вверху, куда вели ступени, плохо различалось в темноте, здание странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее.

Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но таких мест в Москве не оставляли. Какая же сила привела здесь всё в разрушение?

Каменная площадка отделяла одну группу ступеней от следующей. Теперь крупные обломки камней лежали на ступенях, мешая идти, сама же лестница поднималась к зданию всходами, подобными церковной паперти.

Поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежавшимся щебнем.

Да! Да! разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. Он оглянулся. Промеченная рядами фонарей, далеко внизу вилась река, странно-знакомой излучиной уходя под мост и дальше к Кремлю.

Но колокольня? Её нет. Или эти груды камня — от колокольни?

Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился.

Тихо сел на каменные обломки, завалившие паперть.

Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния.

25

Он произнёс это имя — Агния, и ветерок совсем иных ощущений обежал его тело, сытое благами.

Ему тогда было двадцать шесть лет, ей — двадцать один.

Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя она была утончена и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить. Её брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные,— она же поразительно усматривала в этих поступках

низость, неблагородство. И чем больше она находила недостатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался, так странно.

А спорить с ней нужно было осторожно. Слабенькая, она утомлялась от подъёма на гору, от беготни, даже от оживлённого разговора. Ничего не стоило обидеть её.

Однако она находила в себе силы целыми днями одиноко гулять по лесу. Но вопреки всякому представлению о городской девушке в лесу — никогда не брала туда с собой книги: книга мешала бы ей, отвлекая от леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса. Описания природы у Тургенева она пропускала, находя их поверхностными. Когда Антон ходил с ней вместе, его поражали её наблюдения: то — стволик берёзы наклонён до земли в память снегопада, то — как меняется вечером окраска лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал — лес и лес, воздух хороший, зелено.

Лесной Ручеёк — так звал её Яконов летом двадцать седьмого года, проведенным ими на соседних дачах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех понимались как жених и невеста.

Но очень далеко от этого было на самом деле.

Агния не была хороша, ни нехороша собой. Лицо её часто преображалось: то в миловидной улыбке, то в непривлекательной вытянутости. Роста она была выше среднего, но узка, хрупка, а походка — такая лёгкая, будто Агния вовсе не нуждалась наступать на землю. И хотя Антон уже был довольно искушён и ценил в женском теле плоть, но чем-то, не телом, тянула его Агния — и, привыкнув, он уверил себя, что как женщина она тоже ему нравится, что она разовьётся.

Однако, с удовольствием деля с Антоном долгие летние дни, уходя с ним за много вёрст в зелёную глубь, лёжа с ним бок о бок на лужайках,— она очень нехотя позволяла погладить себя по руке, спрашивая «зачем это?» и пыталась освободиться. И то не был стыд перед людьми: возвращаясь в дачный посёлок, она уступала его самолюбию и покорно шла под руку.

Рассудив с собой, что он любит её, Антон объяснился в любви — припал к её коленям на лесной лужайке. Но глубокое уныние овладело Агнией. «Как грустно,— говорила она.— Мне кажется, что я тебя обманываю. Мне нечего тебе ответить. Я ничего не испытываю. Мне даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий, и я бы должна только радоваться,— а мне не хочется жить...»

Она говорила так — но всё же каждое утро тревожно ожидала, нет ли изменений в его лице, в его отношении.

Она говорила так, но говорила и иначе: «В Москве много

девушек. Осенью ты познакомишься с красивой и меня разлюбишь.»

Она давала себя обнимать и даже целовать, но её губы и руки были при это безжизненны. «Как тяжело! — страдала она.— Я верила, что любовь — это сошествие огненного ангела. И вот ты любишь меня, и мне никогда не встретить лучшего, чем ты — а мне не радостно, совсем не хочется жить.»

В ней было что-то задержавшееся детское. Она боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщину в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у него: «А без этого нельзя?» — «Но это совсем, совсем не главное! — с воодушевлением отвечал ей Антон.— Это только дополнение к нашему духовному общению!» И тогда впервые её губы слабо пошевельнулись в поцелуе, и она сказала: «Спасибо тебе. А иначе зачем было бы жить? Я думаю, что я уже начинаю тебя любить. Я постараюсь обязательно полюбить.»

Той самой осенью под вечер они шли переулками у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим лесным голосом, который трудно расслышивался в городском громыхании:

— Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве?

И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной в белую и красную краску и обращённой алтарём в кривой безымянный переулок. Внутри ограды было тесно, шла только вкруг церковушки узкая дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом священник и дьякон. За обрешеченными окошками виделся из глубины мирный огонь алтарных свечей и цветных лампад. И тут же рос, в углу ограды, старый большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже жёлтые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной.

— Это церковь Никиты Мученика,— сказала Агния.

— Но не самое красивое место в Москве.

— А подожди.

Она провела его между столпами калитки. На каменных плитах двора лежали жёлтые и оранжевые листья дуба. Едва не в сени того же дуба стояла и древняя шатровая колоколенка. Она и прицерковный домик за оградой заслоняли закатное уже низкое солнце. В распахнутых двустворчатых железных дверях северного притвора согбилась нищая старушка и крестилась доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению вечерни.

— «Бе же церковь та вельми чудна красотою и светлостию...» — почти прошептала Агния, близко держась плечом к его плечу.

— Какого ж она века?

— Тебе обязательно век? А без века?

— Мила, конечно, но не...

— Так смотри! — Агния натянутой рукой быстро повлекла Антона дальше — к паперти главного входа, вышла из тени в поток заката и села на низкий каменный парапет, где обрывалась ограда и начинался просвет для ворот.

Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москва-реке. Река горела на солнце. Слева лежало Замоскворечье, ослепляя жёлтым блеском стёкол, впереди дымили по закатному небу чёрные трубы МОГЭСа, почти под ногами в Москва-реку вливалась блесчатая Яуза, справа за ней тянулся Воспитательный дом, за ним высились резные контуры Кремля, а ещё дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя.

И во всём этом золотом осиянии Агния, в наброшенной жёлтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце.

— Да! Это — Москва! — захваченно произнёс Антон.

— Как же умели древние русские люди выбирать места для церквей, для монастырей! — говорила Агния прерывающимся голосом.— Я вот ездила по Волге и по Оке, всюду так они строятся — в самых величественных местах. Архитекторы были богомольны, каменщики — праведники.

— Да-а, это — Москва...

— Но она — уходит, Антон,— пропела Агния.— Москва — уходит!..

— Куда она там уходит? Фантазия.

— Эту церковь снесут, Антон,— твердила Агния своё.

— Откуда ты знаешь? — рассердился Антон.— Это художественный памятник, его оставят.— Он смотрел на крохотную колоколенку, в прорези которой, к колоколам, заглядывали ветки дуба.

— Снесут! — уверенно пророчила Агния, сидя всё так же неподвижно, в жёлтом свете и в жёлтой шали.

Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот: мать её и бабушка в те годы, когда обязательно было ходить в церковь — не ходили, не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тётки Агнии имели устойчивое своё исповедание: всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и помогала, чем умела. Её

дочери переняли за ней и прятали подпольщиков-эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы её не секли. Но она росла — и неожиданно для старших это преломилось в ней, что она — за церковь, потому что её гонят.

Она настаивала, что *теперь*-то было бы низко избегать церкви, и, к ужасу матери и бабки, стала ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужений.

— Да в чём ты видишь, что её гонят? — удивлялся Антон.— В колокола звонить им не мешают, просфорки печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего.

— Конечно, гонят,— возражала Агния, как всегда тихо, малозвучно.— Раз на неё говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают — разве это не гонят?

— Где ты видела, что ссылают?!

— Этого на улицах не увидишь.

— И даже, если гонят! — наседал Антон.— Десять лет её гонят, а она гнала? Десять веков?

— Я тогда не жила,— поводила узкими плечиками Агния.— Я ведь живу — теперь... Я вижу, что́ при моей жизни.

— Но надо же знать историю! Неведение — не оправдание! А ты никогда не задумывалась — как могла наша церковь пережить двести пятьдесят лет татарского ига?

— Значит, глубока была вера? — догадывалась она.— Значит, православие оказалось духовно сильнее мусульманства?..— Она спрашивала, не утверждала.

Антон улыбнулся снисходительно:

— Фантазёрка ты! Разве душой своей наша страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали гонителей? и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошёл на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом! — вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужение! И, если хочешь, митрополит Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх.

Когда на Агнию наседали, она не спорила. Она расширила глаза под взлетающими бровями и с каким-то новым недоумением смотрела на жениха.

— Вот на чём построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест! — громил Антон.— Да на сожжённых раскольниках! Да на запоротых сектантах! Нашла ты, кого пожалеть — церковь гонят!..

Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета:

— И вообще, ты не справедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самое бережное отношение. Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком, а было бы царство разума. А главное, они — за равенство! Вообрази: всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий перед другим, никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества? Разве оно не стоит жертв?

(Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее *примкнуть,* пока не поздно.)

— А своим этим манерничаньем ты только сама же себе закроешь все дороги, и в институт. И много ли вообще значит твой протест? Что ты можешь сделать?

— А что может женщина вообще? — Её тонкие косички (никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли), её косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь.— Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова. Я её терпеть не могу.

— За что? — поразился Антон.

— За то, что Пьера она не пустит в декабристы! — И слабый голос её опять прервался.

Вот из таких внезапностей она была вся.

Прозрачная жёлтая шаль её за плечами повисла на освобождённых полуопущенных локтях и была как тонкие золотые крылья.

Антон двумя ладонями облёг её локоть, словно боясь сломать.

— А ты бы? Отпустила?

— Да,— сказала Агния.

Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела всё вверх и вверх.

Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, поднявшиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы. Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было молодых.

— Ты не боишься, что тебя увидят около церкви? — без насмешки спросила Агния, но получилась насмешка.

Уже действительно начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон, да, чувствовал себя здесь слишком на виду, не по себе.

— Берегись, Агния,— начиная раздражаться, внушал он ей.—

Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит — отстанет безнадёжно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить. Остерегись. Надо тебе, наконец, встряхнуться, заставить себя заинтересоваться, ну, просто процессом жизни, если хочешь.

Агния поникла. Безвольно висела её рука с золотым колечком Антона. Фигура девушки казалась костлявой и очень уж худой.

— Да, да,— упавшим голосом подтверждала она.— Я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я — лишние мы на свете...

У него оборвалось внутри. Она делала всё, чтобы не завлечь его! Мужество выполнить обещание и жениться на Агнии слабело в нём.

Она подняла на него пытливый взгляд без улыбки.

«И некрасива всё-таки она»,— подумал Антон.

— Наверно, тебя ждёт слава, удача, стойкое благополучие,— грустно сказала она.— Но будешь ли ты счастлив, Антон?.. Остерегись и ты. Заинтересовавшись *процессом* жизни, мы теряем... теряем... ну, как тебе передать...— Она кончики пальцев тёрла в щепоти, ища слово, и лицо стало болезненно-беспокойно.— Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь?..— Ещё искала.— А представь себе, что когда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня по православному обряду?..

Потом настояла, что хочет войти помолиться. Не бросать же было её одну. Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешеченными в древне-русском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела из галереи под неф среднего храмика.

Через оконки купола заходившее солнце наполняло церковь светом и расходилась золотой игрой по верху иконостаса и мозаичному образу Саваофа.

Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворённо глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту.

Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились хвалы и эпитеты Деве Марии,— и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начётчик, а неизвестный большой поэт, полонённый монастырем; и был он движим не короткой мужской яростью

к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина.

Яконов очнулся. Мажа кожаное пальто, он сидел на горке острых обломков на паперти церкви Никиты Мученика.

Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но всё так же был далёк обзор с холма, и те же были извивы реки, повторенные последними фонарями...

...Вскоре после того он поехал в заграничную командировку. А когда вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была не правда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Беспартийного, его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли вызвать подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка? Неужели Европа от неё пострадает?

Заметка была напечатана.

Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку: «Митрополиту Кириллу».

А он испытал облегчение.

Он встал и, дотянувшись до решётчатого оконца галереи, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло сырым кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри — кучи битого камня и мусора.

Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедления в бое сердца, припал к косяку у ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет.

Ледяным напугом в него опять вступила угроза Абакумова.

Яконов был на вершине видимой власти. Он был в высоких чинах могущественного министерства. Он был умён, талантлив — и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена, розово спали две прелестные девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его

превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная зарплата. Персональная «победа» дожидалась его телефонного звонка.

А он стоял, локтями припав к мёртвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадёжно было в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Не тянуло его оглянуться на красоту утра.

Светало.

Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решётки её окон, провода, спустившиеся к соседнему домику, и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего небоскрёба.

26

Светало.

Щедрый царственный иней опушил столбы зоны и предзонника, в двадцать ниток переплетенную, в тысячи звёздочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой.

Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами любовался на это чудо. Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как её уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у неё вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин прошёл чердынские леса, воркутские шахты, два следствия — полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в каптёрке в ожидании худших времён. Денег он получал в месяц тридцать рублей — на три килограмма сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определённые часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия.

Когда-то под следствием сухие верёвочки, опять набухли и наросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни.

Однако топор и пила, как оружие, страшное в руках зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек доброю волею согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооружённому восстанию, тем более, что его тюремное дело хранило следы того и другого. Было распоряжение: ставить в пяти шагах от работающего Сологдина одного надзирателя, дабы следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу надзиратели были готовы, и само такое соотношение — один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах ГУЛага. Но заупрямился (и тем только усугубил подозрения) Сологдин: он заявил несдержанно, что при *попке* работать не будет. На некоторое время колку дров вообще прервали (заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь: зэки занимались работой умственной и не по его ведомству). Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольнонаёмные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако за годы службы в надзорсоставе они как бы разучились работать — у них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдаться: разрешить Сологдину и приходившим с ним другим заключённым (чаще всего Нержину и Рубину) пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно как на ладони, да ещё дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними.

В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не

ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.

Во всякое время от подъёма до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулемётами, бесконвойно. Ещё потому начальство решалось на эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо двор был — несколько соединённых дворов, общей площадью два гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное — он здесь ел *от пуза,* хлеба чёрного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали. Спиридон здесь видимо посправнел и отмяк от СевУралЛага — от трёх зим лесоповала, да трёх вёсен лесосплава, где много тысяч брёвен он перенянчил.

— Ну! Спиридон! — с нетерпением окликнул Сологдин.

— Что такоича?

Лицо Спиридона с усами седорыжими, бровями седорыжими и кожей красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку.

— Как что? Пила не тянет!

— С чего б эт не тянула? — удивился Спиридон.— За зиму́ кой раз вы жалитесь. А ну, чиркнём разок!

И подал пилу одною ручкой.

Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулёжно, потом въелась и пошла.

— Вы в рукех-то её больно крепко дёржите,— осторожно посоветовал Спиридон.— Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, плавне́нько... во... ну-ну!.. К себе-то когда волочёте — не дёргайте...

Каждый из них ощущал своё явное превосходство над другим: Сологдин — потому, что знал теоретическую механику, сопромат и много ещё наук, и имел обширный взгляд на общественную жизнь, Спиридон — потому, что все вещи слушались его. Но Сологдин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал.

Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла позвенивая и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому.

Сологдин рассмеялся:

— Да ты чудесник, Спиридон! Ты обманул меня. Ты пилу вчера наточил и развёл!

Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле:

— Жрёт себе, жрёт, мелко жуёт, сама не глотает, другим отдаёт...

И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак.

— Ничуть я не точил,— повернул он к инженеру пилу брюхом вверх.— Сами зуб смотрите, какой вчера, такой сегодня.

Сологдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилин. Но что-то этот плут с ней сделал.

— Ну, давай, Спиридон, ещё чурбачок.

— Не-е,— взялся Спиридон за спину.— Я заморился. Что деды, что про́деды не доработали — всё на меня легло. А вот ваши дружки подойдут.

Однако дружки не шли.

Уже в полную силу рассвело. Проступило торжественное инеистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инеем, и сивые космы его украшали овершья лип на прогулочном дворике, вдали.

— Ты как на шарашку попал, а, Спиридон? — приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин.

Просто нечего было больше делать. За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития.

— Да,— чмокнул Спиридон.— Вон вас каких учёных людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано «стеклодув». Я, ить, и правда стеклодув когда-то был, халявный мастер, на нашем заводе под Брянским. Да дело давнее, уж и глаз нет, и работа та́я сюда не относится, тут им мудрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всём заводе сроду не было́. А всё ж по карточке привезли. Ну, догляделись, кто таков,— хотели назад пихать. Да спасибо коменданту, дворником взял.

Из-за угла, со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания «тюремного штаба», показался Нержин. Он шёл в незастёгнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казённым (и потому до квадратности коротким) полотенцем на шее.

— С добрым утром, друзья,— отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку.

— Глебчик, ты обезумел, где ты видишь снег? — покосился Сологдин.

— А вот,— мрачно отозвался Нержин, забираясь на крышу погреба. Там был редко-пушистый нетронутый слой не то снега, не то инея, и, собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случась поблизости, мешали этому.

— Эк тебя распарило,— покачал головой Спиридон.

— Письма-то всё нет, Спиридон Данилыч? — откликнулся Нержин.

— Вот именно есть!

— Что ж читать не приносил? Всё в порядке?

— Письмо есть, да взять нельзя. У Змея.

— У Мышина? Не даёт? — Нержин остановился в растирании.

— Он-то в списке меня повесил, да комендант наладил чердак разбирать. Пока я прохватился — а уж Змей приём кончил. Теперь в понедельник.

— Эх, гады! — вздохнул Нержин, оскаляя зубы.

— Попов судить — на то чёрт есть,— махнул Спиридон, косясь на Сологдина, которого знал мало.— Ну, я покатил.

И в своём малахае со смешно спадающими набок ушами, как у дворняжки, Спиридон пошёл в сторону вахты, куда зэков кроме него не пускали.

— А топор? Спиридон! Топор где? — опомнился вслед Сологдин.

— Дежурняк принесёт,— отозвался Спиридон и скрылся.

— Ну,— сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпицей грудь и спину,— не угодил я Антону. Отнёсся я к Семёрке, как к «трупу пьяницы под марфинским забором». И ещё вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался.

Сологдин повёл головою, усмехнулся, скорее неодобрительно. При усмешке между его светло-русыми с приседью аккуратно подстриженными усами и такой же бородкою сверкали перлы ядрёных, не затронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов:

— Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит.

Нержин не удивился: и «математик», и «поэт» были заменены по известному чудачеству Сологдина говорить на так называемом Языке Предельной Ясности, не употребляя *птичьих,* то есть иностранных слов.

Всё так же полуголый, неспеша дотираясь полотенечком, Нержин сказал невесело:

— Да, на меня это не похоже. Но вдруг так всё опротивело, что ничего не хочется. В Сибирь так в Сибирь... Я с сожалением замечаю, что Лёвка прав, скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм — это не только система взглядов, но прежде всего — характер. А мне хочется вмешиваться в события. Может быть, даже кому-нибудь... в морду дать.

Сологдин удобнее прислонился к козлам.

— Это глубоко радует меня, друг мой. Твоё усугублённое

неверие,— (то, что называлось «скептицизмом» на Языке Кажущейся Ясности),— было неизбежным на пути от... сатанинского дурмана,— (он хотел сказать «от марксизма», но не знал, чем по-русски заменить),— к свету истины. Ты уже не мальчик,— (Сологдин был на шесть лет старше),— и должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни. И должен — выбирать.

Сологдин смотрел на Нержина со значительностью, но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром и злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорился:

— А почему в таком важном заявлении ты не напоминаешь, что разум твой — слаб, и ты — «источник ошибок»? — И, как впервые, вскинулся и посмотрел на друга: — Слушай, а в тебе всё-таки... «Свет истины» — и «проституция есть нравственное благо»? И — в поединке с Пушкиным был прав Дантес?

Сологдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов:

— Но кажется, я эти положения успешно защитил?

— Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди...

— Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я — как составное деревянное яйцо. Во мне — девять сфер.

— Сфера — птичье слово!

— Виноват. Видишь, как я неизобретателен. Во мне — девять... *ошарий*. И редко кому я даю увидеть внутренние. Не забывай, что мы живём под закрытым забралом. Всю жизнь — под закрытым забралом! Нас вынудили. А люди и вообще, и без этого — сложней, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца — а в жизни мы никогда до конца не узнаём. Вот за что люблю Достоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! — что за люди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь.

— Ставрогин — это, кстати, откуда?

— Из «Бесов»! Ты не читал? — изумился Сологдин.

Мокроватое куцое вафельное полотенце Нержин повесил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронтовую офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам.

— «Бесов»?.. Да разве моё поколение?.. Что ты! Да где было их достать? Это ж — контрреволюционная литература! Да опасно просто! — Он надел и телогрейку.— Но вообще я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился с нар, прорезаешь глазами — разве тут же, в первое мгновение, ты не даёшь ему оценки в главном — враг он или друг? И всегда безошибочно, вот удивительно! А ты говоришь — так трудно понять человека? Да вот — ка́к мы с тобой встрети-

лись? Ты приехал на шарашку ещё когда умывальник стоял на парадной лестнице, помнишь?

— Ну да.

— Я утром спускаюсь и насвистываю что-то, легкомысленное. А ты вытирался, и в полутьме поднял лицо из полотенца. И я — остолбенел! Мне показалось — иконный лик! Позже-то я доглядел, что ты — нисколько не святой, не стану тебе льстить...

Сологдин рассмеялся.

— ...У тебя лицо совсем не мягкое, но оно — необыкновенное... И сразу же я почувствовал к тебе доверие и уже через пять минут рассказывал тебе...

— Я был поражён твоей опрометчивостью.

— Но человек с такими глазами — не может быть стукачом!

— Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным.

— И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик...

— ...Карамазовский.

— Да, ты помнишь! — что делать с урками? И ты сказал? — перестрелять! А?

Нержин и сейчас смотрел как бы проверяя: может, Сологдин откажется?

Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Сологдина. Картинно скрестив руки на груди — ему очень шло это положение — он произнёс приподнято:

— Друг мой! Только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его. Погоди, придёшь к Богу и ты. Твоё ни-во-что-не-верие — это не почва для мыслящего человека, это — бедность души.

Нержин вздохнул.

— Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца Мира, некий Высший Разум вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет — я был бы менее морален?

— Без-условно!!

— Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского, и триединство, и непорочное зачатие... А в чём пошатнётся моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было? Да ни в чём!

Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем:

— Нет другого пути! Если ты усумнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания,— всё разрушено!! ты — безбожник!

Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля.

— Вот так вы и отталкиваете людей! всё — или ничего! Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу? что мне выдвинуть? чем загородиться? Я и говорю: я только то и знаю, что ничего не знаю.

Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.

— Ладно, об этом — не на дровах,— согласился тот.

Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но всё же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упрёков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое даёт неподневольный и не вызванный нуждою труд.

Только перед четвёртым резом ярко разрумянившийся Сологдин буркнул:

— Сучка бы не зацепить...

И после четвёртого чурбака Нержин пробормотал:

— Да, сучковатое, па́дло.

Душистые, то белые, то жёлтые опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.

Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание: он не станет карабкаться в придурки, не станет бояться общих,— а будет медленно, со знанием жизненных глубин выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, *тянуть резину* весь двенадцатичасовой день — и так все пять лет, оставшиеся до конца срока. Пять лет — это не десять. Пять лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать: тюрьма не только проклятье, она и благословенье.

Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться.

Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казённой работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Сологдин о своём мозге, истощённом столькими годами то следствий,

то голода лагерей, столько лет лишённом фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлёт жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.

27

А между тем они пилили и пилили, тела их разгорячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были сброшены на брёвна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел,— топора же всё не было.

— А не хватит? — спросил Нержин.— Небось не переколем.

— Отдохнём,— согласился Сологдин, оставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна.

Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редеющих волос Сологдина пошёл пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра.

— Но если тебя сейчас отправят в лагерь,— спросил Сологдин,— как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило — по революции.)

— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?

— Ве-ли-ко-лепно!! — густым выдохом отдал Сологдин.— Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?

— Отчасти — да, отчасти — где ж я их возьму?

— Без «отчасти»! — предупредительно воскликнул Сологдин.— Ты пойми: мысль!! — он вскинул голову и руку.— Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть — с в о я! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно! А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами.

Сологдин испытующе посмотрел на друга:

— А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?

— Да! Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? И я найду их везде, в любой избе-читальне.

Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы.

— Ты — безумец. Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь! Мой долг — предостеречь тебя.

Нержин тоже взял шапку с отрожка козел и присел на груду чурбаков.

— Будь же достоин своей... исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?

— Уже ясно! — торопил Нержин, он не любил размазываний.— Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец нолевые. И кривая — вся в наших руках.

— Так почему ж не применить этого к... *бытийному* лицу?! — (К историческому, перевёл для себя Нержин на Язык Кажущейся Ясности.) — Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений — и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в *эти* мгновения? Тут — весь человек. А остальное тебе совершенно незачем.

— Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?

Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологдина. Он озабоченно накинул телогрейку, пересел на козлах иначе, но всё так же неудобно.

— Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживём ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть... Хоть некоторыми выводами о путях создания единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает моё косноязычие, я как-нибудь неуклюже это изложу...

Это было в манере Сологдина! Перед тем, как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался.

— Ну да, твоя слабая память,— убыстрял и помогал Нержин.— И то, что ты — «сосуд ошибок»...

— Да, да, именно.— Сологдин подтвердил минующей улыбкой.— Так вот, зная своё несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю. Эти правила — как бы *общий огляд на пути подхода* к работе.

Методика, привычно перевёл Нержин с Языка Предельной Ясности. Плечи зябли, и он тоже накинул телогрейку.

По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебно-обелённых марфинских лип мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура пятидесятилетнего художника Кондрашёва-Иванова и согнутая в плечах, но тоже очень долгая — бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого, архитектора Мержанова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться «на дрова», но надзиратель уже его не пускал: поздно.

— Смотри, вон Лёвка с растрёпанной бородой.

Засмеялись.

— Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?

— Давай. Попробуем.

— Ну, например: как относиться к трудностям?

— Не унывать?

— Этого мало.

Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, на мелкие густые заросли, опушённые инеем и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока: солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами чем-то напоминало лик Александра Невского.

— Как относиться к трудностям? — вещал он.— В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый к л а д! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета — это п р е к р а с н о!! — Словно розовая заря промелькнула по разрумяненному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей.— Самый благодарный путь исследования: наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные — тем радостней неудачи! Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада!! И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмерный встреченной трудности!

— Здóрово! Сильнó! — отозвался Нержин с чурбаков.

— Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий. Наш лом мог ударить и в камень. Убедясь в том,

или при недостаточных средствах, или при резко-враждебной среде можно отказаться даже от самой цели. Но важно строжайше обосновать отказ!

— А с этим я бы... не согласился,— протянул Нержин.— Какая среда враждебней тюрьмы? Где недостаточней наши средства? А мы же своё ведём. Отказаться сейчас — может быть и навеки отказаться.

Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками.

Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина. И опять стал как бы читать, слегка нараспев:

— Теперь послушай: *правило последних вершков!* Область последних вершков! — на Языке Предельной Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, всё как будто совершено и преодолено, но качество вещи — не совсем *то!* Нужны ещё доделки, может быть, ещё исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы! И не откладывать её, ибо строй мысли исполнителя уйдёт из области последних вершков! И не жалеть времени на неё, зная, что цель всегда — не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства!!

— Хор-рошо! — прошептал Нержин.

Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал:

— Что же вы, младший лейтенант? Я вас не узнаю́. Почему вы задержали топор? Уже нам не осталось времени и колоть.

Луноподобный младший лейтенант Наделашин ещё недавно был старшиной. После производства в офицеры зэки шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в *младшину*.

Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил:

— Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, наколите дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы!

— Че-го? — фыркнул Нержин.— *Работы?* Младший лейтенант! Да разве вы — работаете?

Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмурив лоб, сказал по памяти:

— «Работа есть преодоление сопротивления.» Я при быстрой

ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю.— И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легкоморозном воздухе.— Так наколите, я прошу вас!

И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура её начальника подполковника Климентьева.

— Глебчик,— удивился Сологдин.— Мне изменяют глаза? Климентиадис? — (То был год, когда газеты много писали о греческих заключённых, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже жёнам и даже открытки могли послать не всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие — Мышинопуло, Климентиадис, Шикиниди.) — Зачем Климентиадис в воскресенье?

— Ты разве не знаешь? Шесть человек на свидание едут.

Нержину напомнили об этом, и душу его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошёл со времени его последнего свидания, восемь месяцев — с тех пор, как он подал заявление,— а ему не отказывали и не разрешали. Тут была между другими и та причина, что, оберегая учёбу жены в университетской аспирантуре, он не давал её адреса в студенческом общежитии, а лишь «до востребования»,— до востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин благодаря сосредоточенной внутренней жизни был свободен от чувства зависти: ни зарплата, ни питание других, более достойных зэков, не мутили его спокойствия. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые два месяца, а его уязвимая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем — это сознание терзало его.

К тому же сегодня был его день рождения.

— Едут? Да-а...— с той же горечью позавидовал и Сологдин.— Стукачей возят каждый месяц. А мне мою Ниночку не увидеть теперь никогда...

(Сологдин не употреблял выражения «до конца срока», потому что дано ему было отведать, что у сроков может не быть концов.)

Он смотрел, как Климентьев, постояв с Наделашиным, вошёл в штаб.

И вдруг заговорил быстро:

— Глеб! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только три слова (он взглянул на небо): — любит! преклоняется! боготворит!

— Да отказали мне в свидании, что с тобой? — раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак.

— А посмотри!

Нержин оглянулся. Младшина шёл к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном свалив телогрейкой прислоненную пилу на землю, Глеб побежал как мальчик.

Сологдин проследил, как младшина завёл Нержина в штаб, потом поправил чурбак на попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но ещё вогнал топор в землю.

Впрочем, топор был казённый.

28

Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать часов в двое суток,— она была хлопотлива, полна беготнёй по этажам и в высокой степени ответственна.

Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в девять часов вечера, подсчитал, что все заключённые, числом двести восемьдесят одна голова, на месте, произвёл выпуск их на вечернюю работу, расставил посты (на лестничной площадке, в коридоре штаба и патруль под окнами спецтюрьмы), как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к ещё не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину.

Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков (или, как их теперь называли — тюремных работников), но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где водка почти и видом слова не отличается от воды, Наделашин и при простуде не глотал её. В стране, где каждый второй прошёл лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употребляются не только пьяными в окружении детей (а детьми — в младенческих играх), не только при посадке на загородный автобус, но и в задушевных беседах, Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как «чёрт» и «сволочь». Одной приговоркой пользовался он в сердцах — «бык тебя забодай!», и то чаще не вслух.

Так и тут, сказав про себя «бык тебя забодай!», он поспешил к майору.

Оперуполномоченный Мышин, которого Бобынин в разговоре с министром несправедливо обозвал дармоедом,— болезненно

ожиревший фиолетоволицый майор, оставшийся *работать* в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание:

— проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества;

— переписать по группам всех, встречающих Рождество;

— проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые десять минут, не пьют ли при этом вина, о чём между собой говорят и, главное, не ведут ли антисоветской агитации;

— по возможности найти отклонение от тюремного режима и прекратить этот безобразный религиозный разгул.

Не сказано было — прекратить, но — «по возможности прекратить». Мирная встреча Рождества не была прямо запретным действием, однако партийное сердце товарища Мышина не могло её вынести.

Младший лейтенант Наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни сам он, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского (они и русский-то знали плоховато).

Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года службы комиссаром роты охраны лагеря немецких военнопленных изучил только три слова: «хальт!», «цурюк!» и «вэг»! — и сократил инструкцию.

Выслушав приказ и неумело откозыряв (с ними время от времени проходили и строевую подготовку), Наделашин пошёл размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного: кого в какую комнату и на какую койку. (Мышин придавал большое значение планово-централизованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном, самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели.)

Потом Наделашин зашёл исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество — будто прикидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек.

Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внес этот факт в папку.

Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.

Дальше было время отбоя, спора с Прянчиковым относительно кипятка, обхода всех камер, гашения белого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал майор Мышин, который всё не шёл домой (дома у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер слушать её жалобы). Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования.

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в Органах. Если б он не приспособился, давно был бы он отсюда изгнан или даже осуждён. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключёнными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить — послаблял. За это заключённые его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нём в разговорах. А он был доглядчив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал всё в особую записную книжечку — и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе.

Так и теперь, он достал свою книжечку и сообщил майору, что семнадцатого декабря шли заключённые гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки — и Наделашин след в след за ними. И заключённые бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьёшься, а Рубин им сказал: «Да когда вы поймёте, ребята, что этих гадов вы не разжалобите?»

— Так и сказал: «этих гадов»? — просиял фиолетовый Мышин.

— Так и сказал,— подтвердил луновидный Наделашин с незлобивой улыбкой.

Мышин опять открыл ту папку и записал, и ещё велел оформить отдельным донесением.

Майор Мышин ненавидел Рубина и накоплял на него порочащие материалы. Поступив на работу в Марфино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на *посадку,*— Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о *совместной работе* в частности. Но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед Рубиным вопрос именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях:

— если вы советский человек — то вы нам *поможете;*

— если вы нам не поможете — то вы не советский человек;

— если же вы не советский человек, то вы — антисоветчик и достойны нового срока.

Но Рубин спросил: «А чем надо будет писать доносы — чернилами или карандашом?» — «Да лучше чернилом»,— посоветовал Мышин.— «Так вот я свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать — не нуждаюсь».

Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и своё двуличие.

И ещё раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно лживо отговорился тем, что раз мол его посадили, значит ему оказали политическое недоверие, и пока это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу.

С тех-то пор Мышин на него затаил и накоплял, что мог.

Разговор майора с младшим лейтенантом ещё не окончился, как вдруг из министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным. Используя такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дёргал Наделашина и на всякий случай спросил самого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно надел в дорогу не хорошее пальто, которое было ему тут выдано, а лагерную телогрейку).

После отъезда Бобынина тотчас вызвали Прянчикова. Тем более майор не мог идти домой! Чтобы скрасить ожидание, кого ещё вызовут и когда вернутся, майор пошёл проверять, как проводит время отдыхающая смена надзирателей (они лупились в домино), и стал экзаменовать их по истории партии (ибо нёс ответственность за их политический уровень). Надзиратели хотя и считались в это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы их были самые плачевные: эти воины не только не вспомнили по названию ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9-го января. За всё это Мышин выговаривал Наделашину, распустившему свою смену.

Потом вернулись Бобынин и Прянчиков вместе, в одной машине, и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а ещё больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком: автобусы уже не ходили.

Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед и уже было легли спать, да и Наделашин метил вздремнуть вполглаза, но не тут-то было: позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несшей службу на вышках вкруг марфинского объекта. Начальник караула возбуждённо передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки. В густившемся

тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом пытался подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе.

Хотя Наделашин был твёрдо уверен, что всё это померещилось часовому, что заключённые надёжно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями «летучая мышь» поводил их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошёл опять по всем камерам и, остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних жалоб), а при синем свете видя недостаточно,— крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их — двести восемьдесят одна.

Тогда он пошёл в канцелярию и написал почерком круглым и ясным, отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Климентьева.

И было уже утро, пора была проверять кухню, снимать пробу и делать подъём.

Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина, и он имел основание сказать Нержину, что не даром ест свой хлеб.

Лет Наделашину уже было много за тридцать, хотя выглядел он моложе благодаря свежести безусого безбородого лица.

Дед Наделашина и отец его были портные — не роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрее. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог — он его заплатил. Через два дня принесли ещё годовой — отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня принесли ещё один годовой — уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.

Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его,

иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звёздочку.

Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключённые, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И ещё, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий.

С ещё большей отчётливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из её ста десяти камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части коридора в другую (это делалось из предосторожности, чтобы они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены; впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры). И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три минуты. Наделашину, при его исключительной памяти на лица, казалось: он помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год (когда его оттуда перевели в Марфино) — и знаменитых вождей, как Бухарин, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде — только они не возвращались на улицы никогда. Лишь здесь, в Марфино, он и встретил некоторых старых своих подзамочных — разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких *боксах* площадью в квадратный метр; разрезающими ниткою четырёхсотграммовую сырую хлебную пайку; углублёнными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека; цепочкой выходящими на оправку; закладывающими руки за спину при вызове на допрос; в повеселевших разговорах последние полчаса перед отбоем; и лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами — режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать.

Наделашин больше всего любил слушать споры и разговоры этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Наделашину хотелось бы, но из-за обязанностей службы никогда не удавалось, без перерыву послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца: как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни

и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чём попало: об итальянских художниках, о нравах пчёл, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Кар-бузе — и дома-то строил он не им.

А однажды пришлось услышать Наделашину разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой Лубянки на Сухановскую *дачу* — безысходную зловещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изощрённым мучительством: арестантам не готовили, как везде, грубую тяжёлую пищу, а приносили из соседнего дома отдыха ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях: заключённому приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть котлеты, две стружки жареного картофеля. Не кормили — напоминали об утерянном. Это было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума.

Случилось, что этих двух арестантов в воронке не разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но потом с мотором сталась неполадка, шофёр ушёл куда-то, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решётку в задней двери. Они ругали правительство и царя — но не нынешнее, и не Сталина — они ругали... императора Петра Первого. Чем он им помешал? — только разделывали его на все лады. Один из них ругал его между прочим за то, что Пётр исказил и отнял русскую народную одежду, и тем обезличил свой народ перед другими. Арестант этот перечислял подробно, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что ещё и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил — они ещё могли шутить! — что для этого нужно двух человек: гениального портного, который сумел бы всё это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла.

Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина потому, что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накалённых безумием коридорах главной политической тюрьмы его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы.

Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костюмы себе. Только скрывал это.

Военнослужащему — считалось стыдно.

29

У подполковника Климентьева волосы были — то, что называется смоль: блестяще-чёрные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделяясь пробором, и будто слипались в круглых усах. Брюшка у него не было, и в сорок пять лет он держался стройным молодым военным. Ещё — он не улыбался на службе никогда, и это усиливало черноватую мрачность его лица.

Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нём — но не роняя своего чина ни во что не вмешался, а вошёл в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велев дежурному Наделашину вызвать заключённого Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались одни — пройти быстрей, другие — замедлиться, отвернуться, чтобы только не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Климентьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти — истое пренебрежение его должностью, а больше — стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключённых, вызванный в его кабинет в одиночку, держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решёткой содержались люди разные, и стоили они разно. Климентьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своём праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внёс в тюрьму не издевательскую дисциплину палачей, а разумную военную.

Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял спёртый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем неперевёрнутом листке календаря была запись:«Ёлка?»

Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли ещё только из железного шкафа с тюремными *делами,* полудюжины стульев, телефона и кнопки звонка, подполковник Климентьев без всякого видимого сцепления, тяг и шестерёнок успешно управлял внешним ходом трёх сотен арестантских жизней и службой пятидесяти надзирателей.

Несмотря на то, что он приехал в воскресенье (его он должен был отгулять в будни) и на полчаса раньше, Климентьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности.

Младший лейтенант Наделашин предстал, робея. На щеках его выступило по круглому румяному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил ему личного дела. Смешной, круглолицый,

совсем не военный, Наделашин тщетно пытался принять положение «смирно».

Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два: одно изложено в рапорте (он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спланировал под дальний стул. Наделашин кинулся за ним туда и снова принёс на стол), второе же состояло в вызове заключённых Бобынина и Прянчикова к министру Госбезопасности.

Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная и даже тревожная. Быть начальником Спецтюрьмы № 1 значило — всегда быть на вулкане и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдалённый лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и, как феодал, выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкции и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Климентьев таким и был. Он не думал, чтобы Бобынину или Прянчикову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожаловаться в его действиях. Клеветы же по долгому опыту службы он со стороны заключённых не опасался. Оклеветать могли сослуживцы.

Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что всё — чушь. За то он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков.

Но сколько же у него было недостатков! Подполковник прочёл ему выговор. Он обстоятельно напомнил, какие были упущения ещё в прошлое дежурство Наделашина: на две минуты был задержан утренний вывод заключённых на работу; многие койки в камерах были заправлены небрежно, и Наделашин не проявил твёрдости вызвать соответствующих заключённых с работы и перезаправить. Обо всём этом ему говорилось тогда же. Но Наделашину сколько ни говори — всё как об стенку горох. А сейчас на утренней прогулке? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал зону и пространство за зоной в сторону оранжерей — а ведь там местность пересечённая, идёт овражек, ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок — двадцать пять лет, за спиной у него — подделка документов и всесоюзный розыск два года! И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом — где гулял Герасимович? От всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое *дело* у Герасимовича? У Герасимовича — второй срок, у него «пятьдесят восемь один-А через девятнадцатую», то есть измена

родине через намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дождаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключённых и непосредственным наблюдением и по личным делам? Наконец, какой вид у самого Наделашина? Гимнастёрка не одёрнута (Наделашин одёрнул), звёздочка на шапке перекосилась (Наделашин поправил), приветствие отдаёт, как баба,— мудрено ли, что в дежурство Наделашина заключённые не заправляют коек? Незаправленные же койки — это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут.

Затем подполковник перешёл к приказаниям: надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в третьей комнате для инструктажа. Заключённый Нержин пусть ещё постоит в коридоре. Можно идти.

Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упрёков и указаний и зарекался их нарушать. Но служба шла, он сталкивался опять с десятками арестантских воль, все тянули в разные стороны, каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь — авось, да пройдёт незамеченным.

Климентьев взял ручку и зачеркнул запись «ёлка?» на календаре. Решение он принял вчера.

Ёлок никогда в спецтюрьмах не бывало. Но заключённые — и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить ёлку. И Климентьев стал думать — а почему бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от ёлки ничего худого не случится, и пожару не будет — по электричеству все тут профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему известно было, что предпраздничные вечера — самые тяжёлые для заключённых, кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный, бессмысленный. И он звонил вчера в Тюремное Управление, которому непосредственно подчинялся, и согласовывал ёлку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о ёлках нигде ничего не нашли, и потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Климентьева. И ещё вечером, на эскалаторе метро, по дороге домой, Климентьев решил — ладно, пусть ёлка будет!

И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь по сути он же умный деловой человек, не канцелярская пробка, и даже добрый человек, а заключённые никогда этого не

оценят и никогда не узнают, кто не хотел разрешить им ёлку, а кто разрешил.

Но самому Климентьеву почему-то хорошо стало от принятого решения. Он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами, зашёл последний перед смыком дверей и не старался захватить место, а взялся за столбик и смотрел на своё мужественное неясно-отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым проносились чернота туннеля и бесконечные трубы с кабелем. Потом он перевёл взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого: в чёрной шубе из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у неё лежал туго набитый портфель. Климентьев посмотрел на неё и подумал, что у неё приятное лицо, только утомлённое, и необычный для молодых женщин взгляд, лишённый интереса к окружающему.

Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, как будто тревожный неуверенный вопрос промелькнул в них. Климентьев, памятливый по своей профессии на лица, при этом узнал женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал, она же заметила его колебание и, видно, утвердилась в догадке.

Это была жена заключённого Нержина, Климентьев видел её на свиданиях в Таганке.

Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Климентьева. Он уже смотрел в туннель, но уголком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на неё обернуться.

Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла. Потеряла всю независимость самостоятельной молодой женщины, едущей в метро, и так это выглядело, будто она со своим тяжёлым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жён политических заключённых, то есть жён *врагов народа:* к кому б они ни обращались, куда б ни приходили, где известно было их безудачливое замужество — они как бы влачили за собой несмываемый позор мужей, в глазах всех они как бы делили тяжесть вины того чёрного злодея, кому однажды неосторожно вверили свою судьбу. И женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами *враги народа* — их обтерпевшиеся мужья, напротив, себя не чувствовали.

Приблизясь, чтобы пересилить громыхание поезда, женщина спросила:

— Товарищ подполковник! Я очень прошу вас меня простить! Ведь вы... начальник моего мужа? Я не ошибаюсь?

Перед Климентьевым за много лет его службы тюремным офицером вставало и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме,— на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично.

— Вы... зачем же встали? Сидите, сидите,— смущённо говорил он, пытаясь за рукав посадить её.

— Нет, нет, это не имеет значения! — отклоняла женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника.— Скажите, почему уже целый год нет сви... не могу его увидеть? Когда же можно будет, скажите?

Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Неделю назад из Тюремного Управления МГБ пришло между другими разрешение зэ-ка Нержину на свидание с женой в воскресенье двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу «до востребования», как просил заключённый, посылать жене извещение о свидании запрещается.

Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Климентьев, сам приученный тюремными уставами никогда не открывать заключённым правды, не предполагал искренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать, и ясно было, почему не хотел — по тому самому, почему Тюремное Управление не разрешало адресов «до востребования»: извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось: «Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме». Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ — министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтоб о жёнах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жёны были выявлены, изолированы и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жёны именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И Климентьев сказал тогда Нержину, что, значит, свидания не будет. И не послал извещения.

А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унизительно встала и стояла перед ним.

— Нельзя писать до востребования,— сказал он с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна.— Надо дать адрес.

— Но я уезжаю! — живо изменилось лицо женщины.— Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса,— очевидно лгала она.

Мысль Климентьева была — выйти на первой же остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве.

Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине! Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом. Климентьев поразился этому взгляду — какая сила приковала её с таким упорством и с такой безнадёжностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю её жизнь?

— Мне это очень, очень нужно! — уверяла она с расширенными глазами, ловя колебания в лице Климентьева.

Климентьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге, в развитие «Постановления об укреплении тыла», наносился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предполагал объявить заключённым в понедельник. Эта женщина, если не завтра и если не даст адреса, не увидит своего мужа впредь и может быть никогда. Если же сейчас сказать ей, то формально извещения не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад.

Поезд сбавлял ход.

Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Климентьева. Он знал главного врага заключённых — это были сами заключённые. И знал главного врага всякой женщины — это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное, и никто бы никогда не узнал,— но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней.

Нельзя было проявлять уступчивость и теперь!

Однако, при смягчённом грохоте поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станций, Климентьев сказал женщине:

— Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра приезжайте...— он не сказал «в Лефортовскую тюрьму», ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом,— Лефортовский вал — знаете?

— Знаю, знаю,— радостно закивала женщина.

И откуда-то в её глазах, только что сухих, уже было полно слёз.

Оберегаясь этих слёз, благодарностей и иной всякой болтовни, Климентьев вышел на перрон, чтобы пересесть в следующий поезд.

Он сам удивлялся и досадовал, что так сказал.

Подполковник оставил Нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был арестант дерзкий и всегда доискивался законов.

Расчёт подполковника был верен: долго простояв в коридоре, Нержин не только обезнадёжился получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового плохого.

Тем более он был поражён, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказать радости, ни даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым — и уйти. Такое поведение он считал необходимым, чтобы начальство меньше понимало душу арестанта и не знало бы меры своего воздействия. Но переход был столь резок, радость — так велика, что Нержин не удержался, осветился и от сердца поблагодарил подполковника.

Напротив, подполковник не дрогнул в лице.

И тут же пошёл инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание.

В инструктаж входили: напоминание о важности и сугубой секретности их объекта; разъяснение о закоренелости государственных преступников, едущих сегодня на свидание; об их единственном упрямом замысле использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жён — непосредственно в Соединённые Штаты Америки. (Сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что́ разрабатывается в стенах лабораторий, и в них легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну.) Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде, в обуви и приёмов их обнаружения (одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания — особая, показная). Путём собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске; наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидающихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме лично-семейных.

Подполковник Климентьев знал устав и любил порядок.

30

Нержин, едва не сбив с ног в полутёмном коридоре штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие тюрьмы. Всё так же болталось на его шее из-под телогрейки короткое вафельное полотенце.

По удивительному свойству человека всё мгновенно преобразилось в Нержине. Ещё пять минут назад, когда он стоял

в коридоре и ожидал вызова, вся его тридцатилетняя жизнь представлялась ему бессмысленной удручающей цепью неудач, из которых он не имел сил выбарахтаться. И главные из этих неудач были — вскоре после женитьбы уход на войну, и потом арест, и многолетняя разлука с женой. Их любовь ясно виделась ему роковой, обречённой на растоптание.

Но вот ему было объявлено свидание сегодня к полудню — и в новом солнце предстала ему тридцатилетняя жизнь: жизнь, натянутая тетивой; жизнь, осмысленная в мелком и в крупном; жизнь от одной дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными ступеньками к цели были уход на войну, и арест, и многолетняя разлука с женой. Со стороны по видимости несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастьи. Он испивал его, как родник, он вызнавал тут тех людей и те события, о которых на Земле больше нигде нельзя было узнать, и уж конечно не в покойной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица: не море топит, а лужа.

А к жене он вернётся! Ведь связь их душ непрерывна! Свидание! Именно в день рождения! Именно после вчерашнего разговора с Антоном! Больше ему никогда здесь не дадут свидания, но сегодня оно важнее всего! Мысли вспыхивали и проносились огненными стрелами: об э́том не забыть! об э́том сказать! об э́том! ещё об э́том!

Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты сновали, шумели, кто возвращался с завтрака, кто только шёл умываться, а Валентуля сидел в одном белье, сбросив одеяло, и рассказывал, размахивая руками и хохоча, о своём разговоре с ночным начальником, оказавшимся, как потом выяснилось, министром! Надо и Валентулю послушать! — была та изумительная минута жизни, когда изнутри разрывает поющую клетку рёбер, когда, кажется, ста лет мало, чтобы всё переделать. Но нельзя было пропустить и завтрака: арестантская судьба далеко не всегда дарит такое событие как завтрак. К тому же рассказ Валентули подходил к бесславному концу: комната произнесла ему приговор, что он — дешёвка и мелкота, раз не высказал Абакумову насущных арестантских нужд. Теперь он вырывался и визжал, но человек пять палачей-добровольцев стащили с него кальсоны и под общее улюлюканье, вой и хохот прогнали по комнате, нажаривая ремнями и поливая горячим чаем из ложек.

На нижней койке лучевого прохода к центральному окну, под койкой Нержина и против опустевшей койки Валентули, пил свой утренний чай Андрей Андреевич Потапов. Наблюдая за общей забавой, он смеялся до слёз и вытирал их под очками. Кровать Потапова была ещё при подъёме застелена в форме жёсткого

прямоугольного параллелепипеда. Хлеб к чаю он маслил очень тонким слоем: он не прикупал ничего в тюремном ларьке, отсылая все зарабатываемые деньги своей «старухе». (Платили же ему по масштабам шарашки много — сто пятьдесят рублей в месяц, в три раза меньше вольной уборщицы, так как был он незаменимым специалистом и на хорошем счету у начальства.)

Нержин на ходу снял телогрейку, зашвырнул её к себе наверх, на ещё не стеленную постель, и, приветствуя Потапова, но недослышивая его ответа, убежал завтракать.

Потапов был тот самый инженер, который признал на следствии, подписал в протоколе, подтвердил на суде, что он лично продал немцам и притом задешево первенец сталинских пятилеток ДнепроГЭС, правда — уже во взорванном состоянии. И за это невообразимое, не имеющее себе равных злодейство, только по милости гуманного трибунала, Потапов был наказан всего лишь десятью годами заключения и пятью годами последующего лишения прав, что на арестантском языке называлось «десять и пять *по рогам»*.

Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более ему самому, не могло бы пригрезиться, что, когда ему стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму за политику. Друзья Потапова справедливо называли его роботом. Жизнь Потапова была — только работа; даже трёхдневные праздники томили его, а отпуск он взял за всю жизнь один раз — когда женился. В остальные годы не находилось, кем его заменить, и он охотно от отпуска отказывался. Становилось ли худо с хлебом, с овощами или с сахаром — он мало замечал эти внешние события: он сверлил в поясе ещё одну дырочку, затягивался потуже и продолжал бодро заниматься единственным, что было интересного в мире — высоковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень смутно представлял себе других, остальных людей, которые занимались не высоковольтными передачами. Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а только кричал на собраниях или писал в газетах, Потапов и за людей не считал. Он заведовал всеми электроизмерительными работами на Днепрострое, и на Днепрострое женился, и жизнь жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костёр пятилеток.

В сорок первом году они уже строили другую станцию. У Потапова была броня от армии. Но узнав, что ДнепроГЭС, творение их молодости, взорван, он сказал жене:

— Катя! А ведь надо идти.

И она ответила:

— Да, Андрюша, иди!

И Потапов пошёл — в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гимнастёрке

и с кобурой пустой, хотя носил один кубик в петлице — на втором году хорошо подготовленной войны ещё не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до своих, второй раз попал. И убежал во второй раз, но в чистом поле на него опустился парашютный десант — и так попал он в третий раз.

Он прошёл каннибальские лагеря Новоград-Волынска и Ченстохова, где ели кору с деревьев, траву и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин, и там человек («вежливый, но сволочь»), прекрасно говоривший по-русски, спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов. Может ли он в доказательство начертить, ну скажем, схему включения тамошнего генератора?

Схема эта когда-то была распубликована, и Потапов, не колеблясь, начертил её. Об этом он сам же потом и рассказал, мог и не рассказывать, на следствии.

Это и называлось в его деле — выдачей тайны ДнепроГЭСа.

Однако в дело не было включено дальнейшее: неизвестный русский, удостоверив таким образом личность Потапова, предложил ему подписать добровольное изъявление готовности восстанавливать ДнепроГЭС — и тотчас получить освобождение из лагеря, продуктовые карточки, деньги и любимую работу.

Над этим заманчивым подложенным ему листом тяжёлая дума прошла по многоморщинному лицу робота. И не бия себя в грудь, и не выкрикивая гордых слов, никак не претендуя стать посмертно героем Советского Союза,— Потапов своим южным говорком скромно ответил:

— Вы ж понимаете, я ведь присягу подписывал. А если это подпишу — вроде противоречие, а?

Так мягко, не театрально, Потапов предпочёл смерть благополучию.

— Что ж, я уважаю ваши убеждения,— ответил неизвестный русский и вернул Потапова в каннибальский лагерь.

Вот за это самое советский трибунал Потапова уже не судил и дал только десять лет.

Инженер Маркушев, наоборот, такое изъявление подписал и пошёл работать к немцам — и ему тоже трибунал дал десять лет.

Это был почерк Сталина! — то слепородное уравнивание друзей и врагов, которое выделяло его изо всей человеческой истории!

И ещё за то не судил трибунал Потапова, что в сорок пятом году, посаженный на советский танк десантником, он в тех же своих надколотых и подвязанных очёчках с автоматом ворвался в Берлин.

Так Потапов легко отделался, получив только *десять и пять по рогам.*

Нержин вернулся с завтрака, сбросил ботинки и взлез наверх, раскачивая себя и Потапова. Ему предстояло выполнить ежедневное акробатическое упражнение: застелить постель без помятостей, стоя на ней ногами. Но едва он откинул подушку, как обнаружил портсигар из тёмно-красной прозрачной пластмассы, наполненный впритирочку в один слой двенадцатью папиросами «Беломорканал» и перевитый полоской простой бумаги, на которой чертёжным шрифтом было выведено:

Вот как убил он десять лет,
Утратя жизни лучший цвет.

Ошибиться было нельзя. Один Потапов на всей шарашке совмещал в себе способности к мастерским изделиям и к цитатам из «Евгения Онегина», вынесенным ещё из гимназии.

— Андреич! — свесился Глеб головой вниз.

Потапов уже кончил пить чай, развернул газету и читал её, не ложась, чтоб не мять койку.

— Ну, что вам? — буркнул он.

— Ведь это ваша работа?

— Не знаю. А вы нашли? — он старался не улыбаться.

— Андре-еич! — тянул Нержин.

Лукаво-добрая морщинистость углубилась, умножилась на лице Потапова. Поправив очки, он отозвался:

— Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази вдвоём в камере, вынося, вы же понимаете, парашу по чётным числам, а он по нечётным, и обучал его русскому языку по «Тюремным правилам» на стене,— я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба — у него было всё начисто обрезано,— и он клялся, что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка более своевременного.

Голос Потапова по «Классификации голосов» был определён как «глухой с потрескиванием».

Всё так же свесясь вниз головой, Нержин приязненно смотрел на грубовато высеченное лицо Потапова. В очках он казался не старше своих сорока пяти лет и имел ещё вид даже напористый. Но когда он очки снимал — обнажались глубокие тёмные глазные впадины, чуть ли не как у мертвеца.

— Но мне неловко, Андреич. Ведь я вам ничего подобного подарить не смогу, у меня рук таких нет... Как вы могли запомнить мой день рождения?

— Ку-ку,— ответил Потапов.— А какие ж ещё знаменательные даты остались в нашей жизни?

Они вздохнули.

— Чаю хотите? — предложил Потапов.— У меня особая заварка.

— Нет, Андреич, не до чаю, еду на свидание.

— Здо́рово! — обрадовался Потапов.— Со старушкой?

— Ага.

— Да не генерируйте вы, Валентуля, над самым ухом!

— А какое право имеет один человек издеваться над другим?..

— Что в газете, Андреич? — спросил Нержин.

Потапов, щурясь с хохлацкой хитрецой, посмотрел вверх на свесившегося Нержина:

Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы.

Эти наг-ле-цы утверждают, что...

Тому уже шёл четвёртый год, как Нержин и Потапов встретились в гудящей, тревожной, избыточно переполненной, даже в июльские дни полутёмной бутырской камере второго послевоенного лета. Там скрещались тогда пёстрые жизни и непохожие пути. Очередной тогдашний поток был — из Европы. Проходили камеру новички, ещё уберегшие крошки европейской свободы. Проходили камеру ядрёные русские *пленники*, едва успевшие сменить германский плен на отечественную тюрьму. Проходили камеру битые калёные лагерники, пересылаемые из пещер ГУЛага на оазисы шарашек. Войдя в камеру, Нержин вполз чёрным лазом под нары по-пластунски (так они были низки), и там, на грязном асфальтовом полу, ещё не разглядясь в темноте, весело спросил:

— Кто последний, друзья?

И глухой надтреснутый голос ответил ему:

— Ку-ку! За мной будете.

Потом день ото дня, по мере того, как из камеры выхватывали на этап, они передвигались под нарами «от параши к окну», и на третьей неделе перешли назад «от окна к параше», но уже на нары. И позже по деревянным нарам двигались снова к окну. Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, биографий и вкусов.

Там-то, в затянувшееся многомесячное размышление после суда, Потапов признался Нержину, что отроду бы он не заинтересовался политикой, если б сама политика не стала драть и ломать ему бока.

Там, под нарами Бутырской тюрьмы, робот впервые стал недоуменным, что, как известно, противопоказано роботам. Нет,

он по-прежнему не раскаивался, что отказался от немецких хлебов, он не жалел трёх лет своих, погибших в голодном смертном плену. И по-прежнему он считал исключённым представлять наши внутренние неурядицы на суд иностранцев.

Но искра сомнения была заронена в него и затлелась.

Недоуменный робот впервые спросил: а на чёрта, собственно, строился ДнепроГЭС?..

31

Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые часы, со стоянием зэков на морозе, перегоном их с места на место и пересчётом то по одному, то по пяти, то по сотням, то по бригадам,— здесь, на шарашке, проходила быстро и безболезненно: зэки пили чай у своих тумбочек, двое дежурных офицеров — сменный и заступающий, входили в комнату, зэки вставали (а иные и не вставали), новый дежурный сосредоточенно пересчитывал головы, потом делались объявления и неохотно выслушивались жалобы.

Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателям лубянской выучки. Вместе с Наделашиным он тоже был прислан в Марфино с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков шарашки помнили их обоих по Лубянке: в звании старшин они оба служили одно время выводными, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым *стёртым ступенькам* в междуэтажье четвёртого и пятого этажей (там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили всех заключённых центральной тюрьмы: монархистов, анархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, Савинкова, Кутепова, Местоблюстителя Петра, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнёва, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно-известных учёных и едва вылезающих из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жён, потом их дочерей); подводили к женщине в мундире с Красной Звездой на груди, и у неё в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки как при воздушном полёте в цирке; вели долгими-

долгими коридорами лубянского министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погонов.

Но как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не знали) угрюмой молнией взглядывал из-под срослых густых бровей, он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влёк его, в задышке, вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного похожий на скопца, шёл всегда поодаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать.

Зато теперь Шустерман, хотя моложе, носил уже три звёздочки на погонах.

Наделашин объявил: едущим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. Раздался лёгкий гул недовольства, но отозвался из угла Хоробров:

— И совсем не возите, чем такое говно, как «Кубанские казаки».

Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова.

В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:

— Всё, в личное дело записано.

Хоробров с подёргиванием верхней губы ответил:

— Да драть их вперегрёб, пусть пишут. На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.

С верхней койки свесив ещё голые волосатые длинные ноги, непричёсанный и в белье, крикнул Двоетёсов с хулиганским хрипом:

— Младший лейтенант! А что с ёлкой? Будет ёлка или нет?

— Будет ёлка! — ответил младшина, и видно было, что ему самому приятно объявить приятную новость.— Вот здесь, в полукруглой, поставим.

— Так можно игрушки делать? — закричал с другой верхней койки весёлый Руська. Он сидел там, наверху, по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал галстук. Через пять минут он должен был встретиться с Кларой, она уже прошла от вахты по двору, он видел в окно.

— Об этом спросим, указаний нет.

— Какие ж вам указания?

— Какая ж ёлка без игрушек?.. Ха-ха-ха!

— Друзья! Делаем игрушки!

— Спокойно, парниша! А как *насчёт кипятка?*

— Министр обеспечит?

Комната весело гудела, обсуждая ёлку. Дежурные офицеры

уже повернулись уходить, но вслед им Хоробров перекрыл гуденье резким вятским говором:

— Причём доложите там, чтоб ёлку нам оставили до православного Рождества! Ёлка — это Рождество, а не новый год!

Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли.

Говорили почти все сразу. Хоробров ещё не досказал дежурным и теперь молча, энергично, высказывал кому-то невидимому, двигая кожей лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пасхи, но в тюрьме из духа противоречия стал их праздновать. По крайней мере эти дни не знаменовались ни усиленным обыском, ни усиленным режимом. А на октябрьскую и на первое мая он придумывал себе стирку или шитьё.

Сосед Абрамсон допил чай, утёрся, протёр вспотевшие очки в квадратной пластмассовой оправе и сказал Хороброву:

— Илья Терентьич! Забываешь вторую арестантскую заповедь: не залупайся.

Хоробров очнулся от невидимого спора, резко оглянулся на Абрамсона, будто укушенный:

— Это — старая заповедь гиблого вашего поколения. Были вы смирны, всех вас и переморили.

Упрёк был как раз несправедлив. Именно те, кто садились с Абрамсоном, устраивали на Воркуте забастовку и голодовку. Но конец был и у них тот же, всё равно. А заповедь — сама распространилась. Реальное положение вещей.

— Будешь скандалить — ушлют,— только пожал плечами Абрамсон.— В каторжный лагерь какой-нибудь.

— А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В каторжный так в каторжный, драть его вперегрёб, по крайней мере в весёлую компанию попаду. Может, хоть там свобода слова, стукачей нет.

Рубин, у которого чай ещё был не допит, стоял со взъерошенной бородой около койки Потапова — Нержина и дружелюбиво произносил на её второй этаж:

— Поздравляю тебя, мой юный Монтень, мой несмышлёныш пирронид...

— Я очень тронут, Лёвчик, но зачем...

Нержин стоял на коленях у себя наверху и держал в руках бювар. Бювар был арестантской частной работы, то есть самой старательной работы в мире — ведь арестанты никуда не спешат. В бордовом коленкоре изящно были размещены кармашки, застёжки, кнопочки и пачки отличной трофейной немецкой бумаги. Всё это было сделано, конечно, в казённое время и из казённого материала.

—...К тому же на шарашке практически ничего не дают писать, кроме доносов...

— И желаю тебе...— большие толстые губы Рубина вытянулись смешной трубочкой,— чтобы скептико-эклектические мозги твои осиял свет истины.

— Ах, какой ещё истины, старик! Разве кто-нибудь знает, что́ есть истина?..— Глеб вздохнул. Лицо его, помолодевшее в предсвиданных хлопотах, опять осунулось в пепельные морщины. И волосы разваливались на две стороны.

На соседней верхней койке, над Прянчиковым, плешивый полный инженер степенных лет использовал последние секунды свободного времени для чтения газеты, взятой у Потапова. Широко развернув её и читая немного издали, он то хмурился, то чуть шевелил губами. Когда же в коридоре раскатисто зазвенел электрический звонок, он с досадой сложил газету как попало, заломавши углы:

— Да что это всё, лети его мать, заладили про мировое господство да про мировое господство?..

И оглянулся, куда бы поприличнее зашвырнуть газету.

Громадный Двоетёсов, на другой стороне комнаты, уже натянув свой неряшливый комбинезон и выставив громадную же задницу, пока топтал и стелил под собою верхнюю постель, откликнулся басом:

— Кто заладил, Земеля?

— Да все они там.

— А ты к мировому господству не стремишься?

— Я-то? — удивился Земеля, как бы принимая вопрос всерьёз.— Не-е-ет,— широко улыбнулся он.— На хрена мне оно? Не стремлюсь.— И кряхтя стал слезать.

— Ну, тогда пойдём вкалывать! — решил Двоетёсов и всею тушею своей гулко спрыгнул на пол. Он шёл на воскресную работу непричёсанный, неумытый и недостёгнутый.

Звонок звенел продолжительно. Звенел, что поверка окончена и раскрыты «царские врата» на лестницу института, через которые зэки густой толпой успевали быстро выйти.

Большинство зэков уже выходило. Доронин выбежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, заклинил томом Эренбурга и поспешил в коридор залучить профессора Челнова, когда тот будет выходить из «профессорской» камеры. Рубин, как всегда, не успевший утром ничего сделать, поспешно составил всё недоеденное и недопитое в тумбочку (что-то там перевернулось) и хлопотал около своей горбатой, растерзанной, невозможной постели, тщетно пытаясь заправить её так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять.

А Нержин прилаживал *маскарадный* костюм. Когда-то, в давние времена, шарашечные зэки ходили повседневно в хороших

костюмах и пальто, ездили в них же и на свидания. Теперь для удобства охраны их переодели в синие комбинезоны (чтобы часовые на вышках ясно отличали зэков от вольных). На свидания же тюремное начальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не новые костюмы и рубашки, могло статься, что и — конфискованные из частных гардеробов по описи имущества. Одним арестантам нравилось видеть себя хорошо одетыми хотя бы короткие часы, другие охотно бы избегли этого гнусного переодевания в платья мертвецов, но в комбинезонах на свидания наотрез не брали: родственники не должны были подумать ничего плохого о тюрьме. Отказаться же увидеть родственников — такого непреклонного сердца не было ни у кого. И поэтому — переодевались.

Полукруглая комната опустела. Остались двенадцать пар коек, наваренных двумя этажами и застланных больничным способом: с выворачиванием наружу пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и скорее пачкался. Этот способ мог быть придуман только в казённой и обязательно мужской голове, его не применила бы дома даже жена изобретателя. Однако так требовала инструкция тюремного санитарного надзора.

В комнате наступила хорошая, редкая здесь, тишина, которую не хотелось нарушать.

Остались в комнате четверо: обряжавшийся Нержин, Хоробров, Абрамсон и лысенький конструктор.

Конструктор был их тех робких зэков, которые и годами сидя в тюрьме, никак не могут набраться арестантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня прибаливал, специально запасся от тюремного врача освобождением на выходной день,— и теперь на своей койке разложил множество разных носков, нитки, самодельный картонный гриб, и, напрягши чело, соображал, с чего начинать.

Григорий Борисович Абрамсон, *законно оттянувший* уже одну десятку (не считая шести лет ссылки перед тем) и посаженный на вторую десятку,— не то чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить. Когда-то, в комсомольское время, его за уши было не оторвать от воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство: год-два, и всё пойдёт великолепно, и начнётся всеобщее цветение садов. Однако шли десятилетия, пылкие воскресники стали нудьгой и барщиной, а посаженные деревья всё не зацветали и даже большей частью были переломаны гусеницами тракторов. В долголетних тюрьмах, наблюдением и размышлением, Абрамсон пришёл к обратному выводу: что человек по природе враждебен труду и ни за что бы не работал, если б не заставляла его палка или нужда. И хотя из соображений общих, соотнося

с неутерянной и единственно-возможной коммунистической целью человечества, все эти усилия и даже воскресники были несомненно нужны,— сам Абрамсон потерял силы участвовать в них. Теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички,— а это полные десять, и двенадцать, и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя. И он знал, что самое лучшее, как надо проводить воскресенье — это неподвижно лежать в постели раздетому до белья.

Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял комбинезон, лёг под одеяло, обернулся конвертиком, протёр очки специальным лоскутком замши, положил в рот леденец, подправил подушку и достал из-под матраса какую-то толстенькую книжицу, из предосторожности обёрнутую. Только смотреть на него со стороны — и то было уютно.

Хоробров, напротив, томился. В невесёлом бездействии лежал он одетый поверх застеленного одеяла, уставив ноги в ботинках на перильца кровати. По характеру он переживал болезненно и долго то, что легко сходило с других. Каждую субботу, по известному принципу полной добровольности, всех заключённых, даже не спросив их об этом, записывали как добровольно желающих работать в воскресенье — и подавали заявку в тюрьму. Если бы запись была действительно добровольная, Хоробров всегда бы записывался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим столом. Но именно потому, что запись была открыто издевательская, Хоробров должен был лежать и дуреть в запертой тюрьме.

Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы пролежать воскресенье в закрытом тёплом помещении, но у шарашечного зэка поясница ведь не болит.

Решительно нечем было заняться! Все газеты, какие были, он прочёл ещё вчера. На табуретке около его кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публицистическая — сборник статей маститых писателей. Хоробров поколебался, но всё-таки открыл статью того Толстого, который, будь посовестливей, не посмел бы этой фамилией и подписываться. Статья была от июня сорок первого года, а в ней: «немецкие солдаты, гонимые террором и безумием, напоролись на границе на стену железа и огня». Хоробров шёпотом выматерился, захлопнул и отложил. В какую б книгу он ни заглядывал, всегда ему попадало по больному

месту, потому что всё вокруг было больное место. На хорошо оборудованных подмосковных дачах эти властители умов слушали только радио и видели только свои цветники. Полуграмотный колхозник знал о жизни больше них.

Остальные книги в кучке были *художественные*, но читать их было Хороброву так же мерзко. Одна — боевик «Далеко от Москвы», которой зачитывались теперь на воле. Но сколько-то прочтя вчера и сейчас попытавшись, Хоробров почувствовал, что его мутит. Эта книга была — пирог без начинки, вытекшее яйцо, чучело убитой птицы: в ней говорилось о строительстве руками зэков, о лагерях — но нигде не названы были лагеря, и не сказано, что это — зэки, что им дают пайку и сажают в карцер, а подменили их комсомольцами, хорошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевлёнными. И тут же чувствовалось опытному читателю, что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть даже — был в лагере оперуполномоченным, но со стеклянными глазами брешет.

Те же три слова того же ругательства, хотя в другом порядке, легли привычно, и Хоробров откинул боевик.

Ещё книга была — «Избранное» известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то всё-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Всё, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война — писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам. Но и тут выдували они какие-то небылые конфликты — вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учёте ни в какой первичной организации и день и ночь терзается, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.

Ещё раз переставил Хоробров то же ругательство — и опять легло.

И ещё была книга на табуретке — «Американские рассказы», прогрессивных писателей. Этих рассказов Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но удивителен был их подбор: в каждом рассказе обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Ядоносно собранные вместе, они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы ещё не разбежались или не перевешались.

Нечего было читать!

Хоробров придумал покурить. Он вынул папиросу и стал её разминать. В совершенной тишине комнаты слышно было, как шелестела под его пальцами туго набитая гильза. Покурить ему хотелось тут же, не выходя, не снимая ног с перилец кровати. Курильщики-арестанты знают, что истинное удовольствие доставляет лишь папироса, выкуренная лёжа — на своей полоске нар, на своей вагонке,— неторопливая папироса со взором, уставленным в потолок, где проплывают картины невозвратного прошлого и недостижимого будущего.

Но лысый конструктор не курил и не любил дыму, а Абрамсон, хоть и сам курильщик, придерживался ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый воздух. В тюрьме усвоив прочно, что свобода начинается с уважения прав других, Хоробров со вздохом спустил ноги на пол и направился к выходу. При этом он увидел толстенькую книгу в руках Абрамсона и сразу же определил, что такой книги в тюремной библиотеке нет, значит, она с воли, а оттуда плохую не попросят.

Но Хоробров не спросил вслух, как фраер: «Что читаешь?» или «Откуда взял?» (ответ Абрамсона мог услышать конструктор или Нержин). Он подошёл к Абрамсону вплотную и сказал тихо:

— Григорий Борисыч. Дай на оголовочек зирнуть.

— Ну, зирни,— нехотя позволил Абрамсон.

Хоробров раскрыл титульный лист и прочёл, потрясённый: «Граф Монте-Кристо».

Он только свистнул.

— Борисыч,— ласково спросил он.— За тобой никого? Я — не успею?

Абрамсон снял очки и подумал.

— Подывымось. А ты меня сегодня подстрижёшь?

Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои добровзванные мастера стригли ножницами под все капризы и медленно, потому что срок впереди у них был большой.

— А у кого ножницы возьмём?

— У Зяблика достану.

— Ну, так подстригу.

— Добрэ. Тут кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам.

Заметив, что Абрамсон читал на сто десятой, Хоробров уже совсем в другом, весёлом настроении вышел курить в коридор.

А Глеб всё больше наполнялся праздничным чувством. Где-то — наверно, в студенческом городке на Стромынке, этот последний час перед свиданием волнуется и Надя. На свидании разбегаются мысли, теряешь, что хотел сказать, надо сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить (бумажку с собой

взять нельзя), и только помнить: восемь пунктов, восемь — о том, что возможен отъезд; о том, что срок не кончится на сроке — ещё будет ссылка; о том, что...

Он сбегал в каптёрку, разгладил манишку. Манишка была изобретение Руськи Доронина и принята многими. Это был белый лоскуток (от простыни, разодранной на шестнадцать частей, но каптёр этого не знал) с пришитым к нему белым воротничком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распахе комбинезона покрыть нижнюю сорочку с чёрным штампом «МГБ-Спецтюрьма № 1». И ещё были две тесёмки, которые перебрасывались на спину и там завязывались. Манишка помогала создать видимость всеми желаемого благополучия. Незатейливая в стирке, она верно служила и в будни, и в праздники, не стыдно было перед вольными сотрудницами института.

Потом на лестнице чьим-то высохшим раскрошившимся гуталином Нержин тщетно пытался придать блеск своим потёртым ботинкам (ботинок тюрьма к свиданию не меняла, так как они не были видны под столом).

Когда он вернулся в комнату, чтобы бриться (бритвы тут разрешались, даже опасные, такова была игра инструкций), Хоробров уже запоем читал. Конструктор своей обильной штопкой захватил кроме кровати и часть пола, кроил там и перекладывал, отмечая карандашом, Абрамсон же, чуть отвалив голову на бок от книги, щурился с подушки и поучал его так:

— Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже вас упаси от формального отношения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок и каждое место проходите крест накрест дважды. Потом распространённой ошибкой является использование гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру вокруг. Вы фамилию такую — Беркалов, слышали?

— Что? Беркалов? Нет.

— Ну, ка-ак же! Беркалов — старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3, замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот Беркалов так же в воскресенье, так же на шаращке сидел и штопал носки. А включено радио. «Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени.» А он до ареста всего генерал-майор был. Да. Ну, что ж, носки заштопал, стал на электроплитке оладьи жарить. Вошёл надзиратель, накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток карцера составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит как мальчик: «Беркалов! *С вещами!* В Кремль! Калинин вызывает!»... Такие вот русские судьбы...

32

Известный на многих шарашках старик профессор математики Челнов, писавший в графе «национальность» не «русский», а «зэк», и кончавший к 1950 году восемнадцатый год заключения, приложил остриё своего карандаша ко многим техническим изобретениям от прямоточного котла до реактивного двигателя, а в некоторые из них вложил и душу.

Впрочем, профессор Челнов утверждал, что выражение это — «вложить душу», должно употребляться с осторожностью, что только зэк наверняка имеет бессмертную душу, а *вольняшке* бывает за суетою отказано в ней. В дружеской зэчьей беседе над миской остывшей баланды или над стаканом дымящегося какао Челнов не скрывал, что это рассуждение он заимствовал у Пьера Безухова. Когда французский солдат не пустил Пьера через дорогу, известно, что Пьер расхохотался: — «Ха-ха! Не пустил меня солдат. Кого — меня? Мою бессмертную душу не пустил!»

На шарашке Марфино профессор Челнов был единственный зэк, которому разрешалось не надевать комбинезона (по этому вопросу обращались лично к Абакумову). Главное основание такой льготы лежало в том, что Челнов не был постоянный зэк шарашки Марфино, а зэк переезжий: в прошлом член-корреспондент Академии Наук и директор математического института, он состоял в особом распоряжении Берии и перебрасывался всякий раз на ту шарашку, где вставала самая неотложная математическая проблема. Решив её в главных чертах и указав методику расчётов, он был перебрасываем дальше.

Но своей свободой выбирать одежду профессор Челнов не воспользовался как обычные тщеславные люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в валенках; на голову, где сохранились седые очень редкие волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную шапочку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно же отличал его дважды захлёстнутый вкруг плеч и спины чудаковатый шерстяной плед, тоже отчасти похожий на тёплый женский платок.

Однако этот плед и эту шапочку Челнов умел носить так, что они делали его фигуру не смешной, а величественной. Долгий овал его лица, острый профиль, властная манера разговаривать с тюремной администрацией и ещё тот едва голубоватый свет выцветших глаз, который даётся только абстрактным умам,— всё это странно делало Челнова похожим не то на Декарта, не то на Архимеда.

В Марфино Челнов был прислан для разработки математических оснований абсолютного шифратора, то есть, прибора, который своим механическим вращением мог бы обеспечить

включение и переключение множества реле, так запутывающих порядок посылки прямоугольных импульсов изуродованной речи, чтобы даже сотни людей, поставив аналогичные приборы, не могли бы расшифровать разговора, идущего по проводам.

В конструкторском бюро своим чередом шли поиски конструктивного решения подобного шифратора. Этим занимались все конструкторы, кроме Сологдина.

Едва приехав с Инты на шарашку и оглядясь тут, Сологдин сразу же заявил всем, что память его ослаблена длительным голоданием, способности притуплены, да и от рождения ограничены, и что выполнять он в состоянии только подсобную работу. Так смело он мог сыграть потому, что на Инте был не на общих, а на хорошей инженерной должности и не боялся возврата туда. (Именно поэтому он на шарашке в служебных разговорах с начальством мог разрешить себе подыскивать заменители иностранных слов, даже таких, как «инженер» и «металл», заставляя ждать, пока придумает. Это было бы невозможно, если б он стремился выслужиться или хотя бы получить повышенную категорию питания.)

Его, однако, не отослали,— на пробу оставили. Из главного русла работы, где царили напряжение, спешка, нервность, Сологдин таким образом выбился в тихое боковое русло. Там, без почёта и без укора, он контролировался начальством слабо, располагал достаточным свободным временем и — безнадзорно, тайно, по вечерам,— стал по своему разумению разрабатывать конструкцию абсолютного шифратора.

Он считал, что большие идеи могут родиться только озарением одинокого ума.

И действительно, за последние полгода он нашёл такое решение, которое никак не давалось десяти инженерам, специально на то назначенным, но непрерывно погоняемым и дёргаемым. (А уши его были открыты, он слышал, как ставится задача, и в чём их неуспех.) Два дня назад Сологдин дал свою работу на просмотр профессору Челнову — тоже неофициально. Теперь он поднимался по лестнице рядом с профессором, почтительно поддерживая его под локоть и ожидая приговора своей работе.

Но Челнов никогда не смешивал работы и отдыха.

Тот недолгий путь, который они прошли по коридорам и лестницам, он ни слова не проронил об оценке, жадно ожидаемой Сологдиным, а беззаботно рассказывал об утренней прогулке со Львом Рубиным. После того, как Рубина не пустили «на дрова», он читал Челнову своё стихотворение на библейский сюжет. В ритме стихотворения всего один-два срыва, есть свежие рифмы, например «Озирис — озарись», и вообще стихотворение надо признать недурным. По содержанию же — это баллада

о том, как Моисей сорок лет вёл евреев через пустыню в лишениях, жажде, голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце концов они придут в землю обетованную. Рубин особенно подчёркивал слушателю, что *сорока* лет ведь ещё нет!

Что же ответил Челнов?

Челнов обратил внимание Рубина на географию моисеева перехода: от Нила до Иерусалима евреям никак не нужно было идти более четырёхсот километров и, значит, даже отдыхая по субботам, свободно можно было дойти за три недели! Не следует ли предположить поэтому, что остальные сорок лет Моисей не *вёл*, а *водил* их по Аравийской пустыне, чтобы вымерли все, кто помнил сытое египетское рабство, а уцелевшие лучше бы оценили тот скромный рай, который Моисей мог им предложить?..

У вольнонаёмного дежурного по институту перед дверьми кабинета Яконова профессор Челнов взял ключ от своей комнаты. Такое доверие оказывалось ещё только Железной Маске — и больше никому из зэков. Никакой зэк не имел права ни секунды оставаться в своём рабочем помещении без присмотра со стороны вольного, ибо бдительность подсказывала, что эту безнадзорную секунду заключённый обязательно употребит на взлом железного шкафа при помощи карандаша и фотографирование секретных документов с помощью пуговицы от штанов.

Но Челнов работал в комнате, где стоял только несекретный шкаф и два голых стола. И вот решились (согласовав, разумеется, в министерстве) санкционировать выдачу ключа лично профессору Челнову. С тех пор его комната стала предметом постоянных волнений оперуполномоченного института майора Шикина. В часы, когда арестантов запирали в тюрьме двойной окованной дверью, этот высокооплачиваемый товарищ с ненормированным рабочим днём собственноножно приходил в комнату профессора, выстукивал стены, плясал на половицах, заглядывал в пыльную промежность за шкафом и хмуро качал головой.

Впрочем, получение ключа — это было ещё не всё. После четырёх-пяти дверей третьего этажа в коридоре находился контрольный пост Совсекретного отдела. Контрольный пост был — тумбочка и стул около неё, а на стуле уборщица, да не просто уборщица, чтобы подметать пол или кипятить чай (на то были другие) — уборщица особого назначения: проверять пропуска у идущих в Совсекретный отдел. Пропуска, отпечатанные в главной типографии министерства, были трёх родов: постоянные, разовые и недельные по образцам, разработанным майором Шикиным (ему же принадлежала и сама идея сделать тупик коридора Совсекретным).

Работа контрольного поста не была лёгкой: люди проходили редко, но вязать носки категорически было запрещено и инструкцией, тут же вывешенной, и неоднократными изустными указаниями майора товарища Шикина. И уборщицы (их сменялось в сутки две) в продолжение дежурства мучительно боролись со сном. Самому полковнику Яконову так же очень неудобен был этот контрольный пост, ибо его весь день отрывали подписывать пропуска.

Тем не менее пост существовал. А чтобы покрыть оплату этих уборщиц,— вместо трёх дворников, положенных по штату, держали одного, того самого Спиридона.

Хотя Челнов прекрасно знал, что сидевшая сейчас на посту женщина звалась Марья Ивановна, а она пропускала этого седого старика много раз на дню,— теперь она, вздрогнув, спросила:

— Пропуск.

И Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин достал бумажный.

Миновав пост, ещё пару дверей, заколоченную и мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лестницу, где размещалось ателье крепостного живописца, затем дверь личной комнаты Железной Маски, они отперли дверь Челнова.

Тут была уютная комнатушка с одним окном, открывавшим вид на арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкроила в зону, охраняемую автоматным огнём. Удлинённые высокие овершья лип были всё в том же щедром инее.

Мутно-белое небо осеняло землю.

Левее лип, за зоною, виднелся посеревший от времени, а сейчас убелённый тоже, двухэтажный с кораблевидной кровлей старинный домик когда-то жившего подле семинарии архиерея, по которому и подходящая сюда дорога называлась Владыкинской. Дальше проглядывали крыши деревушки Марфино, потом развёртывалось поле, а ещё дальше, на линии железной дороги, в мутности поднимался хорошо заметный ярко-серебряный парок паровоза, идущего из Ленинграда.

Но Сологдин и не посмотрел в окно. Не следуя приглашению сесть, гибкий, чувствуя под собой твёрдые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.

Челнов попросил его открыть форточку. Сел в жёсткое кресло с прямой высокой спинкой; поправил плед на плече; открыл тезисы, написанные на листке из блокнота; взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копью; строго посмотрел на Сологдина — и сразу стал невозможен тон шуточного разговора, только что бывшего между нами.

Как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате. Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что между его мыслями некогда было вздохнуть.

Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил. Он провёл теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция обещала результат, не очень далёкий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто-электронным устройствам. Однако необходимо:

— продумать, как сделать её нечувствительной к импульсам неполной энергии;

— уточнить значения наибольших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в достаточности маховых моментов.

— И потом...— Челнов облучил Сологдина мерцанием своего взгляда,— потом не забывайте: ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший — есть уже система. Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос ещё хаотически менялся.

Здесь профессор задумался, перегнул листок пополам и смолк. А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял, невидящий.

Ещё при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования. Его жизнь выходила, может быть, на свою зенитную дугу.

...Он происходил из старинной дворянской семьи, уже и без того таявшей как восковая, а в полыме революции разбрызнутой без остатка — одних расстреляли, другие эмигрировали, третьи схоронились, даже кожу себе сменив. Юношей Сологдин долго колебался, не понимая сам, как ему отнестись к революции. Он ненавидел её как бунт раззадоренной завистливой черни, но в её беспощадной прямолинейности и не устающей энергии он чувствовал себе родное. С древнерусским пыланием глаз он молился в угасающих московских часовенках. В юнгштурмовке, как все носили, с пролетарски расстёгнутым воротом поступал в комсомольскую ячейку. Кто мог бы сказать ему верно: искать ли *обрез* на эту шайку или пробиваться в комсомольские главари? Он был искренне набожен и захваченно тщеславен. Он был жертвенен, но и сребролюбив. Где то сердце молодое, которому не хочется земных благ? Он разделял убеждение безбожника Демокрита: «Счастлив тот, кто имеет состояние и ум.» Ум у него всегда был,— не было состояния.

И восемнадцати лет отроду (а был этот последний год НЭПа!) Сологдин положил себе как первую несомненную задачу:

приобрести *миллион,* именно, обязательно и точно — миллион, во что бы то ни стало — миллион. Дело даже не в богатстве, не в свободных средствах: нажить миллион — это экзамен на делового человека, это докажет, что ты не пустой фантазёр, а дальше можно ставить себе следующие деловые задачи.

Он предполагал найти этот путь к миллиону через какое-нибудь ослепительное изобретение, но не отказался бы и от другого остроумного пути, пусть не инженерного, зато короче. Однако нельзя было выискать более враждебной обстановки для задачи о миллионе, чем сталинская пятилетка. Из конструкторской доски выколачивал Сологдин только хлебную карточку да жалкую зарплату. И если бы завтра он предложил государству изумительный вездеход или выгодную реконструкцию всей промышленности,— это не принесло б ему ни миллиона, ни славы, а пожалуй даже — недоверие и травлю.

Но дальше всё решилось тем, что Сологдин по размеру стал больше стандартной ячейки невода, и захвачен был в одну из ловель, получил первый срок, а в лагере ещё и второй.

Уже двенадцать лет он не выходил из лагеря. Он должен был забросить и забыть задачу о миллионе. Но вот каким странным петлистым путём снова был выведен к той же башне и дрожащими руками уже подбирал из связки ключ к её стальной двери!

Кому? Кому?? — неужели ему этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие лестные слова?!..

Челнов свернул листок тезисов вчетверо, потом ввосьмеро:

— Как видите, работы ещё тут немало. Но эта конструкция будет оптимальная из пока предложенных. Она даст вам свободу, снятие судимости. А если начальство не перехватит — так и кусок сталинской премии.

Челнов улыбнулся. Улыбка у него была острая и тонкая, как вся форма лица.

Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках в разное время много больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни премия, ни снятие судимости, ни свобода. Да и судимости у него не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром Отце как о мерзкой гадине — и вот восемнадцатый год сидел без приговора, без надежды.

Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально:

— Владимир Эрастович! Вы дали мне опору и уверенность! Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я — ваш должник!

Но рассеянная улыбка уже играла на его губах.

Возвращая Сологдину рулон, профессор ещё вспомнил:

— Однако я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон

Николаевич не видел этого чертежа. Но вчера случилось так, что он вошёл в комнату в моё отсутствие, развернул по своему обычаю — и, конечно, сразу понял, о чём речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито...

Улыбка сошла с губ Сологдина, он нахмурился.

— Это так существенно для вас? Но почему? Днём раньше, днём позже...

Сологдин озадачен был и сам. Разве не наступало время теперь нести лист Антону?

— Как вам сказать, Владимир Эрастович... Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность?.. Ведь это — не мост, не кран, не станок. Это заказ — не промышленный, а тех самых, кто нас посадил. Я это делал пока только... для проверки своих сил. Для себя.

Для себя.

Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще это была высшая форма исследования.

— Но в данных обстоятельствах... это не слишком большая роскошь для вас?

Челнов смотрел бледными спокойными глазами.

— Простите меня,— подобрался и исправился Сологдин.— Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чём. Я вам благодарен и благодарен!

Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном под мышкой ушёл.

В эту комнату он только что вошёл ещё свободным претендентом.

И вот выходил из неё — уже обременённым победителем. Уже больше не был он хозяином своему времени, намерениям и труду.

А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тонколицый, в шерстяном остроконечном колпачке.

33

Всё с тем же ликованием, с несоразмерной силою распахнув дверь, Сологдин вошёл в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого многолюдья в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна.

— Вы одна, Лариса Николаевна? — удивился Сологдин, проходя через комнату быстрым шагом.

Лариса Николаевна Емина, копировщица, дама лет тридцати,

обернулась от окна, где стоял её чертёжный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину.

— Дмитрий Александрович? А я думала, мне целый день скучать одной.

Сологдин обежал взглядом её избыточную фигуру в ярко-зелёном шерстяном костюме — вязаной юбке и вязаной кофте, чёткой походкой прошёл, не отвечая, к своему столу, и сразу, ещё не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листе бумаги. После этого, стоя к Еминой почти спиной, он прикрепил принесенный чертёж к подвижной наклонной доске «кульмана».

Конструкторское бюро — просторная светлая комната третьего этажа с большими окнами на юг, была, вперемежку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закреплённых то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Сологдина близ крайнего окна, у которого сидела Емина, был установлен отвесно и развёрнут так, чтобы отгораживать Сологдина от начальника бюро и от входной двери, но принимать поток дневного света на наколотые чертежи.

Наконец, Сологдин сухо спросил:

— Почему же никого нет?

— Я хотела об этом узнать у вас,— услышал он певучий ответ.

Быстрым движением отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой:

— У меня вы можете только узнать, где четыре бесправных зэ-ка́, зэ-ка́, работающих в этой комнате. Извольте. Один вызван на свидание, у Хуго Леонардовича — латышское Рождество, я — здесь, а Иван Иванович отпросился штопать носки. Но мне, встречно, хотелось бы знать, где шестнадцать вольных — то есть, товарищей, значительно более ответственных, чем мы?

Он оказался в профиль к Еминой, и ей хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой.

— Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с Антон' Николаичем — и конструкторское бюро сегодня выходное? А я, как на зло, дежурная...

— Выходное? — нахмурился Сологдин.— По какому же случаю?

— Как по какому? По случаю воскресенья.

— С каких это пор у нас воскресенье — и вдруг выходной?

— Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной работы.

Сологдин резко довернулся в сторону Еминой.

— У *нас* нет срочной работы? — едва ли не гневно воскликнул он.— Ничего себе! У нас нет срочной работы! — Нетер-

пеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина.— А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня вы *все шестнадцать* будете сидеть здесь — и день и ночь копировать? Хотите?

Эти «все шестнадцать» он почти прокричал со злорадством.

Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к её покойной крупной красоте. Сегодня она ещё даже не подняла кальки, прикрывавшей чуть наклонный её рабочий стол, так и лежал поверх кальки ключ, которым она отперла комнату. Удобно облокотясь о стол (обтягивающий вязаный рукав очень передавал полноту её предплечья), Емина чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами:

— Бож-же упаси! — И вы способны на такое злодейство?

Глядя холодно, Сологдин спросил:

— Зачем вы употребляете слово «Боже»? Ведь вы — жена чекиста?

— Что за важность? — удивилась Емина.— Мы и куличи на Пасху печём, так что такого?

— Ку-ли-чи?!

— А тó!

Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину. Зелень её вязаного костюма была резкая, дерзкая. И юбка, и кофточка, облегая, выявляли раздобревшее тело. На груди кофточка была расстёгнута, и воротник лёгкой белой блузки выложен поверх.

Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал:

— Но ведь ваш муж, вы говорили,— подполковник МВД?

— Так то муж!.. А мы с мамой — что? бабы! — обезоруживающе улыбалась Емина. Толстые белые косы её были обведены величественным венцом вкруг головы. Она улыбалась — и была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Эммы Цесарской.

Сологдин, больше не отзываясь, сел боком за свой стол,— так, чтобы не видеть Еминой, и щурясь, стал оглядывать наколотый чертёж. Он чувствовал себя осыпанным цветами триумфа, они как будто ещё держались на его плечах, на груди, и ему не хотелось рассеивать этой настроенности.

Когда-то же надо начинать настоящую Большую Жизнь.

Именно теперь.

Дуга зенита...

Хотя застряло какое-то сомнение...

А вот какое. Нечувствительность к импульсам неполной энергии и достаточность маховых моментов были обеспечены, как Сологдин угадывал внутренним чутьём, хотя нужно будет, разу-

меется, везде досчитать знака по два. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порок работы, но на разность его от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованный и Челновым, неуловленный и им самим, недоделанный «последний вершок». Важно было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине определить, в чём он состоит, и приступить к его доделке. Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены.

Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из мыслей о Еминой и удержаться в круге мыслей, созданных профессором Челновым. Емина уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случалось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению — копировщица при нём, она по общественному положению была дама из слоя власти. И естественным и достойным отношением между ними должна была быть враждебность.

Сологдин смотрел на чертёж, а Емина, всё так же чуть покачиваясь на локте,— на него. И вдруг прозвучал вопрос:

— Дмитрий Александрович! А — вам? Кто вам штопает носки?

У Сологдина поднялись брови. Он даже не понял.

— Носки? — Он всё так же смотрел на чертёж.— А-а. Иван Иваныч носит носки потому, что он ещё новичок, трёх лет не сидит. Носки — это отрыжка так называемого... (он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово) ...капитализма. Носков я просто не ношу.— И поставил палочку на белом листе.

— Но тогда... что же вы носите?

— Вы переступаете границы скромности, Лариса Николаевна,— не мог не улыбнуться Сологдин.— Я ношу гордость нашего русского убранства — портянки!

Он произнёс это слово смачно, отчасти уже находя удовольствие в разговоре. Его внезапные переходы от строгости к насмешке всегда пугали и забавляли Емину.

— Но ведь их... солдаты носят?

— Кроме солдат ещё два разряда: заключённые и колхозники.

— И потом их тоже надо... стирать, латать?

— Вы ошибаетесь! Кто же нынче стирает портянки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают, от начальства новые получают.

— Неужели? Серьёзно? — Емина смотрела почти испуганно.

Сологдин молодо беспечно расхохотался.

— Во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки? Вот вы, *прозрачно-обводчица* МГБ — сколько вы получаете в месяц?

— Полторы тысячи.

— Та-ак! — торжествующе воскликнул Сологдин.— Полторы тысячи! А я, *зиждитель* — (на Языке Предельной Ясности это значило — инженер) — тридцать рубляшек! Не разгонишься? На носки?

Глаза Сологдина весело лучились. Это совсем не относилось к Еминой, но она рдела.

Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены — принадлежностью квартиры. Придя с работы, он долго, с наслаждением обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приёмник (приёмники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшей марки). Только футбольный матч, где по роду службы он всегда болел за «Динамо», вызывал в нём возбуждение и даже страсть. Во всём он был тускл, однообразен. Да и у других мужчин её окружения досуг был рассказывать о своих заслугах, наградах, играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе лезть и лапать.

Сологдин опять уставился в свой чертёж. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, ещё и ещё раз на его усы, на бородку, на сочные губы.

Об эту бородку хотелось уколоться и потереться.

— Дмитрий Александрович! — опять прервала она молчание.— Я вам очень мешаю?

— Да есть немножко...— ответил Сологдин. Последние вершки требовали ненарушимой углублённой мысли. Но соседка мешала. Сологдин оставил пока чертёж, развернулся к столу, тем самым и к Еминой, и стал разбирать незначительные бумаги.

Слышно было, как мелко тикали часы у неё на руке.

По коридору прошла группа людей, сдержанно разговаривая. Из дверей соседней Семёрки раздался немного шепелявый голос Мамурина: «Ну, скоро там трансформатор?» и раздражённый выкрик Маркушева: «Не надо было им давать, Яков Иваныч!..»

Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Сологдина.

А он — читал.

— Каждый день! каждый час! — почти шептала она благоговейно.— В тюрьме и так заниматься!.. Вы — необыкновенный человек, Дмитрий Александрович!

На это замечание Сологдин сразу поднял голову.

— Что ж с того, что тюрьма, Лариса Николавна? Я сел

двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. Но я в это не верю. Обязательно ещё набавят. У меня пройдёт в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно.

— У вас всё по системе!

— На свободе или в тюрьме — какая разница? — мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчинённой разуму. Из лагерных лет я семь провёл на баланде, моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать...

Но кому это было доступно из непережививших?

Внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе. И *кум* — старший лейтенант Камышан, одиннадцать месяцев крестивший Сологдина на второй срок, на новую десятку. Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом (он хорошо сидел в седле) — в этот день бил рукояткой хлыста.

Шла война. Даже на воле нечего было есть. А — в лагере? Нет, а — в Горной закрытке?

Ничего не подписал Сологдин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку всё равно получил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обречённое распасться.

Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг — разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он — пошевелился...

— Расскажите!..

— Нет, Лариса Николавна! Это решительно невозможно описать! — легко, радостно уверял теперь Сологдин.

И оттуда! — и оттуда! — о, сила обновления жизни! — через годы неволи, через годы работы! — к чему он взлетел?!

— Расскажите! — клянчила раскормленная женщина всё так же снизу вверх, со скрещенных рук.

Разве только вот что было ей доступно понять: в той истории замешалась и женщина. Выбор Камышана ускорился оттого, что он приревновал Сологдина к медицинской сестре, зэчке. И приревновал не зря. Ту медсестру Сологдин и сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела, что отчасти даже не жалел, получив из-за неё срок.

Было и сходство той медсестры и этой копировщицы: они обе — колосились. Женщины маленькие и худенькие были для Сологдина уроды, недоразумение природы.

Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емина бесцельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти

совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к Сологдину крутой венец могучих кос.

— Я очень виновата перед вами, Дмитрий Александрович...

— В чём же?

— Один раз я стояла у вашего стола, опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо... Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно... И в другой раз...

— ...Вы опять совершенно случайно скосили глаза...?

— И увидела, что вы опять пишете письмо, и как будто то же самое...

— Ах, вы даже различили, что — то же самое?! И ещё в третий раз? Было?

— Было...

— Та-ак... Если, Лариса Николаевна, это будет продолжаться, мне придётся отказаться от ваших услуг как прозрачно-обводчицы. А жаль, вы неплохо чертите.

— Но это было давно! С тех пор вы не писали.

— Однако вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди?

— Почему — Шикиниди?

— Ну, Шикину. Донесли?

— Как вы могли это подумать!

— А тут и думать нечего. Неужели майор Шикиниди не поручил вам шпионить за моими действиями, словами и даже мыслями? — Сологдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе.— Ведь поручал? Говорите честно!

— Да... поручал...

— И сколько вы написали доносов?

— Дмитрий Александрович! Я, наоборот,— самые лучшие характеристики!

— Гм... Ну, пока поверим. Но предупреждение моё остаётся в силе. Очевидно, здесь непреступный случай чисто-женского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене.

— Вот это я и хотела спросить: у вас есть жена? Она ждёт вас? Вы пишете ей такие длинные письма?

— Жена у меня есть,— медленно углублённо ответил Сологдин,— но так, что как будто её и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал — нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Лариса Николаевна, это очень трудное искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма — единственная связь, через которую я держу её вот уже двенадцать лет.

Емина подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Сологдина и оперлась так, обжав ладонями своё бесстрашное лицо.

— Вы уверены, что держите? А — зачем, Дмитрий Александрович, зачем? Двенадцать лет прошло, да пять ещё осталось — семнадцать! Вы отнимаете у неё молодость! Зачем? Дайте ей жить!

Голос Сологдина звучал торжественно:

— Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это — подруги викингов, это — светлоликие Изольды с алмазными душами. Вы не могли их знать, вы жили в пресном благополучии.

Она жила среди чужаков, среди врагов.

— Дайте ей жить! — настаивала Лариса Николаевна.

Нельзя было узнать в ней той важной дамы, какою она проплывала по коридорам и лестницам шарашки. Она сидела, прильнув к столу Сологдина, слышно дышала, и — в заботе о неведомой ей жене Сологдина? — разгорячённое лицо её стало почти деревенское.

Сологдин сощурился. Знал он это всеобщее свойство женщин: острое чутьё на мужской взлёт, на успех, на победу. Внимание победителя вдруг нужно каждой. Ничего не могла знать Емина о разговоре с Челновым, о конце работы — но чувствовала всё. И летела, и толкалась в натянутую между ними железную сетку режима.

Сологдин покосился в глубину её разошедшейся блузки и поставил палочку на розовом листе.

— Дмитрий Александрович! И вот это. Я уже много недель мучаюсь — что за палочки вы ставите? А потом через несколько дней зачёркиваете? Что это значит?

— Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности.— Он взял в руки белый лист.— Но извольте: палочки я ставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи. Счёт этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово «капитализм», которое я не нашёлся сразу заменить «толстосумством», и за слово «шпионить», которое я сгоряча поленился заменить словом «доглядать»,— я и поставил себе две палочки.

— А на розовом? — добивалась она.

— А вы заметили, что и на розовом?

— И даже чаще, чем на белом. Это тоже — мера вашего несовершенства?

— Тоже,— отрывисто сказал Сологдин.— На розовом я ставлю себе *пеневые*, по-вашему будет — штрафные, палочки и потом наказываю себя по их числу. Отрабатываю. На дровах.

— Штрафные — за что? — тихо спросила она.

Так и должно было быть! Раз он вышел на зенитную дугу — в тот же миг с извинением даже женщину посылает ему капризная судьба. Или всё отнять, или всё дать, у судьбы так.

— А зачем вам? — ещё строго спрашивал он.

— За что?..— тихо, тупо повторяла Лариса.

Здесь было отмщение им всем, их клану МВД. Отмщение и обладание, истязание и обладание — они в чём-то сходятся.

— А вы замечали, *когда* я их ставлю?

— Замечала,— как выдох ответила Лариса.

Дверной ключ с алюминиевой бирочкой, с выбитым номером комнаты лежал на её застилающей кальке.

И — большой зелёный шерстяной тёплый ком дышал перед Сологдиным.

Ждал распоряжения.

Сологдин сощурился и скомандовал:

— Пойди запри дверь! Быстро!

Лариса отпрянула от стола, резко встала — и с грохотом упал её стул.

Что он наделал, зарвавшийся раб! Она идёт жаловаться?

Она сгребла ключ и с перевалкою пошла запирать.

Торопливой рукой Сологдин поставил на розовом листе пять палочек кряду.

Больше не успел.

34

Никому не хотелось работать в воскресенье — и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до шести вечера.

Но воскресный день выдался тревожней буднего. Около десяти часов утра к главным воротам подошли три очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырёк. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснежевшим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Изо всех трёх стали выходить большие чины, блеща золотом погонов,— и не медля, и не ожидая встречи, сразу подниматься на третий этаж, в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронёсся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе.

Правда была наполовину: приехал только замминистра Селивановский и с ним четыре генерала.

Но случилось небывалое — инженер-полковника Яконова всё ещё не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту (проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив) звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет,— заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нём портупею и цепляясь за ковровые дорожки (он был очень близорук), поспел из Акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтоб успеть отстоять интересы возглавляемой им внутриинститутской оппозиции: Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности ночного вызова Прянчикова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние вокодера не так безнадёжно, как, скажем, клиппера. Несмотря на свои тридцать лет, Ройтман был уже лауреатом сталинской премии — и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод.

Его стали слушать до десятка приехавших, из которых двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако вызванный Осколуповым жёлтый, заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за клиппер, уже *почти* готовый к выпуску в свет. Невдолге прибыл и Яконов — с подведенными впалыми глазами, с лицом, побелевшим до голубизны,— и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие.

И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института — оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость — не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. (Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе — присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно.) Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шёпотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Он так был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбегать в Вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина и из вольных больше не было сегодня никого.

Начальники лабораторий в свою очередь ничего не объявили вслух,— ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства, но обошли все столы и стыдливым шёпотом предупреждали каждого в отдельности.

Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в Семёрку, и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в Акустическую: чтоб избавиться ещё от этой новой заботы, Яконов порекомендовал Акустическую как удобную базу для выполнения поручения Рюмина.

— Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека? — спросил по дороге Селивановский Ройтмана.

Ройтман ничего не мог думать, так как сам узнал о поручении пять минут назад: подумал за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за пять минут Ройтман кое-что успел сообразить.

— Видите ли,— говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости,— у нас ведь есть прибор видимой речи — ВИР, печатающий так называемые *звуковиды,* и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин.

— Заключённый?

— Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды, и сличая со звуковидами подозреваемых...

— Гм... Придётся этого филолога ещё согласовывать с Абакумовым,— покачал головой Селивановский.

— В смысле секретности?

— Да.

В Акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаёмные девушки сбились в кучку и шёпотом сплетничали, помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на её счастье, на работе не было — она отгуливала переработанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка.

Нержин чувствовал себя именинником, в Акустическую заходил уже в третий раз, без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь с тихим жаром читал

её Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде об Алёше Карамазове — одновременно в шинели юнкера отстаивающем Перекоп и в шинели красноармейца берущем Перекоп. Сейчас Рубину очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя тоже, что ждать и верить сорок лет — разумно, нужно, необходимо.

Рубин не существовал без друзей, он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли,— уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями.

Итак, никто ещё в Акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Прянчиков, уже одолевший в себе воспоминание о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая:

Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар,
Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар...

И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал:

— На этих звуковидах речь развёртывается сразу в трёх измерениях: по частоте — поперёк ленты, по времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотою рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать, и даже по ленте прочесть всё сказанное. Вот...— он вёл Селивановского вглубь лаборатории,

— ...прибор ВИР, его сконструировали в нашей лаборатории (Ройтман и сам уже забывал, что прибор тяпнули из американского журнала), а вот...—
он осторожно развернул замминистра к окну,

— ...кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. (Рубин встал и молча поклонился.)

Но ещё когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довёл Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин с остротой и быстротой, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр — как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из «эталонных»

дикторов — а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они отдали себе отчёт, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя — это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.

И обо всём этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга.

И Рубин шепнул:

— Если — ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону.»

А Нержин шепнул:

— Если фраза его — угадывай по звукам. Глажу волосы — верно, поправляю галстук — неверно.

И тут-то Рубин встал и молча поклонился.

Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку.

— Вот нам сейчас Лев Григорьич и покажет своё умение. Кто-нибудь из дикторов... ну, скажем, Глеб Викентьич... прочтёт в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР её запишет, а Лев Григорьич попробует разгадать.

Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом: — Фразу — вы придумаете? — спросил он строго.

— Нет, нет,— отводя глаза, вежливо ответил Селивановский,— вы что-нибудь там сами сочините.

Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман.

«Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону.»

— И это действительно так? — удивился Селивановский.

— Да.

— Читайте, пожалуйста.

Загудел ВИР. Нержин ушёл в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая её мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещрённая множеством чернильных полосок и мазаных пятен, была подана на стол Рубину.

Вся лаборатория прекратила *работу* и напряжённо следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным.

— Вот видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчётливо видно — два раза «р». В первом слове ударный звук «и» и перед ним смягчённый «в» — здесь твёрдого быть и не может. Ещё ранее — форманта «а», но следует помнить, что в первом предударном слоге как «а» произносится так же и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова безусловно «у». А за ним глухой взрывной, скорей всего «к», итак имеем: «укови» или «укави». А вот твёрдое «в», оно заметно отличается от мягкого, нет в нём полоски свыше двух тысяч трёхсот герц. «Вукови...» Затем новый звонкий твёрдый взрывок, на конце же — редуцированный гласный, это я могу принять за «ды». Итак, «вуковиды». Остаётся разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь — «з». Итак, первое слово — «звуковиды»! Пойдём дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р» и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ает», а раз множественное число, значит, «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают»... сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?

Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, *для понта,* и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолётно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский поражённо шептал:

— Это удивительно... это удивительно...

Не заметили, как в комнату на цыпочках вошёл старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрей, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками.

Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвёртое. Ройтман светился — не только потому, что делил триумф: он искренне радовался всякому успеху в работе.

И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый исподлобный взгляд Шустермана. И понял, зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным ответным взглядом: «Сам заправишь!»

— Последнее слово — «по телефону», это сочетание

настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и всё.

— Поразительно! — повторял Селивановский.— Вас, простите, как по имени-отчеству?

— Лев Григорьич.

— Так вот, Лев Григорьич, а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковидах?

— Мы называем это — индивидуальный речевой лад. Да! Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.

— Очень удачно! Кажется, для вас есть ин-те-ресное задание.

И Шустерман вышел на цыпочках.

35

Испортился мотор у воронка, который имел наряд везти заключённых на свидание, и пока созванивались и выясняли, как быть,— вышла задержка. Около одиннадцати часов, когда Нержин, вызванный из Акуетической, пришёл на *шмон,*— шестеро остальных, ехавших на свидание, были уже там. Одних дошмонивали, другие были прошмонены и ожидали в разных телоположениях — кто грудью припавши к большому столу, кто разгуливая по комнате за чертою шмона. На самой этой черте у стены стоял подполковник Климентьев — весь выблещенный, прямой, ровный, как кадровый вояка перед парадом. От его чёрных слитых усов и от чёрной головы сильно пахло одеколоном.

Заложив руки за спину, он стоял как будто совершенно безучастно, на самом же деле своим присутствием обязывая надзирателей обыскивать на совесть.

На черте обыска Нержина встретил протянутыми руками один из самых злопридирчивых надзирателей — Красногубенький, и сразу спросил:

— В карманах — что?

Нержин давно уже отстал от той угодливой суетливости, которую испытывают арестанты-новички перед надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда отвечать и не полез выворачивать карманы в этом необычном для него шевиотовом костюме. Своему взгляду на Красногубенького он придал сонность и чуть-чуть отстранил руки от боков, предоставляя тому лазить по карманам. После пяти лет тюрьмы и после многих таких приготовлений и обысков, Нержину совсем не казалось, как кажется понову, что это — грубое насилие, что грязные пальцы шарят по израненному сердцу,— нет, его нарастающе-светлое состояние не могло омрачить ничто, делаемое с его телом.

Красногубенький открыл портсигар, только что подаренный

Потаповым, просмотрел мундштуки всех папирос, не запрятано ли что в них; поковырялся меж спичек в коробке, нет ли под ними; проверил рубчики носового платка, не зашито ли что — и ничего другого в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки между нижней рубашкой и расстёгнутым пиджаком, он обхлопал весь корпус Нержина, нащупывая, нет ли чего засунутого под рубашку или между рубашкой и манишкой. Потом он присел на корточки и тесным обхватом двух горстей провёл сверху вниз по одной ноге Нержина, затем по другой. Когда Красногубенький присел, Нержину стало хорошо видно нервно-расхаживающего гравёра-оформителя — и он догадался, почему тот так волнуется: в тюрьме гравёр открыл в себе способность писать новеллы и писал их — о немецком плене, потом о камерных встречах, о трибунале. Одну-две такие новеллы он уже передал через жену на волю, но и там — кому их покажешь? Их и там надо прятать. Их и здесь не оставишь. И никогда нельзя будет ни клочка написанного увезти с собой. Но один старичок, друг их семьи, прочёл и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство. Отзыв сильно подбодрил гравёра.

Так и к сегодняшнему свиданию у него была написана новелла — как ему казалось, великолепная. Но в самый момент шмона он струсил перед тем же Красногубеньким и комочек кальки, на которую новелла была вписана микроскопическим почерком, проглотил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада, что он съел новеллу — может быть мог и пронести?

Красногубенький сказал Нержину:

— Ботинки — снимите.

Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал ботинок и движением, как будто лягался, сошвырнул его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обнажая продранный носок. Красногубенький поднял ботинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву. С тем же невозмутимым лицом Нержин сошвырнул второй ботинок и обнажил второй продранный носок. Потому ли что носки были в больших дырках, Красногубенький не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано и не потребовал их снять.

Нержин обулся. Красногубенький закурил.

Подполковника косо передёргивало, когда Нержин сошвырнул с ног ботинки. Ведь это было намеренное оскорбление его надзирателя. Если не заступаться за надзирателей — арестанты сядут на голову и администрации тюрьмы. Климентьев опять раскаивался, что проявил доброту, и почти решил найти повод придраться и запретить свидание этому наглецу, который не стыдится своего положения преступника, а даже как бы упивается им.

— Внимание! — сурово заговорил он, и семеро заключённых и семеро надзирателей повернулись в его сторону.— Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи — только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что всё хорошо и ни в чём не нуждаетесь.

— О чём же говорить? — крикнул кто-то.— О политике?

Климентьев даже не затруднился на это ответить, так это было явно несуразно.

— О своей вине,— мрачно посоветовал другой из арестантов.— О раскаянии.

— О следственном деле тоже нельзя, оно — секретное,— невозмутимо отклонил Климентьев.— Расспрашивайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи.

И Нержин, остававшийся вполне равнодушным и к шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обойти,— при запрещении поцелуев почувствовал тёмный взлёт в глазах.

— Раз в год видимся...— хрипло выкрикнул он Климентьеву, и Климентьев обрадованно довернулся в его сторону, ожидая, что́ Нержин выпалит дальше.

Нержин почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас:

— Лишаю свидания!!

И задохнулся.

Свидание его, в последний час объявленное, выглядело полузаконным и ничего не стоило лишить...

Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость.

Старый арестант, он должен был быть господином своему гневу.

Не встретив бунта, Климентьев бесстрастно и точно довесил:

— В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения,— свидание немедленно прекращается.

— Но жена-то не знает! Она меня поцелует! — запальчиво сказал гравёр.

— Родственники также будут предупреждены! — предусмотрел Климентьев.

— Никогда такого порядка не было!

— А теперь — будет.

(Глупцы! И глупо их возмущение — как будто он сам, а не свежая инструкция придумала этот порядок!)

— Сколько времени свидание?

— А если мать придёт — мать не пустите?

— Свидание тридцать минут. Пускаю только того одного, на кого написан вызов.

— А дочка пяти лет?

— Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.

— А шестнадцати?

— Не пропустим. Ещё вопросы? Начинаем посадку. На выход!

Удивительно! — везли не в воронке, как всё последнее время, а в голубом городском автобусе уменьшенных размеров.

Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там были пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли три угла. Двое из них имели вид не то боксёров в отставке, не то гангстеров. Очень хорошие были на них пальто.

Утренний иней уже изникал. Не было ни морозца, ни оттепели.

Семеро заключённых поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись.

Зашли четыре надзирателя в форме.

Шофёр захлопнул дверцу и завёл мотор.

Подполковник Климентьев сел в легковую.

36

К полудню в бархатистой тишине и полированном уюте кабинета Яконова самого хозяина не было — он был в Семёрке занят «венчанием» клиппера и вокодера (идея соединить эти две установки в одну родилась сегодня утром у корыстного Маркушева и была подхвачена многими, у каждого был на то свой особый расчёт; сопротивлялись только Бобынин, Прянчиков и Ройтман, но их не слушали).

А в кабинете сидели: Селивановский, генерал Бульбанюк от Рюмина, здешний марфинский лейтенант Смолосидов и заключённый Рубин.

Лейтенант Смолосидов был тяжёлый человек. Даже веря, что в каждом живом творении есть что-то хорошее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном никогда не смеющемся взгляде, в безрадостной нескладной пожимке толстых губ. Должность его в одной из лабораторий была самая маленькая — чуть старше радиомонтажника, получал он как последняя девчёнка — меньше двух тысяч в месяц, правда, ещё на тысячу воровал из института и продавал на чёрном рынке дефицитные радиодетали,— но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим.

Вольные на шарашке боялись его — даже те его приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было его лицо, на которое нельзя было вызвать озарения откровенности. Страшно было особое доверие, оказываемое ему высочайшим начальством. Где он жил? и вообще был ли у него дом? и семья? Он не бывал в гостях у сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за оградой института. Ничего не было известно о его прошлой жизни, кроме трёх боевых орденов на груди и неосторожного хвастовства однажды, что за всю войну маршал Рокоссовский не произнёс ни единого слова, которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спросили, как это могло быть, он ответил, что был у маршала личным радистом.

И едва встал вопрос, кому из вольных поручить обслуживание магнитофона с обжигающе-таинственной лентой, из канцелярии министра скомандовали: Смолосидову.

Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил:

— Вы — заключённый, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.

«Я и сейчас коммунист!» — хотелось воскликнуть Рубину, но было унизительно доказывать это Бульбанюку.

— Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясли атомной бомбой. Само собой разумеется, что при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно?

— Ясно,— отсек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты. Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, ещё не прослушанная, уже лично задевала его.

Смолосидов включил на прослушивание.

И в тишине кабинета прозвучал с лёгкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского.

Рубин впился в пёструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

После слов:

— А кто такой ви? Назовите ваш фамилия,— Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нём самом давно не горят майорские звёзды. Он поджёг погасшую папиросу и коротко приказал:

— Так. Ещё раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный — вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посильно поработать на старуху-Историю. Он снова — в строю! Он снова — на защите Мировой Революции!

Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпёр свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей шеи выдавилось поверх ладоней. Когда и как они расплеменились, эта самодовольная непробиваемая порода? — из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше живые сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим достался весь *аппарат*, и вот они всю остальную страну толкают к гибели?

Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же, в кабинете, ручной гранатой!

Но так сложилось, что *объективно* на данном перекрестке истории они представляют собою её положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.

И надо стать выше своих чувств! И им — помочь!

Именно такие же хряки, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же хряки, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать — идею. Спасать — знамя. Служить передовому строю.

Лента кончилась.

Рубин скрутил голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Селивановского, который выглядел вполне прилично, сказал:

— Хорошо. Попробуем. Но если у вас нет никого в подозрении, как же искать? Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать?

Бульбанюк успокоил:

— Четверых мы накрыли тут же, около автомата. Но вряд ли это они. А из министерства иностранных дел могли знать вот эти пять. Я не беру, конечно, Громыко и ещё кое-кого. Этих пять я записал тут коротенько, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись обвинить кого.

Он протянул ему листик из записной книжки. Там было написано:

1. Петров.
2. Сяговитый.
3. Володин.
4. Щевронок.
5. Заварзин.

Рубин прочёл и хотел взять список себе.

— Нет-нет! — живо предупредил Селивановский.— Список будет у Смолосидова.

Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели у него в памяти: Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин! Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он мимолётно отметил происхождение фамилий: «сяговитый» — далеко прыгающий, «щевронок» — жаворонок.

— Попрошу,— сухо сказал он,— от всех пятерых записать ещё телефонные разговоры.

— Завтра вы их получите.

— Ещё: проставьте около каждого возраст.— Рубин подумал.— И — какими языками владеет, перечислите.

— Да,— поддержал Селивановский,— я тоже подумал: почему он не перешёл ни на какой иностранный язык? Что ж он за дипломат? Или уж такой хитрый?

— Он мог поручить какому-нибудь простачку! — шлёпнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой.

— Т а к о е — кому доверишь?..

— Вот это нам и надо поскорей узнать,— толковал Бульбанюк,— преступник среди этих пяти или нет? Если нет — мы ещё пять возьмём, ещё двадцать пять!

Рубин выслушал и кивнул на магнитофон:

— Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня.

— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.

— Её уже освобождают,— сказал Смолосидов.

Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова «когда?», чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь — на неделю и на две, а если ставить фирму, то пахнет многими месяцами, если же спросить начальство «когда надо?» — скажут: «завтра к утру». Он осведомился:

— С кем ещё я могу говорить об этой работе?

Селивановский переглянулся с Бульбанюком и ответил:

— Ещё только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. И с самим министром.

Бульбанюк спросил:

— Вы моё предупреждение всё помните? Повторить?

Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.

— Я должен идти думать,— сказал он, не обращаясь ни к кому.

Никто не возразил.

Рубин с затенённым лицом вышел из кабинета, прошёл мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.

Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь?.. Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация. Первые термины.

Азарт исследователя загорался в нём.

По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса.

До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она складывалась столетиями.

А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), *фоноскопия.* И создать её придётся в несколько дней.

Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.

37

На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчёркнуто-интеллигентским лицом, да ещё в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов.

— Вот, кажется, ко всему я привык,— негромко поделился с ним Нержин.— Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в купе, и конвой ломает чемоданы — ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю ещё вот эта одна живая струнка, никак не отомрёт — любовь к жене. Не могу, когда её касаются. В год увидеться на полчаса — и не поцеловать? За это свидание в душу наплюют, гады.

Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными, даже когда он просто задумывался над физическими схемами.

— Вероятно,— ответил он,— есть только один путь к неуязвимости: убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний.

Герасимович был на шарашке Марфино лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо.

Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу: поездка на свидание — слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Подымаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы вплавить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком.

Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов (старший надзиратель ещё прежде того расписался на вахте за семь голов). Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (бесплотный бес не удержался бы там минуты), ушёл на вахту — и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришёптывая весёлыми шинами, побежал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо Ботанического сада.

Глубокотайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света,— они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них всё есть и им ничего не надо.

Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.

Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему: здание, в котором они жили и работали, тёмно-кирпичное здание семинарии с шаровым тёмно-ржавым куполом над их полукруглой красавицей-комнатой и ещё выше — шестериком, как звали в древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходили Акустическая, Семёрка, конструкторское бюро и кабинет Яконова,— ровные ряды безоткрывных окон

выглядели равномерно-бесстрастно, и окраинные москвичи и гуляющие Останкинского парка не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметённых страстей и государственных тайн было собрано, стиснуто, сплетено и докрасна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах — о двадцати двух неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание,— как эти женщины не знали друг о друге и как могло знать о них одно небо, что все они двадцать две под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь себе потаённую привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связали с семьёй.

Открыв тёмно-красный портсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажжённые в нерядовые минуты жизни.

И хоть мысль о Наде была сейчас высшая, поглощающая мысль,— его телу, наслаждённому необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать... Чтобы время остановилось, а шёл бы автобус, шёл бы и шёл, по этой оснеженной дороге с проложенными чёрными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закуржавевших его ветвей, мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам.

Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год — на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены.

Потом сразу пришла война.

И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши.

А у них — нет...

Один малышок хотел перебегать шоссе. Шофёр резко вильнул, чтоб его объехать. Малыш испугался, остановился и приложил ручёнку в синей варежке к раскраснелому лицу.

И Нержин, годами не думавший ни о каких детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова вместе — тридцать шесть, а то и сорок будет жене. И — поздно для ребёнка...

Оставив слева Останкинский дворец, а справа — озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.

В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не ужаснее ли, когда ужаса нет? Когда ужас — в сереньком

методичности недель? В том, что забываешь: единственная жизнь, данная тебе на земле — изломана. И готов это простить, уже простил тупорылым. И мысли твои заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а горбушку, как получить в очередную баню нервaное и немаленькое бельё.

Это всё надо пережить. Выдумать этого нельзя. Чтобы написать

Сижу за решёткой в темнице сырой

или — отворите мне темницу, дайте черноглазую девицу — почти и в тюрьме сидеть не надо, легко всё вообразить. Но это — примитив. Только непрерывными бесконечными годами воспитывается подлинное ощущение тюрьмы.

Надя пишет в письме: «Когда ты вернёшься...» В том и ужас, что *возврата* не будет. *Вернуться* — нельзя. За четырнадцать лет фронта и потом тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придёт новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, прежняя жена увидит, что того, её первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись, — того человека уже нет, он испарился — по молекулам.

Хорошо, если в новой, второй жизни они ещё раз полюбят друг друга.

А если нет?..

Да через столько лет захочется ли самому тебе выйти на эту волю — оголтелое внешнее коловращение, враждебное человеческому сердцу, противное покою души? На пороге тюрьмы ещё остановишься, прижмуришься — идти ли туда?

Окраинные московские улицы тянулись за окнами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось в их заточении, что Москва вся — блещет, что она — ослепительна. А здесь чередили одноэтажные и двухэтажные давно не ремонтированные, с облезлой штукатуркою дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда. А где-нибудь от Рязани до Рузаевки, где иностранцев не возят, там триста вёрст проезжай — одни подгнившие соломенные крыши.

Прислонясь головой к запотевшему, подрагивающему стеклу и едва слыша сам себя под мотор, Глеб в четверть голоса нашёптывал:

Русь моя... жизнь моя... долго ль нам маяться?..

Автобус выскочил на обширную многолюдную площадь Рижского вокзала. В мутноватом инеисто-облачном дне сновали

трамваи, троллейбусы, автомобили, люди,— но кричащий цвет был один: яркие красно-фиолетовые мундиры, каких никогда ещё не видел Нержин.

Герасимович среди своих дум тоже заметил эти попугайские мундиры и, вскинув брови, сказал на весь автобус:

— Смотрите! Городовые появились! Опять — городовые.

Ах, это они?.. Вспомнил Глеб, как в начале тридцатых годов кто-то из комсомольских вожаков говорил: «Вам, товарищи юные пионеры, никогда уже не придётся увидеть живого городового.»

— Пришлось...— усмехнулся Глеб.

— А? — не понял Герасимович.

Нержин наклонился к его уху:

— До того люди задурены, что стань сейчас посреди улицы, кричи «долой тирана! да здавствует свобода!» — так даже не поймут, о каком таком тиране и о какой ещё свободе речь.

Герасимович прогнал морщины по лбу снизу вверх.

— А вы уверены, что вы, например, понимаете?

— Да полагаю,— кривыми губами сказал Нержин.

— Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно-построенному обществу — это очень плохо представляется людьми.

— А разумно-построенное общество — представляется? Разве оно возможно?

— Думаю, что — да.

— Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это ещё никому не удалось.

— Но когда-то же удастся,— со скромной твёрдостью настаивал Герасимович.

Испытно они посмотрели друг на друга.

— Послушать бы,— ненастойчиво выразил Нержин.

— Как-нибудь,— кивнул Герасимович маленькой узкой головой.

И — опять оба тряслись, вбирали улицу глазами и отдались перебойчатым мыслям.

...Непостижимо, как Надя может столько лет его ждать? Ходить среди этой суетливой, всё что-то настигающей толпы, встречать на себе мужские взгляды — и никогда не покачнуться сердцем? Глеб представлял, что если бы наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он сам был бы на воле — он и года, может быть, не выдержал бы. Как же бы он мог миновать всех этих женщин?.. Никогда он раньше не предполагал в своей слабой подруге такой гранитной решимости. Первый, и второй, и третий год тюрьмы он уверен был, что Надя сменится, перебросится, рассеется, отойдёт. Но этого не случилось. И вот уже Глеб стал понимать её

ожидание как единственно-возможное. Так ощущал, будто для Нади стало ждать уже и нетрудно.

Ещё с краснопресненской пересылки, после полугода следствия впервые получив право на письмо,— обломком грифеля на истрёпанной обёрточной бумаге, сложенной треугольником, без марки, Глеб написал:

«Любимая моя! Четыре года войны ты ждала меня — не кляни, что ждала напрасно: теперь будут ещё десять лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать наше недолгое счастье. А ты будь свободной с этого дня. Нет нужды, чтобы гибла и твоя жизнь. Выходи замуж.»

Но изо всего письма Надя поняла только одно:

«Значит ты меня разлюбил! Как ты можешь отдать меня другому?»

Он вызывал её к себе даже на фронт, на заднепровский плацдарм — с поддельным красноармейским билетом. Она добиралась через проверки заградотрядов. На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денёчки своего разворованного счастья.

Но армии проснулись, пошли в наступление, и Наде пришлось ехать домой — опять в той же неуклюжей гимнастёрке, с тем же поддельным красноармейским билетом. Полуторка увозила её по лесной просеке, и она из кузова ещё долго-долго махала мужу.

...На остановках грудились беспорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. И какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал:

— На Котельническую набережную идёт? На Котельническую?!..

— Нельзя! Нельзя! — махал ему рукой надзиратель.

— Идё-от! Садись, паря, подвезём! — кричал Иван-стеклодув и громко смеялся. Иван был *бытовик*, и на свидание запросто ездил каждый месяц.

Засмеялись и все зэки. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что во многих случаях жизни бывает нельзя — и соскочил. И тогда отхлынул пяток ещё набежавших пассажиров.

Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево. Значит, ехали не в Бутырки, как обычно. Очевидно, в Таганку.

...Идя на запад с фронта, Нержин в разрушенных домах, в разорённых городских книгохранилищах, в каких-то сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещённые, проклятые

и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый немой набат.

Это в «Девяносто третьем», у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них — смятение, все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он — безмолвие.

Так каким-то странным слухом ещё с отрочества слышал Нержин этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей.

В численном интегрировании дифференциальных уравнений безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно в те годы, когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чьё-то большое дорогое тело.

Но ещё было тёплое то место, где оно лежало. И, никем никогда на него не возложенное, Нержин принял на себя бремя: по этим ещё не улетевшим частицам тепла воскресить мертвеца и показать его всем, каким он был; и разуверить, каким он не был.

Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчёт процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили.

И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он знал по фамилиям наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им с четвёртого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год.

Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро. Всего лишь девятиклассником был Глеб, когда декабрьским утром протиснулся к газетной витрине и прочёл, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова — Сталин, и никто другой. И одиночество ознобило его: взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой вещи.

И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край — что в ухе визжало!

Но со столба перекатывал актёрский голос диктора — и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами.

А русские писатели, смевшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе-приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножию трона свои угодливые песнопения.

Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат! — и неисторжимо укоренялось в нём решение: узнать и понять! откопать и напомнить!

И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую и самую Главную тюрьму страны — и там найдёт следы умерших и ключ к разгадке.

Провинциал, он ещё не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка.

И что если желание наше велико — оно обязательно исполнится.

Шли годы. Всё сбылось и исполнилось в жизни Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем не легко и не приятно. Он был схвачен и привезен — именно *туда,* и встретил тех самых, ещё уцелевших, кто не удивлялся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рассказать.

Всё сбылось и исполнилось, но за этим — не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни даже — любви к жене. Ему казалось — лучшей жены не может быть для него на всей земле, и вместе с тем — вряд ли он любил её. Одна большая страсть, занявши раз нашу душу, жестоко измещает всё остальное. Двум страстям нет места в нас.

...Автобус продребезжал по мосту и ещё шёл по каким-то кривым неласковым улицам.

Нержин очнулся:

— Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не понимаю.

Герасимович, отрываясь от таких же невесёлых мыслей, ответил:

— Подъезжаем к Лефортовской.

Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник Климентьев — молодо, без шинели и шапки.

Было, правда, маломорозно. Под густым облачным небом распростёрлась безветренная зимняя хмурь.

По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядком (только двое в задних углах всё так же сидели с пистолетами в карманах) — и арестанты, не имея време-

ни оглянуться на главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником в пристройку.

Там оказался длинный узкий коридор, а в него — семь распахнутых дверей. Подполковник шёл впереди и распоряжался решительно, как в сражении:

— Герасимович — сюда! Лукашенко — в эту! Нержин — третья!..

И заключённые сворачивали по одному.

И так же по одному распределил к ним Климентьев семерых надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер.

Все как одна комнатки были — следственные кабинеты: и без того дававшее мало света ещё обрешеченное окно; кресло и стол следователя у окна; маленький столик и табуретка подследственного.

Кресло следователя Нержин перенёс ближе к двери и поставил для жены, а себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить. На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то шесть месяцев следствия.

Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как по коридору простучали лёгкие каблучки жены, раздался её милый голос:

— Вот в эту?

И она вошла.

38

Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнажённых корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фронта — а Глеб стоял вдали на просеке, и просека, всё длиннее, темнее, у́же, поглощала его — кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается?

Ждать мужа с войны — всегда тяжело, но тяжелее всего — в последние месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоёвано человеком.

Именно тут и прекратились письма от Глеба.

Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам — все молчали, как заговоренные.

Но и похоронное извещение не приходило.

Весной сорок пятого года что ни вечер — лупили в небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали города — Кёнигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу.

А писем — не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться! Если он жив и вернётся — он упрекнёт её в упущенном времени! И всеми днями она готовилась

в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и диалектический материализм — и только ночью плакала.

Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату.

Это должно было значить — убит.

И тотчас же кончилась четырёхлетняя война! И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной.

В военкомате ей не сказали — убит, сказали — пропал без вести. Смелое на аресты, государство было стыдливо на признания.

И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы — может быть, заслан в глубокую разведку? Может быть, выполняет *спецзадание*? Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было.

Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило молоденькой вдове.

А она всё так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернётся.

И прошло четыре месяца после войны. И пора было признать, что Глеба уже нет на земле. И пришёл потрёпанный треугольник с Красной Пресни: «Единственная моя! Теперь будет ещё десять лет!»

Близкие не все могли её понять: она узнала, что муж в тюрьме — и осветилась, повеселела. Какое счастье, что не двадцать пять и не пятнадцать! Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются! В новом положении была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю рядовую студенческую женитьбу.

Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее — новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве — значит, надо было ехать в Москву и спасать его! (Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасать.)

Но — ехать? Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно — в Москву. Сперва, как и в тридцатые годы, гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплёванном полу или совать пугливую взятку у задних дверец кассы.

Надя изобрела — поступать в недостижимую московскую аспирантуру. И, переплатив за билет втрое, самолётом улетела

в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги.

Это была та нравственная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и всё нам удаётся. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка...

Это было чудо, но и это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке Красная Пресня! Свидания не дали. Свиданий вообще не давали: все каналы ГУЛага были перенапряжены — лился из Европы поток арестантов, поражавший воображение.

Но у досчатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгновенным просветлённым загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: Глеб — здесь!

Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстаётся со своей «вольной» одеждой и вживается в серо-чёрную трёпаную одежду зэка. У каждого оставалось ещё что-нибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звёздочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шёлковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были наголо стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все худы, некоторые до изнурения.

Надя не обегала их взглядом — она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба: он шёл с расстёгнутым воротником в шерстяной гимнастёрке, ещё сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди — невылинявшие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы столь манящие арестанта, ни по сторонам — на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве). Такой же жёлтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа — седобородого статного старика.

Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа — но он не слышал за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы ещё и ещё впитывать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниёт в тёмных вонючих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом! Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И прозрела боль за себя — что он *её* обездолил, что жертва — не он, а *она*.

И всё это был один только миг!.. На неё закричал конвой, страшные дрессированные человекоядные псы прыгали на свор-

ках, напруживались и лаяли с докрасна налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск — и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещённое пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны — та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором.

Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни, этой московской окраины, знаменитой своей борьбою за свободу, не могли того видеть,— эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку; конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Сов-Гавань, в Норильск, в иркутские, читинские, красноярские, новосибирские, среднеазиатские, карагандинские, джезказганские, прибалхашские, иртышские, тобольские, уральские, саратовские, вятские, вологодские, пермские, сольвычегодские, рыбинские, потьминские, сухобезводнинские и ещё многие безымянные мелкие лагеря. Маленькими же партиями, по сто и по двести человек, их отвозили днём в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Павшино, в Ховрино, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами — во многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплёткой колючей проволоки они строили достойную столицу непобедимой державы.

Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду: случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве — в маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МГБ и МВД — полукруглый дом на Калужской заставе.

Когда Надя неслась к нему туда на первое свидание — ей было так, будто уже наполовину его освободили.

По Большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические; автобусы и троллейбусы останавливались у конца решётки Нескучного сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходную строительства; высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде — но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это — зэки.

А кто догадывался — тот молчал.

Стояло время дешёвых денег и дорогого хлеба. Дома продавались вещи, и Надя носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали не часто: Глеб не вырабатывал нормы.

На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел,

целовал руки жены и следил за искрами её глаз. Это была ему не тюрьма! Лагерная жизнь, своей беспощадностью превосходящая всё, что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его. Но он сознательно вёл себя к той грани, за которой себя не жалко, и с упорством повторял:

— Милая! Ты не знаешь, за что берёшься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять — но чем ближе будет конец, тем трудней тебе будет его дождаться. Последние годы будут самые невыносимые. Детей у нас нет. Так не губи свою молодость — оставь меня! Выходи замуж.

Он предлагал, не вполне веря. Она отрицала, веря не вполне:

— Ты ищешь предлога освободиться от меня?

Заключённые жили в том же доме, который строили, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие передачи, сойдя с троллейбусов, видели поверх забора два-три окна мужского общежития и толпящихся у окон мужчин. Иногда там вперемешку с мужчинами показывались лагерные *шалашовки*. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене:

— Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай последнюю передачу — и уваливай! Ещё раз на вахте тебя увижу — морду расцарапаю!

Приближались первые послевоенные выборы в Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно, словно действительно кто-то мог за кого-то не проголосовать. Держать Пятьдесят Восьмую статью в Москве и хотелось (работники были хороши) и кололось (притуплялась бдительность). Чтобы напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные слухи о скорых этапах на Север. Заключённые пекли в дорогу картошку, у кого была.

Оберегая энтузиазм избирателей, перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нём зашитую записочку:

«Возлюбленный мой! Сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури ни пронеслись над нашими головами (Надя любила выражаться возвышенно), твоя девочка будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу «статью» отправят. Ты будешь в далёких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов, украдкою брошенных через проволоку. Если в той безысходно-мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть твоей души — что ж, я смирюсь, я разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю — изменяй мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты сохранил бодрость! Я не боюсь: ведь всё равно ты вернёшься ко мне, правда?»

39

Ещё не узнав и десятой доли Москвы, Надя хорошо узнала расположение московских тюрем — эту горестную географию русских женщин. Тюрьмы оказались в Москве во множестве и расположены по столице равномерно, продуманно, так что от каждой точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко. То с передачами, то за справками, то на свидания, Надя постепенно научилась распознавать всесоюзную Большую Лубянку и областную Малую, узнала, что следственные тюрьмы есть при каждом вокзале и называются КПЗ, побывала не раз и в Бутырской тюрьме, и в Таганской, знала, какие трамваи (хоть это и не написано на их маршрутных табличках) идут к Лефортовской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой Матросская Тишина, в революцию упразднённой, а потом восстановленной, она и сама жила рядом.

С тех пор, как Глеба вернули из далёкого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение — спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками,— Надя опять стала изредка видеться с мужем. Но не полагалось жёнам знать, где именно содержатся их мужья,— и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы.

Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе; арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе, жёны сторожили на тротуаре, и ещё до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около неё, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринуждённо, сидели рядышком, и слушать разговоры четырёх пар приходился один надзиратель.

Бутырки — эта, по сути, тоже мягкая весёлая тюрьма, казалась жёнам леденящей. Заключённым, попадавшим в Бутырки с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины: в боксах не было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под *намордники,* днём лежать на нарах, а под нарами даже спать. Ещё было мягко в Бутырках: можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросы табак, а хлеб в передачах резали только на четыре части, не на мелкие кусочки.

Жёны не знали обо всех этих поблажках. Они видели крепостную стену в четыре человеческих роста, протянувшуюся на квар-

тал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому ж ворота необычайные: медленно-раздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для воронков. А когда женщин пропускали на свидание, то вводили сквозь каменную кладку двухметровой толщины и вели меж стен в несколько человеческих ростов в обход страшной Пугачёвской башни. Свидания давали: обыкновенным зэкам — через две решётки, между которыми ходил надзиратель, словно и сам посаженный в клетку; зэкам же высшего круга, шарашечным,— через широкий стол, под которым глухая разгородка не допускала соприкасаться ногами и сигналить, а у торца стоял надзиратель, недреманной статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее в Бутырках было, что мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы, на полчаса они как бы выступали их этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались; уверяли, что живётся им хорошо, ничего им не надо,— и опять уходили в эти стены.

В Лефортове же свидание было сегодня первый раз.

Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде на здание пристройки.

В голой комнате с двумя длинными скамьями и голым столом уже ожидало несколько женщин. На стол были выставлены плетёная корзинка и базарные сумки из кирзы, как видно полные всё-таки продуктами. И хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде, пришедшей с невесомым «хворостом» в кулёчке, стало обидно и совестно, что даже раз в год она не может побаловать мужа вкусненьким. Этот хворост, рано вставши, когда в общежитии ещё спали, она жарила из оставшихся у неё белой муки и сахара на оставшемся масле. Подкупить же конфет или пирожных она уже не успела, да и денег до получки оставалось мало. Со свиданием совпал день рождения мужа — а подарить было нечего! Хорошую книгу? но невозможно и это после прошлого свидания: тогда Надя принесла ему чудом достанную книжечку стихов Есенина. Такая точно у мужа была на фронте и пропала при аресте. Намекая на это, Надя написала на титульном листе:

«Так и всё утерянное к тебе вернётся.»

Но подполковник Климентьев при ней тут же вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что никакого *текста* в передачах быть не может, текст должен идти отдельно через цензуру. Узнав, Глеб проскрежетал и попросил не передавать ему больше книг.

Вокруг стола сидело четверо женщин, из них одна молодая с трёхлетней девочкой. Никого из них Надя не знала. Она

поздоровалась, те ответили и продолжали оживлённо разговаривать.

У другой же стены на короткой скамье отдельно сидела женщина лет тридцати пяти — сорока в очень не новой шубе, в сером головном платке, с которого ворс начисто вытерся, и всюду обнажилась простая клетка вязки. Она заложила ногу за ногу, руки свела кольцом и напряжённо смотрела в пол перед собой. Вся поза её выражала решительное нежелание быть затронутой и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на передачу у неё не было ни в руках, ни около.

Компания готова была принять Надю, но Наде не хотелось к ним — она тоже дорожила своим особенным настроением в это утро. Подойдя к одиноко сидящей женщине, она спросила её, ибо негде было на короткой скамье сесть поодаль:

— Вы разрешите?

Женщина подняла глаза. Они совсем не имели цвета. В них не было понимания — о чём спросила Надя. Они смотрели на Надю и мимо неё.

Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила голову набок, ушла щекой в свой лжекаракулевый воротник. И тоже замерла.

Она хотела бы сейчас ни о чём другом не слышать, и ни о чём другом не думать, как только о Глебе, о разговоре, который вот будет у них, и о том долгом, что нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу будущего, что было не он, не она — вместе он и она, и называлось по обычаю затёртым словом «любовь».

Но ей не удавалось выключиться и не слышать разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят мужей — что утром дают, что́ вечером, как часто стирают им в тюрьме бельё — откуда-то всё это знали! неужели тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечисляли, какие продукты и по сколько грамм или килограмм принесли в передачах. Во всём этом была та цепкая женская забота, которая делает семью — семьёй и поддерживает род человеческий. Но Надя не подумала так, а подумала: как это оскорбительно — обыденно, жалко разменивать великие мгновения! Неужели женщинам не приходило в голову задуматься лучше — а кто смел заточить их мужей? Ведь мужья могли бы быть и не за решёткой и не нуждаться в этой тюремной еде!

Ждать пришлось долго. Назначено им было в десять, но и до одиннадцати никто не появлялся.

Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла седьмая женщина, уже седоватая. Надя знала её по одному из прошлых свиданий — то была жена гравёра, его третья и она же первая жена. Она сама охотно рассказывала свою историю: мужа она всегда боготворила и считала великим талантом. Но как-то он

заявил, что недоволен её психологическим комплексом, бросил её с ребёнком и ушёл к другой. С той, рыжей, он прожил три года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в плен, но в Германии жил свободно и там, увы, у него тоже были увлечения. Когда он возвращался из плена, его на границе арестовали и дали ему десять лет. Из Бутырской тюрьмы он сообщил той, рыжей, что сидит, что просит передач, но рыжая сказала: «Лучше б он изменил мне, чем Родине! мне б тогда легче было его простить!» Тогда он взмолился к ней, к первенькой — и она стала носить ему передачи, и ходить на свидания — и теперь он умолял о прощении и клялся в вечной любви.

Наде отозвалось, как при этом рассказе жена гравёра с горечью предсказывала: должно быть, если мужья сидят в тюрьме, то вернее всего — изменять им, тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они будут думать — мы никому не были нужны это время, нас просто никто не взял. Отозвалось, потому что сама Надя думала так иногда.

Пришедшая и сейчас повернула разговор за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах с адвокатами в юридической консультации на Никольской улице. Консультация эта долго называлась «Образцовой». Адвокаты её брали с клиентов многие тысячи и часто посещали московские рестораны, оставляя дела клиентов в прежнем положении. Наконец в чём-то они где-то не угодили. Их всех арестовали, всем нарезали по десять лет, сняли вывеску «Образцовая», но уже в качестве необразцовой консультация наполнилась новыми адвокатами, и те опять начали брать многие тысячи, и опять оставляли дела клиентов в том же положении. Необходимость больших гонораров адвокаты с глазу на глаз объясняли тем, что надо делиться, что они берут *не только себе,* что дела проходят через много рук. Перед бетонной стеной закона беспомощные женщины ходили как перед четырёхростовой стеной Бутырок — взлететь и перепорхнуть через неё не было крыльев, оставалось кланяться каждой открывающейся калиточке. Ход судебных дел за стеной казался таинственными проворотами грандиозной машины, из которой — вопреки очевидности вины, вопреки противоположности обвиняемого и государства, могут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакивать счастливые выигрыши. И так не за выигрыш, но за мечту о выигрыше, женщины платили адвокатам.

Жена гравёра неуклонно верила в конечный успех. Из её слов было понятно, что она собрала тысяч сорок за продажу комнаты и пожертвований от родственников и все эти деньги переплатила адвокатам; адвокатов сменилось уже четверо, подано было три просьбы о помиловании и пять обжалований по существу, она следила за движением всех этих жалоб, и во многих местах ей

обещали благоприятное рассмотрение. Она по фамилиям знала всех дежурных прокуроров трёх главных прокуратур и дышала атмосферой приёмных Верховного Суда и Верховного Совета. По свойству многих доверчивых людей, а особенно женщин, она переоценивала значение каждого обнадёживающего замечания и каждого невраждебного взгляда.

— Надо *писать!* Надо всем писать! — энергично повторяла она, склоняя и других женщин ринуться по её пути.— Мужья наши страдают. Свобода не придёт сама. Надо писать!

И этот рассказ тоже отвлёк Надю от её настроения и тоже больно задел. Стареющая жена гравёра говорила так воодушевлённо, что верилось: она опередила и обхитрила их всех, она непременно добудет своего мужа из тюрьмы! — И рождался упрёк: а я? почему я не смогла так? почему я не оказалась такой же верной подругой?

Надя только один раз имела дело с «образцовой» консультацией, составила с адвокатом только одну просьбу, заплатила ему только две с половиной тысячи — и, наверное, мало: он обиделся и ничего не сделал.

— Да,— сказала она негромко, как бы почти про себя,— всё ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?

За столом её не услышали в общем разговоре. Но соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя толкнула её или оскорбила.

— А что можно сделать? — враждебно отчётливо произнесла она.— Ведь это всё бред! Пятьдесят Восьмая это — *хранить вечно!* Пятьдесят Восьмая это — не преступник, а *враг!* Пятьдесят Восьмую не выкупишь и за миллион!

Лицо её было в морщинах. В голосе звенело отстоявшееся очищенное страдание.

Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тоном, извинительным за возвышенность своих слов, она возразила:

— Я хотела сказать, что мы не отдаём себя до конца... Ведь жёны декабристов ничего не жалели, бросали, шли... Если не освобождение — может быть, можно выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за Полярный круг — я бы поехала за ним, всё бросила...

Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на Надю:

— У вас есть ещё силы ехать в тайгу?? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик согласись меня взять замуж — и я бы пошла.

— И вы могли бы бросить?.. За решёткой?..

Женщина взяла Надю за рукав:

— Милая! Легко было любить в девятнадцатом веке! Жёны

декабристов — разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров — вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать своё замужество как заразу? — чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире — их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой — шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сёстры — толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества! Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах. Уезжая с Сибирь в собственных дорогих каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные девять квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик, и нет кастрюли, и чёрного хлеба нет!.. Это красиво сказать — в тайгу! Вы, наверно, ещё очень недолго ждёте!

Её голос готов был надорваться. Слёзы наполнили надины глаза от страстных сравнений соседки.

— Скоро пять лет, как муж в тюрьме,— оправдывалась Надя.— Да на фронте...

— Эт-то не считайте! — живо возразила женщина.— На фронте — это не то! Тогда ждать легко! Тогда ждут — все. Тогда можно открыто *говорить,* читать письма! Но если ждать, да ещё скрывать, а??

И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснять не надо.

Уже наступила половина двенадцатого. Вошёл, наконец, подполковник Климентьев и с ним толстый недоброжелательный старшина. Старшина стал принимать передачи, вскрывая фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запеченную записку, или деньги, или яд. Климентьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчётливо:

— Внимание! Порядок известен? Свидание — тридцать минут. Заключённым ничего в руки не передавать. От заключённых ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключённых о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается уголовным кодексом. Кроме того с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении — свидание немедленно прекращается.

Присмиревшие женщины молчали.

— Герасимович Наталья Павловна! — вызвал Климентьев первой.

Соседка Нади встала и, твёрдо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.

40

И всё-таки, хотя и всплакнуть пришлось, ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника.

Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг его и один её, но всё взликовало в ней: он показался так же близок! он к ней не изменился!

Отставной гангстер с бычьей шеей в мягком сером костюме приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться.

— Да дайте, я хоть за руку!— возмутился Нержин.

— Не положено,— ответил надзиратель, свою тяжёлую челюсть для выпуска слов приопуская лишь несколько.

Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустилась в поставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезало мочало. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда сами.

— Ну, так поздравляю тебя! — сказала Надя, стараясь казаться оживлённой.

— Спасибо.

— Такое совпадение — именно сегодня!

— Звезда...

(Они привыкали говорить.)

Надя делала усилие, чтоб не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтоб расшатанная табуретка не защемляла его.

Маленький столик подследственного был между мужем и женой.

— Чтоб не возвращаться: я там тебе принесла погрызть немного хвороста, знаешь, как мама делает? Прости, что ничего больше.

— Глупенькая, и этого не нужно! Всё у нас есть.

— Ну, хворосту-то нет? А книг ты не велел... Есенина читаешь?

Лицо Нержина омрачилось. Уже больше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещён.

— Читаю.

(Всего полчаса, разве можно уходить в подробности!)

Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее — нетоплено, Надя расстегнула и распахнула воротник — ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, ещё и новую блузку, и чтоб оранжевый

цвет блузки оживил её лицо, наверно землистое в здешнем тусклом освещении.

Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену — лицо, и горло, и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом — самым важным в свидании, и как бы выдвинулась навстречу ему.

— На тебе кофточка новая. Покажи больше.

— А шубка? — состроила она огорчённую гримасу.

— Что шубка?

— Шубка — новая.

— Да, в самом деле,— понял, наконец, Глеб.— Шуба-то новая! — И он обежал взглядом чёрные завитушки, не ведая даже, что это — каракуль, там уж поддельный или истинный, и будучи последним человеком на земле, кто мог бы отличить пятисотрублёвую шубу от пятитысячной.

Она полусбросила шубку теперь. Он увидел её шею, по-прежнему девически-точёную, неширокие слабые плечи, и, под сборками блузки,— грудь, уныло опавшую за эти годы.

И короткая укорная мысль, что у неё своей чередой идут новые наряды, новые знакомства,— при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью, что скаты серого тюремного воронка раздавили и её жизнь.

— Ты — худенькая,— с состраданием сказал он.— Питайся лучше. Не можешь — лучше?

«Я — некрасивая?» — спросили её глаза.

«Ты — всё та же чудная!» — ответили глаза мужа.

(Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом...)

— Я питаюсь,— солгала она.— Просто жизнь беспокойная, дёрганая.

— В чём же, расскажи.

— Нет, ты сперва.

— Да я — что? — улыбнулся Глеб.— Я ничего.

— Ну, видишь...— начала она со стеснением.

Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрят на прохожих.

Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полунамёков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон.

— А костюм — твой? — перепрыгнула она.

Нержин прижмурился и комично потряс головой.

— Где мой? Потёмкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает.

— Не могу,— по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу.

— Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте.

Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула.

— А мы — нет.

Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены, но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, чтобы подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал:

— Вот так — всюду препоны.

«Ты — моя? Моя?» — спрашивал его взгляд.

«Я — та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь!» — лучились её серые глаза.

— А на работе с препонами — как? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?

— Нет.

— Так защитила диссертацию?

— Тоже нет.

— Как же это может быть?

— Вот так...— И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло.— Диссертацию никто в три года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. Например одна аспирантка два года писала диссертацию «Проблемы общественного питания», а ей тему отменили...

(Ах зачем? Это совсем не важно!..)

— ...У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные...

(*Борьба с низкопоклонством* — но разве тут объяснишь?..)

— ...и потом светокопии, фотографии... Ещё как с переплётом будет — не знаю. Очень много хлопот...

— Но стипендию тебя платят?

— Нет.

— На что ж ты живёшь?!

— На зарплату.

— Так ты работаешь? Где?

— Там же, в университете.

— Кем?

— Внештатная, призрачная должность, понимаешь? Вообще, всюду птичьи права... У меня и в общежитии птичьи права. Я, собственно...

Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции её давно должны были выписать со Стромынки и совершенно по ошибке продлили прописку ещё на полгода. Это

могло обнаружиться в любой день! Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ...

— ...Я ведь и сегодняшнее свидание получила... это случилось так...

(Ах, да в полчаса не расскажешь!..)

— Подожди, об этом потом. Я хочу спросить — препон, связанных со мной,— нет?

— И очень жёсткие, милый... Мне дают... хотят дать спецтему... Я пытаюсь не взять.

— Это как — спецтему?

Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если б он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц.

Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило: новая, ещё более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там: «муж осуждён по пятьдесят восьмой статье», то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать — «муж пропал без вести», всё равно надо будет написать его фамилию — и стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения её будут судить. И Надя выбрала третью возможность, но убегая сейчас от неё под внимательным взором Глеба, стала оживлённо рассказывать:

— Ты знаешь, я — в университетской самодеятельности. Посылают всё время играть в концертах. Недавно играла в Колонном зале в один даже вечер с Яковом Заком.

Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить.

— В общем, был вечер профсоюза, так случайно получилось,— ну, а всё-таки... И ты знаешь, смех какой — моё лучшее платье забраковали, говорят на сцену нельзя выходить, звонили в театр, привезли другое, чу́дное, до пят.

— Поиграла — и сняли?

— У-гм. Вообще, девчёнки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлекаться *чем*-нибудь, чем *кем*-нибудь...

Это — не между прочим было, это звонко она сказала, это — был удачно сформулированный её новый принцип! — И она выставила голову, ожидая похвалы.

Нержин смотрел на жену благодарно и беспокойно. Но этой похвалы, этого подбодрения тут не нашёлся сказать.

— Подожди, так насчёт спецтемы...

Надя сразу потупилась, обвисла головой.

— Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай этого к сердцу — nicht wahr! — ты когда-то настаивал, чтобы мы... развелись...— совсем тихо закончила она.

(Это и была та третья возможность,— одна, дающая путь в жизни!..— чтобы в анкете стояло не «разведена», потому что анкета всё равно требовала фамилию бывшего мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже *их* годы рождения, занятия и адрес,— а чтоб стояло «не замужем». А для этого — провести развод, и тоже таясь, в другом городе.)

Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на её пальце нет.

— Да, конечно,— очень решительно подтвердил он.

Этой самой рукою, без кольца, Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепёшку чёрствое тесто.

— Так вот... ты не будешь против... если... придётся... это сделать?..— Она подняла голову. Её глаза расширились. Серая игольчатая радуга её глаз светилась просьбой о прощении и понимании.— Это — псевдо,— одним дыханием, без голоса добавила она.

— Молодец. Давно пора! — убеждённо твёрдо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убеждённости, ни твёрдости — отталкивая на после свидания всё осмысление происшедшего.

— Может быть и не придётся! — умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту выглядела усталой, замученной.— Я — на всякий случай, чтобы договориться. Может быть не придётся.

— Нет, почему же, ты права, молодец,— затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь было в пору опрокинуть на неё.— Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчёт. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока!

Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чём нельзя было никак написать в письме, он должен был высказать сейчас.

Но на лице Нади появилось боязливое выражение.

— Срок — это условность,— объяснял Глеб жёстко и быстро, делая ударения на словах невпопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать.— Он может быть повторён по спирали. История богата примерами. А если даже и чудом он кончится — не надо думать, что мы вернёмся с тобой в наш город к нашей прежней жизни. Вообще, пойми, уясни, затверди: в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что

я — не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таёжном посёлке, в красноярской тайге, в низовьях Ангары! К этой жизни одной только и надо готовиться.

Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся фразам.

Но Глеб забыл — нет, не забыл, он не понимал (как все они не понимали), что привыкшим ходить по тёплой серой земле — нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изощрённо, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был — светлая холодная бесконечность, для неё же — оставалось двести шестьдесят четыре недели, шестьдесят один месяц, пять лет с небольшим — уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушёл на войну и не вернулся.

По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла в пепельный страх.

— Нет, нет! — скороговоркой воскликнула она.— Не говори мне этого, милый! — (Она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась.) — Не отнимай у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу этому верить! Да это просто не может быть!.. Или ты подумал, что я действительно тебя брошу?!

Её верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность.

— Я верю, я верю, Надюшенька! — переменился в голосе Глеб.— Я так и понял.

Она смолкла и осела после напряжения.

В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый чёрный подполковник, зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя.

Гангстер с шеей пикадора нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырёх шагах от надиной спины, они обменялись фразой-двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить:

— Сологдину, жену — знаешь?

Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись:

— Да.

— И где живёт?

— Да.

— Ему свиданий не дают, скажи ей: он...

Гангстер вернулся.

— ...любит! — преклоняется! — боготворит! — очень раздельно уже при нём сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми.

— Любит-преклоняется-боготворит,— с печальным вздохом повторила Надя. И пристально посмотрела на мужа. Когда-то

наблюдённого с женским тщанием, ещё по молодости не полным, когда-то как будто известного — она увидела его совсем новым, совсем незнакомым.

— Тебе — идёт,— грустно кивнула она.

— Что — идёт?

— Вообще. Здесь. Всё это. Быть здесь,— говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель: этому человеку идёт быть в тюрьме.

Но такой ореол не приближал его к ней. Отчуждал.

Она тоже оставляла всё узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что́ выведется изо всего, но опережающим сердцем искала в нём сейчас — слабости, усталости, болезни, мольбы о помощи,— того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, прождать хоть ещё вторые десять лет и приехать к нему в тайгу.

Но он улыбался! Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на Красной Пресне! Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чьём сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно, он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым, глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины?

Впрочем, Надя ещё не подумала этого всего.

А Глеб не догадался, близ какой мысли она проходила.

— Пора кончать! — сказал в дверях Климентьев.

— Уже? — изумилась Надя.

Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же ещё было самого важного в том списке «сказать», который он вытвердил наизусть к свиданию.

— Да! Не удивляйся, если меня отсюда увезут, далеко, если прервутся письма совсем.

— А могут? Куда?? — вскричала Надя.

Такую новость — и только сейчас!!

— Бог знает,— пожав плечами, как-то значительно произнёс он.

— Да ты уж не стал ли верить в бога??!

(Они ни о чём не поговорили!!)

Глеб улыбнулся:

— А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон, Эйнштейн...

— Кому было сказано — фамилий не называть! — гаркнул надзиратель.— Кончаем, кончаем!

Муж и жена поднялись разом и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве ещё через

год, чтобы их ещё раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:

— Делай во всём, как тебе лучше. А я...

Не договорил.

Они смотрелись глаза в глаза.

— Ну, что это? что это? Лишаю свидания! — мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.

Нержин оторвался.

— Да лишай, будь ты неладен,— еле слышно пробормотал он.

Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощанье мужу.

И так скрылась за дверным косяком.

41

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень.

Надзиратель им попался смирный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями.

Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы свиданцы поцеловались, он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдёт. Но он сам остерегался своих собственных надзирателей и собственных заключённых: кой-кто из них состоял на осведомительной службе и мог на Климентьева же *капнуть*.

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха — бледный поцелуй, каким может наградить умерший, привидевшийся нам во сне.

И — сели, разделённые столиком подследственного с покоробленной фанерной столешницей.

Этот неуклюжий маленький столик имел историю богаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним сидели, рыдали и млели от ужаса, боролись с опустошающей бессонницей, говорили гордые слова или подписывали маленькие доносы на ближних арестованные мужчины и женщины. Им обычно не давали в руки ни карандашей, ни перьев — разве только для редких

собственноручных показаний. Но и писавшие показания успели оставить на покоробленной поверхности стола свои метки — те странные волнистые или угольчатые фигуры, которые рисуются бессознательно и таинственным образом хранят в себе сокровенные извивы души.

Герасимович смотрел на жену.

Первая мысль была — какая она стала непривлекательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ — морщины, кожа лица — дряблая, Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была ещё довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника проредился, полёг, а платок — платок был с незапамятных времён, кажется ещё в Комсомольске-на-Амуре его купили по ордеру — и в Ленинграде она ходила в нём к Невке по воду.

Но подлую мысль, что жена некрасива, исподнюю мысль существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось всё, что носила его память. Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непонятной душой, со своими короткими воспоминаниями, поверхностным опытом — могла бы заслонить жену?

Наташе ещё не было восемнадцати лет, когда они познакомились в одном доме на Средней Подъяческой, у Львиного мостика, при встрече тысяча девятьсот тридцатого года. Через шесть дней будет двадцать лет с тех пор. Теперь, обернувшись, ясно видно, чтó были для России год Девятнадцатый или Тридцатый. Но всякий Новый год видишь в розовой маске, не представляешь, чтó свяжет народная память со звучаньем его числа. Так верили и в Тридцатый.

А в тот-то год Герасимовича первый раз и арестовали. За — *вредительство*...

Началом своей инженерной работы Илларион Павлович застиг то время, когда слово «инженер» равнялось слову «враг» и когда пролетарской славой было подозревать в инженере — вредителя. А тут ещё воспитание заставляло молодого Герасимовича кому надо и кому не надо предупредительно кланяться и говорить «извините, пожалуйста» очень мягким голосом. А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал.

Но как ни выкраивали ему дéла, едва-едва натянули на пять лет. И на Амуре сейчас же расконвоировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать женой.

Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене не приснился Ленинград. И вот они собрались уже вернуться — в тридцать пятом. А тут как раз повалили навстречу, кировский поток...

Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На её глазах когда-то менялось это лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие, а то и жестокие вспышки. Илларион перестал раскланиваться и перестал частить «извините». Его всё время попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на должность не по образованию — и они ездили с места на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына. И, уже на всё рукой махнув, рискнули вернуться в Ленинград. А вышло это — в июне сорок первого года...

Тем более не смогли они сносно устроиться тут. Анкета висела над мужем. Но, призрак лабораторный, он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес осеннюю копку траншей. А с первым снегом стал — могильщиком.

Зловещая эта профессия в осаждённом городе была самой нужной и самой доходной. Чтобы почтить в последний раз уходящих, осталые в живых отдавали нищий кубик хлеба.

Нельзя было без содрогания есть этот хлеб! Но оправданье Илларион видел такое: сограждане нас не жалели — не будем жалеть и мы!

Супруги выжили. Чтобы ещё до конца блокады Иллариона арестовали за *намерение* изменить родине. В Ленинграде и многих брали так — за намерение, потому что нельзя было прямо дать измену тому, кто не был даже под оккупацией. А уж Герасимович, в прошлом лагерник, да приехал в Ленинград в начале войны — значит, с намерением попасть к немцам. Арестовали бы и жену, да она при смерти была тогда.

Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа — но, странно, не видела на нём следов тяжёлых лет. С обычной умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающее пенсне. Щёки были не впалые, морщин — никаких, костюм — дорогой, галстук — тщательно повязан.

Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме.

И первая её недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живётся, конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены.

Но она подавила в себе эту злую мысль.

И слабым голосом спросила:

— Ну, как там у тебя?

Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить:

— Ну, как там у тебя?

И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам его ума распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне,

в следственных одиночках, а теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:

— Ничего...

Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд неудержимой струёй просыпались в стеклянное горло Времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб,— а Наталья Павловна спросила:

— Ты о свидании — когда узнал?

— Позавчера. А ты?

— Во вторник... Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе.

— По отчеству?

— Да.

Когда они были женихом и невестой, и на Амуре тоже,— их все принимали за брата и сестру. Было в них то счастливое внешнее и внутреннее сходство, которое делает мужа и жену больше, чем супругами.

Илларион Павлович спросил:

— Как на работе?

— Почему ты спрашиваешь? — встрепенулась она.— Ты знаешь?

— А что?

Он кое-что знал, но не знал, то́ ли он знал, что знала она.

Он знал, что вообще на воле арестантских жён притесняют.

Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три дня, уже извещённая о свидании, она не искала новой работы — ждала встречи, будто могло совершиться чудо, и свидание светом бы озарило её жизнь, указав, как поступать.

На как он мог дать ей дельный совет — он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам?

И решать-то надо было: отрекаться или не отрекаться...

В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из обрешеченного окна — свидание проходило, и надежда на чудо погасала.

И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью — и всё равно ничего не поймёт, и лучше даже его не расстраивать.

А надзиратель отошёл в сторону и рассматривал штукатурку на стене.

— Расскажи, расскажи о себе,— говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для неё и в самые ожесточённые месяцы блокады.

— Ларик! у тебя... зачётов... не предвидится?

Она имела в виду зачёты, как в приамурском лагере — проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.

Илларион покачал головой:

— Откуда зачёты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное — ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние...— он покосился на полуотвернувшегося надзирателя,— ...свойства... весьма нежелательного...

Не мог он высказаться ясней!

Он взял руки жены и щеками слегка тёрся о них.

Да, в обледеневшем Ленинграде он не дрогнул брать пайку хлеба за похороны с того, кто завтра сам будет нуждаться в похоронах.

А теперь бы вот — не мог...

— Грустно тебе одной? Очень грустно, да? — ласково спрашивал он у жены и тёрся щекою о её руку.

Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвётся, она выйдет ничем не обогащённая на Лефортовский вал, на безрадостные улицы — одна, одна, одна... Отупляющая бесцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни горького,— жизнь как серая вата.

— Наталочка! — гладил он её руки.— Если посчитать, сколько прошло за два срока, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три...

— Только три?! — с негодованием перебила она и почувствовала, как голос её задрожал, и она уже не владела им.— Только три?! Для тебя — т о л ь к о! Для тебя прямое освобождение — «свойства нежелательного»! Ты живёшь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за чёрной кожей! А я — у в о л е н а! Мне не на что больше жить! Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного месяца! месяца! Мне лучше — умереть! Соседи меня притесняют как хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали — они знают, что я слова не смею... что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сёстрам, к тёте Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду уже старуха! Я прихожу домой — я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова! Ну, изобрети им что-

нибудь, чтоб они отвязались! Да у тебя есть что-нибудь и сейчас! Спаси меня! Спа-си ме-ня!!

Она совсем не хотела этого говорить, сокрушённое сердце!.. Трясясь от рыданий и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, видавшему много этих слёз.

— Ну, успокойтесь, гражданочка,— виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь.

Лицо Герасимовича перекошенно застыло и слишком заблистало пенсне.

Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.

По прямому тексту инструкции слёзы не запрещались, но в высшем смысле её — не могли иметь места.

42

— Да тут ничего хитрого: хлорную известь разведёшь и кисточкой по паспорту чик, чик... Только знать надо, сколько минут держать — и смывай.

— Ну, а потом?

— А высохнет — ни следа не остаётся, чистенький, новенький, садись и тушью опять корябай — Сидоров или там Петюшин, уроженец села Криуши.

— И ни разу не попадались?

— На этом деле? Клара Петровна... Или может быть... вы разрешите..?

— ?

— ...звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой?

— ...Зовите...

— Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому, что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но второй раз — хо-го! И держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца сорок пятого по конец сорок седьмого,— это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку, но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину! И ещё я лишние хлебные карточки по поддельным справкам получал — и продавал их, и на то жил.

— Но это же... очень нехорошо!

— Кто говорит, что хорошо? Меня заставили, не я это выдумал.

— Но вы могли просто работать.

— «Просто» много не наработаешь. От трудов праведных — палат каменных, знаете? И кем бы я работал? Специальности получить мне не дали... Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка... только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь... просто сочувствующая попалась и открыла мне секрет, что в самой серии моего паспорта, знаете, эти ЖЩ, ЛХ — скрыто указывается, что я был под оккупацией.

— Но вы же не были!

— Да не быть-то не был, но паспорт-то чужой! И пришлось из-за этого новый покупать.

— Где??

— Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете — где! Я ещё и орден Красного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он упёрся — двадцать и двадцать.

— А зачем вам орден?

— А зачем всем ордена? Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас...

— Откуда вы взяли, что у меня холодная?

— Холодная, трезвая, и взгляд такой... умный.

— Ну, вот!..

— Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой.

— За-чем?

— Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она не давала мне делать глупостей.

— Ну, рассказывайте, прошу вас.

— Так на чём я?.. Да! Когда я вышел с Лубянки — меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили: виноват, не виноват — десять в зубы, пять по рогам — и в лагерь.

— Что значит — *по рогам?*

— Ну, намордник пять лет.

— А что значит — *намордник?*

— Боже мой, какая вы необразованная. А ещё дочь прокурора. Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа? «Намордник» значит — кусаться нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать и быть избранным.

— Подождите, кто-то подходит...

— Где? Не бойтесь, это Земеля. Сидите, как сидели, прошу вас! Не отодвигайтесь. Раскройте папку. Вот так, рассматривайте... Я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки —

с кем из ребят буду встречаться, не поеду ли опять к американцам на дачу, да вообще жизни не будет, посадят всё равно. И я их — надул! Попрощался с мамой, ночью из дому ушёл — и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все эти подделки. И два года за Ростиславом Дорониным гнали всесоюзный розыск! А я под чужими именами — в Среднюю Азию, на Иссык-Куль, в Крым, в Молдавию, в Армению, на Дальний Восток... Потом — по маме очень соскучился. Но домой являться — никак нельзя! Поехал в Загорск, поступил на завод каким-то петрушкой, подсобником, мама ко мне по воскресеньям приезжала. Поработал я там недель несколько — проспал, на работу опоздал. В суд! Судили меня!

— Открылось?!

— Ничего не открылось! Под чужой фамилией осудили на три месяца, сижу в колонии, стриженый, а всесоюзный розыск гудит: Ростислав Доронин! волосы русые пышные, глаза голубые, нос прямой, на левом плече родинка. В копеечку им розыск обошёлся! Отбухал я свои три месяца, получил у гражданина начальничка паспорт — и жиманул на Кавказ!

— Опять путешествовать?

— Хм! Не знаю, можно ли вам всё...

— Можно!

— Как это вы уверенно говорите... Вообще-то нельзя. Вы — совсем из другого общества, не поймёте.

— Пойму! У меня жизнь была нелёгкая, не думайте!

— Да, вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите... Правда, хочется вам всё рассказать... В общем, я удрапать хотел. Совсем из этой лавочки.

— Какой лавочки?..

— Ну, из этого, как его, социализма! Уже у меня изжога от него, не могу!

— От социализма?!..

— Да раз справедливости нет — на кой мне этот социализм?

— Ну это с вами так получилось, обидно очень. Но куда ж бы вы поехали? Ведь там — реакция, там — империализм, как бы вы там жили?!

— Да, верно, конечно. Конечно, верно! Да я серьёзно и не собирался. Да это и уметь надо.

— И как же вы опять..?

— Сел? Учиться захотел!

— Вот видите, значит — вас тянуло к честной жизни! Учиться — надо, это — важно. Это — благородно.

— Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом в тюрьмах, в лагерях я обдумал. Чему эти профессора могут научить, если они за зарплату держатся и ждут последней газеты? На

гуманитарном-то факультете? Не учат, а мозги затемняют. Вы ведь на техническом учились?

— Я и на гуманитарном...

— Ушли? Расскажете потом. Да, так вот надо было мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, не трудно его и купить, но — беспечность, вот что нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверно, давно. Взял старый на своё имя аттестат — и подал в университет, только уже в ленинградский, и на факультет — географический.

— А в Москве были на историческом?

— К географии от этих скитаний привязался. Чёртовски интересно! Наездишься — насмотришься... Ну, и что ж? Только походил на лекции с неделю, меня — хоп! — и опять на Лубянку! И теперь — двадцать пять лет! И — в тундру, я ещё не был — практику проходить!

— И вы об этом рассказываете — смеясь?

— А чего ж плакать? Обо всём, Клара, плакать — слёз не хватит. Я — не один. Послали на Воркуту — а там уж таких молодчиков! уголь долбят! Вся Воркута на зэках стоит! Весь Север! Да вся страна одним боком на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора.

— Чья?.. Мне стыдно бывает, я многого не знаю.

— Томаса Мора, дедушки, который «Утопию» написал. Он имел совесть признать, что при социализме неизбежно останутся разные унизительные и особо-тяжёлые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж их поручить? Подумал Мор и догадался: да ведь и при социализме будут нарушители порядка. Вот им, мол, и поручим! Таким образом современный ГУЛаг придуман Томасом Мором, очень старая идея!..

— Я никак не одумаюсь. В наше время — и так жить: подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус... Людей, подобных вам, я нигде в жизни не видела.

— Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут сделать из нас чёрта! Вы же знаете — бытие определяет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». Если милиционер манил меня пальцем — во мне падало сердце. Во всё это врастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику — пока меня второй раз возьмут?

— Не знаю, что оставалось, но и так жить?!.. Я представляю, как это тягостно: вы — постоянно вне общества! вы — какой-то лишний гонимый человек...

— Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и не тягостно. Потому что как по Тезикову базару походишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена продают и к ним удостоверения

незаполненные, так это — где продажный человек работает, а? В какой организации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара, так: я сам — только за честную жизнь, но чтобы все, понимаете? — чтобы все до одного!

— Но если все будут ждать от других, так никогда и не начнётся. Каждый должен...

— Каждый должен, но не каждый делает! Слушайте, Клара, я вам скажу проще. Против чего произошла революция? Против привилегий! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие — в соболя, одни пешкодралом — другие на фаэтонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно?

— Конечно.

— Правильно. Но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а тянутся к ним? И что говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается? Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жёны местных начальников бывают в магазине? Да никогда! Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не только в этот день...

— Да, это ужасно! Это меня саму переворачивало всегда, вы поверите?

— Поверю, конечно. Почему живому человеку не поверить? Скорей поверю, чем книжке в миллион экземпляров... И вот эти привилегии — они же охватывают людей, как зараза. Если кто может покупать не в том магазине, где все — обязательно будет там покупать. Если кто может лечиться в отдельной клинике — обязательно будет там лечиться. Если может ехать в персональной машине — обязательно поедет. Если только где-нибудь мёдом помазано и туда по пропускам — обязательно будет этот пропуск выхлопатывать.

— Это — да! Это ужасно!

— Если забором может отгородиться — обязательно отгородится. И сам же сукин сын был мальчишкой — лазил через купеческий забор, яблоки рвал — и тогда был прав! А теперь ставит забор в два роста, да сплошной, чтоб к нему заглянуть нельзя, ему так уютно оказывается! — и думает, что опять же он прав! А в Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объедки одни достались, играют в решку — медалью Победы. Бросят вверх и кричат: «Морда — или Победа?»

— Как это?

— Ну, там с одной стороны написано «победа», а с другой — Изображение. Посмотрите у отца.

— Ростислав Вадимыч...

— Какой я к чертям Вадимыч? Просто — Руся.

— Мне трудно вас так называть...

— Ну, я тогда встану и уйду. Вон, на обед звонят. Я для всех — Руся, а для вас... особенно... Не хочу иначе.

— Ну, хорошо... Руся... Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. С этим нужно — бороться! Но не вашим способом, конечно.

— Да я же ещё и не боролся! Я просто так рассуждал: если равенство — так всем равенство, а если нет — так к ядреней Фене... Ох, простите меня, пожалуйста... Ох, простите, я не хотел... И вот видим мы с детских лет такое дело: в школе говорят красивые слова, а дальше не ступишь без блата, а нигде нельзя без лапы — так и мы растём продувные, нахальство — второе счастье!

— Нет! Нет! Так нельзя! В нашем обществе много справедливого. Вы берёте через край! Так нельзя! Вы много видели, правильно, много пережили, но «нахальство второе счастье» — это же не жизненная философия! Так нельзя!

— Руська! На обед звонили, слышал?

— Ладно, Земеля, иди, я сейчас... Клара! Вот я говорю вам взвешенно, торжественно: я всей душой был бы рад жить совсем иначе! Но если бы у меня был друг... с холодной головой... подруга... Если бы мы могли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь. В общем я — это ведь только внешне, что я — как будто арестант и на двадцать пять лет. Я... О, если б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас балансирую!.. Любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца... Но это потом... Клара! Я хочу сказать: во мне — вулканические запасы энергии! Двадцать пять лет — ерунда, я могу шутя когти оторвать...

— Ка-ак?

— Ну, это... умахнуть. Я даже сегодня утром присматривал, как бы я это из Марфина сделал. От того дня, когда невеста моя — если б только она у меня появилась — сказала бы: Руся! Убеги! Я жду тебя! — клянусь вам, я бы в три месяца убежал, паспорта бы подделал — не подкопаешься! Увёз бы её в Читу, в Одессу, в Великий Устюг! И мы начали бы новую, честную, разумную, свободную жизнь!

— Хорошенькая жизнь!

— Знаете, как у Чехова всегда герои говорят: вот через двадцать лет! через тридцать лет! через двести лет! Наработаться бы день на кирпичном заводе, да прийти уставшему! О чём мечтали!.. Нет, это я всё шучу! Я вполне серьёзно! Я совершенно серьёзно хочу учиться, хочу трудиться! Только не один! Клара! Посмотрите, как тихо, все ушли. В Великий Устюг — хотите? Это — памятник седой старины. Я там ещё не был.

— Какой вы поразительный человек.

— Я искал её в ленинградском университете. Но не думал, где найду.

— Кого?..

— Кларочка! Из меня ещё кого угодно можно вылепить женскими руками — великого проходимца, гениального картёжника или первого специалиста по этрусским вазам, по космическим лучам. Хотите — стану?

— Диплом подделаете?

— Нет, правда стану! Кем назначите, тем и стану. Мне только — вы нужны! Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите...

43

Генерал-майор Пётр Афанасьевич Макарыгин, кандидат юридических наук, давно уже служил прокурором по *спецделам,* то есть, делам, содержание которых было бы не полезно знать общественности и которые поэтому производились скрытно. (Все миллионы политических дел были такими.) К этим делам, наблюдать за правильностью следствия и всего хода и поддерживать обвинение,— не всякие прокуроры допускались, и допускались самим следствием, то есть ревизуемым МГБ. Но Макарыгин всегда был допущен: помимо давних там знакомств он ещё с большим тактом умел совмещать свою неуклонную преданность законам и понимание специфики работы Органов.

У него было три дочери — все три от первой жены, его подруги по гражданской войне, умершей при рождении Клары. Воспитывала дочерей уже мачеха, сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется хорошая мать.

Дочерей звали: Дине́ра, Дотна́ра и Клара. Динэра значило ДИтя Новой ЭРы, Дотнара — ДОчь Трудового НАРода.

Дочери шли ступеньками по два года. Средняя, Дотнара, окончила десятилетку в сороковом году и, обскакав Динэру, на месяц раньше её вышла замуж. Отец посердился, что рановато, но, правда, зять попался хороший — выпускник Высшей Дипшколы, способный и покровительствуемый молодой человек, сын известного отца, погибшего в гражданскую войну. Звали зятя — Иннокентий Володин.

Старшая дочь Динэра, пока мать ездила в школу улаживать её двойки по математике, болтала ножками на диване и перечитывала всю мировую литературу от Гомера до Фаррера. После школы, не без помощи отца, она поступила на актёрский факультет института кинематографии, со второго курса вышла замуж за

довольно известного режиссёра, эвакуировалась с ним в Алма-Ату, снималась героиней в его фильме, потом разошлась с ним, вышла замуж за женатого генерала интендантской службы и уехала с ним на фронт — не на фронт, а в тот самый *третий* эшелон, лучшую полосу войны, куда не долетают снаряды врага, но и не доползают тяжести тыла. Там Динэра познакомилась с писателем, входившим в моду, фронтовым корреспондентом Галаховым, ездила с ним собирать для газеты материалы о героизме, вернула генерала его прежней жене, а сама с писателем уехала в Москву.

Так уже восемь лет, как из детей осталась в семье одна Клара.

Две старших сестры разобрали на себя всю красоту, и Кларе не осталось ни красивости, ни даже миловидности. Она надеялась, что это с годами исправится — нет, не исправилось. У неё было чистое прямое лицо, но слишком мужественное. По углам лба, по углам подбородка сложилась какая-то твёрдость — и Клара не могла её изгнать, да уж и не следила за этим, примирилась. И руками она двигала тяжеловато. И смех у неё был какой-то твёрдый. Оттого она не любила смеяться. И танцевать не любила.

Клара кончала девятый класс, когда посыпались все события сразу: замужество обеих сестёр, начало войны, отъезд её с мачехой в эвакуацию в Ташкент (отец отправил их уже двадцать пятого июня) — и уход отца в армию прокурором дивизии.

Три года они прожили в Ташкенте, в доме старого приятеля их отца — заместителя одного из Главных тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около окружного дома офицеров, на втором этаже, с надёжно зашторенными окнами, не проникали зной юга и горе города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин, но вдесятеро наехало их сюда. И хотя каждый из них мог убедительными документами доказать, что его место тут, а не на фронте, у Клары было неконтролируемое ощущение, будто сток нечистот омывал её здесь, чистота же подвига и вершина духа — вся ушла за пять тысяч вёрст. Действовал извечный закон войны: хотя не по волеизъявлению люди уходили на фронт, а всё же все горячие и все лучшие находили дорогу туда, да и там, по тому же отбору, их же больше всего и погибало.

В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли споры, куда ей поступать. Как-то никуда особенно её не тянуло, ничто не определилось в ней ясно. Но из такой семьи нельзя же было не поступать! Решила выбор Динэра: она очень, очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом,— чтобы Кларёныш поступала на литературный.

Так и пошла, хотя по школе знала, что скучная эта литература: очень правильный Горький, но какой-то неувлекательный;

очень правильный Маяковский, но непроворотливый какой-то; очень прогрессивный Салтыков-Щедрин, но рот раздерёшь, пока дочитаешь; потом ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства (романов Толстого учительница не советовала им читать, так как они очень длинные и только затемняют ясные критические статьи о нём); и ещё потом скопом делали обзор каких-то уже совсем никому не известных Степняка-Кравчинского, Достоевского и Сухово-Кобылина, правда у них и названий запоминать не надо было. Во всём этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял как солнышко.

И вся-то литература состояла в школе из усиленного изучения, что́ хотели выразить, на каких позициях стояли и чей социальный заказ выполняли все писатели эти и ещё потом советские русские и братских народов. И до самого конца Кларе и её подругам так и непонятно осталось, за что вообще этим людям такое внимание: они не были самыми умными (публицисты и критики, и тем более партийные деятели были все умнее их), они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно, попадали под чуждые влияния — и всё-таки именно о них надо было писать сочинения и дрожать за каждую ошибочную букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненависти, эти вампиры молодых душ не могли к себе вызвать.

Вот у Динэры с литературой получалось как-то всё иначе — остро, весело. Уверяла Динэра, что в институте такая и будет литература. Но Кларе не оказалось веселей и в университете. На лекциях пошли юсы малые и большие, монашеские сказания, школы мифологическая, сравнительно-историческая и всё это вроде бы пальцами по воде, и на кружках толковали о Луи Арагоне, о Говарде Фасте и опять же о Горьком в связи с его влиянием на узбекскую литературу. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара всё ждала, что ей скажут что-то очень главное о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.

Брата Клариной соученицы по десятому классу зарезало трамвайной развозкой с хлебом, когда он с друзьями хотел стащить на ходу ящик... В коридоре университета Клара как-то выбросила в урну недоеденный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь, подошёл студент её же курса и этого же самого арагоновского кружка, вынул бутерброд из мусора и положил себе в карман... Одна студентка водила Клару советоваться о покупке на знаменитый Тезиков базар — первую толкучку Средней Азии или даже всего Союза. За два квартала там толпился народ и особенно много было калек, уже этой войны — они хромали на костылях, размахивали обрубками рук, ползали, безногие, на

дощечках, они продавали, гадали, просили, требовали — и Клара раздавала им что-то, и сердце её разрывалось. Самый страшный инвалид был *самовар,* как его там звали: без обеих рук и без обеих ног, жена-пропойца носила его в корзине за спиной, и туда ему бросали деньги. Набрав, они покупали водку, пили и громко поносили всё, что есть в государстве. К центру базара — гуще, не пробиться плечом через наглых бронированных спекулянтов и спекулянток. И никого не удивляли, всем были понятны и всеми приняты тысячные цены здесь, никак не соразмерные с зарплатами. Пусты были магазины города, но всё можно было достать здесь, всё, что можно проглотить, что можно надеть на верхнюю или нижнюю часть тела, всё, что можно изобрести — до американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников чёрной и белой магии.

Но нет, об этой жизни на литфаке не говорили и как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто всё было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами.

И с тоской поняв, что через пять лет это кончится тем, что и сама она пойдёт в школу и будет задавать девчёнкам нелюбимые сочинения и педантично выискивать в них запятые и буквы,— Клара стала больше всего играть в теннис: в городе были хорошие корты, а у неё развился верный и сильный удар.

Теннис оказался для неё счастливым занятием: он приносил радость движения телу; уверенность удара отдавалась уверенностью и других поступков; теннис отвлёк её и от всех этих институтских разочарований и тыловых запутанностей — ясные границы корта, ясный полёт мяча.

Но ещё важнее — теннис принёс ей радость внимания и похвал окружающих, которые совершенно необходимы девушке, особенно некрасивой. У тебя, оказывается, есть ловкость! реакция! глазомер! У тебя многое есть, а ты думала — нет ничего. Часами можно прыгать по корту неутомимо, если хоть несколько зрителей сидят и смотрят за твоими движениями. И белый теннисный костюм с короткой юбочкой наверняка Кларе шёл.

Вообще это в страдание для неё превратилось: что надевать? Несколько раз в день приходится переодеваться и каждый раз мучительная головоломка: что надеть на твои крупные ноги? и какая шляпка тебе не смешна? и какие цвета тебе идут? и какой рисунок ткани? и какой воротник к твоему твёрдому подбородку? Клара была обделена способностью это знать, и при средствах одеваться — всегда была одета дурно.

Вообще: как это — нравятся? как это — нравиться? почему ты — не нравишься? Ведь с ума сойдёшь, никто тебе не поможет и не выручит никто. В чём это ты не такая? Что это в тебе не то? Один, два, три эпизода можно объяснять случайностями,

несовпадениями, неопытностью — но наконец этот невидимый горький стебель всё время попадается тебе между зубами, в каждом глотке. Как побороть эту несправедливость? Ты же не виновата, что такая уродилась!

А тут ещё эта литературная трепотня так надоела Кларе, что на втором году Клара забросила литфак, просто перестала ходить.

А со следующей весны фронт пошёл уже в Белоруссию, все покидали эвакуацию. И они тоже вернулись в Москву.

Но и тут не сумела Клара верно решить, в какой же ей институт идти. Искала она, где меньше говорят, а больше делают, значит — технический. Но чтобы не с тяжёлыми грязными машинами. И так попала в институт инженеров связи.

Никем не руководимая, она опять совершила ошибку, но в этой ошибке никому не призналась, упрямо решив доучиться и работать, как придётся. Впрочем, среди однокурсниц (мальчиков было мало) не одна она оказалась случайная, век такой начинался: ловили синюю птицу высшего образования, и не попавшие в авиационный институт переносили документы в ветеринарный, забракованные в химико-технологическом становились палеонтологами.

В конце войны у отца Клары было много работы в Восточной Европе. Он демобилизовался осенью сорок пятого и сразу получил квартиру в новом доме МВД на Калужской заставе. В один из первых дней возвращения он повёз жену и дочь смотреть квартиру.

Автомобиль прокатил их мимо последней решётки Нескучного сада и остановился, не доезжая моста через окружную железную дорогу. Было предполуденное время тёплого октябрьского дня, затянувшегося бабьего лета. И мать и дочь были в лёгких плащах, отец — в генеральской шинели с распахнутой грудью, с орденами и медалями.

Дом строился полукруглый на Калужскую заставу, с двумя крылами: одно — по Большой Калужской, другое — вдоль окружной. Всё делалось в восемь этажей, и ещё предполагалась шестнадцатиэтажная башня с солярием на крыше и с фигурой колхозницы в дюжину метров высотой. Дом был ещё в лесах, со стороны улицы и площади не кончен даже каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости заказчика (Госбезопасности), строительная контора скороспешно сдавала со стороны окружной уже вторую отделанную секцию, то есть лестницу с прилегающими квартирами.

Строительство было обнесено, как это всегда бывает на людных улицах, сплошным деревянным забором,— а что сверх забора была ещё колючая проволока в несколько рядов и кое-где

высились безобразные охранные вышки, из проносившихся машин замечать не успевали, а жившим через улицу было привычно и тоже как будто незаметно.

Семья прокурора обошла забор вокруг. Там уже снята была колючая проволока, и сдаваемая секция выгорожена из строительства. Внизу, у входа в парадное, их встретил любезный прораб, и ещё стоял солдат, которому Клара не придала внимания. Всё уже было окончено: высохла краска на перилах, начищены дверные ручки, прибиты номера квартир, протёрты оконные стёкла, и только грязно одетая женщина, наклонённого лица которой не было видно, мыла ступени лестницы.

— Э! Алё! — коротко окликнул прораб,— и женщина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой.

Прошёл прокурор.

Прошёл прораб.

Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.

И женщина, не выдержав ли этого шёлка и этих духов,— оставаясь низко склонённой, подняла голову посмотреть, много ли *их* ещё.

Её жгучий презирающий взгляд опалил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо.

Не только стыд за себя, который всегда ощущаешь, обходя женщину, моющую пол,— но перед этой юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылезшей ватой Клара испытала какой-то ещё высший стыд и страх! — и замерла — и открыла сумочку — и хотела вывернуть её всю, отдать этой женщине — и не посмела.

— Ну, проходите же! — зло сказала женщина.

И придерживая подол своего модного платья, и край бордового плаща, почти притиснувшись к перилам, Клара трусливо пробежала наверх.

В квартире не мыли полов — там был паркет.

Квартира понравилась. Мачеха Клары дала прорабу указания по доделкам и особенно была недовольна, что паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на двух-трёх клёпках и обещал устранить.

— А кто здесь всё это делает? строит? — резко спросила Клара.

Прораб улыбнулся и промолчал. Отец буркнул:

— Заключённые, кто!

На обратном пути женщины на лестнице уже не было.

И солдата не было снаружи.

Через несколько дней они переехали.

Но шли месяцы, и годы шли, а Клара почему-то всё не могла забыть той женщины. Она помнила точно её место на предпоследней ступеньке отметного удлинённого марша, и каждый раз, если не в лифте, вспоминала на этом месте её серую нагнутую фигуру и вывернутое ненавидящее лицо.

И всегда суеверно сторонилась к перилам, как бы боясь наступить на поломойку. Это было непонятно и — непобедимо.

Однако ни с отцом, ни с матерью она никогда этим не поделилась, не напомнила им, не могла. С отцом после войны её отношения вообще установились нескладистые, недобрые. Он сердился и кричал, что она выросла с испорченной головой, если вдумчивая — то навыворот. Её ташкентские воспоминания, её московские будние наблюдения он находил нетипичными, вредными, а манеру искать из этих случаев вывод — возмутительной.

О том, что поломойка и сегодня стоит на их лестнице — никак нельзя было ему признаться. Да и мачехе. Да и вообще — кому?

Вдруг однажды, в прошлом году, спускаясь по лестнице с младшим зятем, Иннокентием, она не удержалась — невольно отвела его за рукав в том месте, где надо было обойти невидимую женщину. Иннокентий спросил, в чём дело. Клара замялась, могло показаться, что она сумасшедшая. К тому же Иннокентия она видела очень редко, он постоянно жил в Париже, франтовски одевался, держался с постоянной насмешечкой и снисходительно к ней, как к девочке.

Но решилась, остановилась — и тут же рассказала, всё руками развела, как было тогда.

И без всякого франтовства, без этого ореола вечной европейской жизни, он стоял всё на той же ступеньке, где их застигло, и слушал — совсем попростевший, даже потерянный, почему-то шляпу сняв.

Он всё понял!

С этой минуты у них началась дружба.

44

До прошлого года Нара со своим Иннокентием были для семьи Макарыгиных какими-то заморскими нереальными родственниками. В год недельку они мелькали в Москве да к праздникам присылали подарки. Старшего зятя, знаменитого Галахова, Клара привычно называла Колей и на «ты»,— а Иннокентия стеснялась, сбивалась.

Прошлым летом они приехали надольше, стала часто Нара бывать у родных и жаловаться приёмной матери на мужа, на

порчу и затмение их семейной жизни, до тех пор такой счастливой. С Алевтиной Никаноровной они долгие вели об этом разговоры. Клара не всегда была дома, но если была, то открыто или притаённо слушала, не могла и не хотела уклониться. Ведь самая главная загадка жизни эта и была: отчего любят и отчего не любят?

Сестра рассказывала о многих мелких случаях их жизни, разногласиях, столкновениях, подозрениях, также о служебных просчётах Иннокентия, что он переменился, стал пренебрегать мнением важных лиц, а это сказывается и на их материальном положении, Нара должна себя ограничивать. По рассказам сестры она оказывалась во всём права, и во всём неправ муж. Но Клара сделала для себя противоположный вывод: что Нара не умела ценить своего счастья; что, пожалуй, она сейчас Иннокентия не любила, а любила себя; она любила не работу его, а своё положение в связи с его работой; не взгляды и пристрастия его, пусть изменившиеся, а своё владенье им, утверждённое в глазах всех. Клару удивляло, что главные обиды её были не на подозреваемые измены мужа, а на то, что он в обществе других дам недостаточно подчёркивал её особое значение и важность для себя.

Неволею младшей незамужней сестры мысленно примеряя себя к положению старшей, Клара уверилась, что она бы себя так ни за что не вела. Как же можно удовлетворяться чем-то, отдельным от *его* счастья?.. Тут ещё запутывалось и обострялось, что не было у них детей.

После того радостного откровения на лестнице стало так просто между ними, что хотелось видеться ещё, обязательно. И, главное, много вопросов набралось у Клары, на которые вот Иннокентий мог бы и ответить!

Однако присутствие Нары или другого кого-нибудь из семьи почему-то мешало бы этому.

И когда в тех же днях Иннокентий вдруг предложил ей съездить на денёк за город, она толчком сердца сразу же согласилась, ещё и подумать, ещё и понять не успев.

— Только не хочется никаких усадеб, музеев, знаменитых развалин,— слабо улыбнулся Иннокентий.

— Я тоже не люблю! — определённо отвела Клара.

Оттого что Клара знала теперь его невзгоды, его вялая улыбка сжимала её сочувствием.

— Обалдеешь от этих Швейцарий,— извинялся он,— хоть по России простенькой побродить. Найдём такую, а?

— Попробуем! — энергично кивнула Клара.— Найдём!

Всё-таки прямо не договорились — втроём или вдвоём они едут.

Но назначил ей Иннокентий будний день и Киевский вокзал, без звонка домой, без заезда сюда, на Калужскую. И из этого ясно стало не только, что — вдвоём, но и родителям, пожалуй, знать не нужно.

По отношению к сестре Клара чувствовала себя вполне вправе на эту поездку. Даже если бы они прекрасно жили — это был законный родственный налог. А так, как жили они — была виновата Нара.

Может, самый замечательный день жизни предстоял сегодня Кларе — но и самые мучительные приготовления: как же одеться?! Если верить подругам, ей не шёл ни один цвет — но какой-то цвет надо же выбрать! Она надела коричневое платье, плащ взяла голубой. А больше всего промучалась с вуалеткой — два часа накануне примеряла и снимала, примеряла и снимала... Ведь есть же счастливицы, кто сразу могут решить. Кларе отчаянно нравились вуалетки, особенно в кино: они делают женщину загадочной, поднимают её выше критического разглядывания. Но всё ж она отказалась: Иннокентию надоели всякие французские выдумки, да и будет солнечный день. А чёрные сетчатые перчатки всё же надела, сетчатые перчатки очень красиво.

Им сразу попался дальний малоярославецкий поезд, паровичок, вот и хорошо, они билеты взяли до конца на всякий случай, плана у них не было и станций они не знали.

До того не знали, что оба вздрогнули, когда соседи назвали станцию Н а р а! Иннокентий, если бы знал, может выбрал бы другой вокзал? А Клара совсем забыла.

И ещё много раз в пути повторяли эту Нару. Так и висела над ними...

Августовское утро было прохладное. Они встретились оба бодрые, весёлые. Сразу установился разговор несвязный, оживлённый, только несколько раз ошибались оба на «вы», и тут же смеялись, и от этого ещё проще становилось.

Иннокентий был весь в западном, полуспортивном, что ли, а таскал и мял с такой небрежностью, как костюм из «рабочей одежды».

Хотя целый день был впереди, но Клара кинулась его расспрашивать, сбивчиво — то о Европе, то — как понимать нашу жизнь. Она сама точно не знала, чего хотела, что именно нужно ей понять. Но что-то нужно было! Ей искренне хотелось поумнеть! Ей так необходимо было разобраться!

Иннокентий шутливо крутил головой:

— Вы думаете... ты думаешь, я сам что-нибудь понимаю?

— Но вы же дипломаты, вы нас всех ведёте — и вдруг ничего не понимаете?

— Да нет, все мои коллеги понимают, это только я ничего не

понимаю. И даже я всё понимал примерно до прошлого, до позапрошлого года.

— Что же случилось?

— И вот этого — тоже не понимаю,— смеялся Иннокентий.— И потом, Кларочка, всякое объяснение неизвестно откуда начинать, оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще пойди научись грамоте. Потом — арифметике, алгебре, черчению, электротехнике... Чему там ещё?

— Ну, не знаю... магнетизму...

— Вот, и ты не знаешь; а на последнем курсе! А потом, мол, приходи, через пятнадцать лет, я тебе всё за пять минут и объясню, да ты и сам уже будешь знать.

— Ну, хорошо, я готова учиться, но где учиться? С чего начинать?

— Ну... хоть с наших газет.

По вагону шёл человек с кожаной сумкой и продавал газеты, журналы. Иннокентий купил у него «Правду».

Ещё при посадке, понимая, что разговор у них может быть особенный, Клара направила спутника занять неуютную двухместную скамью у двери: Иннокентий не понимал, но только здесь можно было говорить посвободней.

— Ну, давай учиться читать,— развернул газету Иннокентий.— Вот заголовок: «Женщины полны трудового энтузиазма и перевыполняют нормы». Подумай: а зачем им эти нормы? Что у них, дома дела нет? Это значит: соединённой зарплаты мужа и жены не хватает на семью. А должно хватать — одной мужской.

— Во Франции так?

— Везде так. Вот дальше, смотри: «во всех капиталистических странах, вместе взятых, нет столько детских садов, сколько у нас». Правда? Да, наверно правда. Только не объяснена самая малость: во всех странах матери свободны, воспитывают детей сами, и детские сады им не нужны.

Дребезжали. Ехали. Останавливались.

Иннокентий без труда находил, пальцем ей показывал, а при грохоте объяснял к уху:

— Бери дальше, самые ничтожные заметки: «Член французского парламента имярек заявил...» и дальше о ненависти французского народа к американцам. Сказал так? Да наверно сказал, мы правду пишем! Только пропущено: от какой партии член парламента? Если он не коммунист, так об этом бы непременно написали, тем ценней его высказывание! Значит, коммунист. Но — не написано! И так всё, Клярэт. Напишут о небывалых

снежных заносах, тысячи автомашин под снегом, вот народное бедствие! А хитрость в том, что автомобилей так много, что для них даже гаражей не строят... Всё это — свобода *от* информации. Это проходит и в спорт, пожалуйста: «встреча принесла заслуженную победу...», дальше не читай, ясно: нашему. «Судейская коллегия неожиданно для зрителей признала победителем...» — ясно: не нашего.

Иннокентий оглянулся, куда выбросить газету. И этого не понимал, какой это заграничный жест! И так уж на них оглядывались. Клара отняла газету и держала.

— Вообще, спорт — опиум для народа,— заключил Иннокентий.

Это было неожиданно и очень обидно. И совсем неубедительно звучало у такого некрепкого человека.

— Я — в теннис много играю и очень его люблю! — тряхнула головой Клара.

— Играть — ничего,— сразу исправился Иннокентий.— Страшно — на зрелища кидаться. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков.

Дребезжали. Ехали. Смотрели в окно.

— Значит, у них там — хорошо? — спросила Клара.— Лучше?

— Лучше,— кивнул Иннокентий.— Но не хорошо. Это разные вещи.

— Чего ж не хватает?

Иннокентий серьёзно на неё посмотрел. Того первого оживления не стало в нём, очень спокойно смотрел.

— Так просто не скажешь. Сам удивляюсь. Чего-то нет. И даже многого нет.

А Кларе так с ним было хорошо, по-человечески хорошо, не от какой-нибудь игры прикосновений, пожатий или тона, их не было,— и хотелось отблагодарить, чтоб ему тоже было хорошо, крепче.

— У вас... у тебя такая интересная работа,— утешала она.

— У меня? — поразился Иннокентий, и притом, что он был худ, ещё впали его щёки, он показался замученным, будто недоедающим.— Служить нашим дипломатом, Кларочка, это иметь две стенки в груди. Два лба в голове. Две разных памяти.

Больше не пояснял. Вздохнул, смотрел в окно.

А понимала ли это его жена? А чем она его укрепила, утешила?

Клара всматривалась и обнаружила такую особенность его лица: отдельно верх его лица выглядел довольно жёстко, отдельно низ — мягко. От лба, свободно развёрнутого от уха к уху, лицо косыми линиями сужалось и смягчалось к небольшому

нежному рту. Около рта было много мягкости, даже беспомощности.

Разгорался день, весело мелькали леса, много лесу было по дороге.

Чем дальше шёл поезд, тем проще оставалась публика в вагоне и тем заметнее средь всех — они оба, будто разряженные для сцены. Клара сняла перчатки.

На лесном полустанке они выскочили. Кроме них ещё несколько баб с городскими продуктами в сумках вышли из соседнего вагона, больше никого не осталось на перроне.

Молодые люди собирались в лес. И по ту и по другую сторону тут был лес, правда, густой, тёмный, некрасивый. Но как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались деревянным переходом через рельсы и куда-то правее леса. И Клара с Иннокентием тоже пошли за ними.

Травы и цветы сразу за линией стояли по плечо. Потом тропка ныряла сквозь несколько рядов берёзовой посадки. Там дальше было выкошено, стожок, а на подросте травы паслась и не паслась задумчивая коза, привязанная длинной верёвкой к колышку. Теперь налево лес распахивался, но бабы бойко сыпали правей, прямо на солнце, где ещё за рядами кустов открывался обширный простор.

И молодые люди согласно решили, что в лес — успеется, а вот в этот сияющий простор непременно им надо сейчас же идти.

Туда выводила полевая дорога — плотная, травяная. От неё ближе к линии золотилось хлебное поле — тяжёлые колосья на коротких крепких стеблях, а что за хлеб — они не знали, но на красоту поля это не влияло. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла голая запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше — и на таком большом пространстве ничего не росло.

Их полустанок был в углу, теперь только они выходили на этот простор — такой объёмный, что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы. И далеко вокруг и тут за линией сразу, всё обмыкалось лесом сплошным с мелко зазубристым издали верхом.

Вот кажется этого они и хотели, не зная, не задавшись! Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах, запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долготой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности тёмно-кирпичная церковь с колокольней. И ещё бабы удалялись впереди, а больше на всём просторе не

были ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего — тёплое гульбище ветра и солнца да пространство рыскающих птиц.

В две минуты ничего не осталось от их делового тона и забот.

— Так это — Россия? Вот это и есть — Россия? — счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливался, смотрел на Клару.— Слушай, я ведь *представляю* Россию, но я ведь её не-пред-став-ляю! — каламбурил он.— Я никогда по ней вот так просто не ходил, только самолёты, поезда, столицы...

Он взял её вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. И так они побрели, меньше всего глядя под ноги. В свободных руках помахивались у него шляпа, у неё сумочка.

— Слушай, сестра! — говорил он.— Как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно. И чтоб дышалось легко!

— А тебе — неужели не видно? — Его жалоба так тронула её — свои бы глаза она предложила, если б это могло помочь.

— Нет,— качал он,— нет. Было когда-то видно, а сейчас всё запуталось.

Что запуталось? Если уж *так* запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. И если б он ещё немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться, и открыла бы, как она за него, и как он прав, и не надо отчаиваться!

— Так надо бывает поговорить! — отзывалась она.

Но он на том и кончил. Он уже смолк.

Жарчело. Сняли плащи.

Никто больше не появлялся во всём окоёме, не встречался, не обгонял. За посадкой изредка протягивались поезда, прошумливали, а будто беззвучно, только дымок в движеньи.

Удалявшиеся бабы давно свернули с этой дороги и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Кларой: по мягкому полю шла утоптанная (на солнце светлей) тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. Вкось больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности.

Тропа шла к той деревне с церковью, но ещё раньше в середине простора она подходила к удивительно тесной, особной кучке деревьев. Куща стояла посреди полей, далеко отступая от всякого леса, и от деревни изрядно — странная бодрая свежая куща крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор, она была его центр. Что ж это могло быть? Отчего и зачем среди полей?

Свернули туда и они.

Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шёл позади Клары.

Идёт позади и смотрит тебе в спину. Рассматривает тебя. То ли муж твоей сестры. То ли брат тебе. То ли...

Теперь чтобы говорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться:

— А как ты будешь меня звать? Не зови «Клярэт».

— Не буду. Да я ж тебя не знал. Вообще на Западе так сокращают, чтоб два-три звука, не больше.

— Я буду тебя «Инк» звать, ладно?

— Ладно. Очень хорошо.

— Тебя так никто не зовёт?

Нет, простор был не совсем ровный, он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куще деревьев поднималась опять.

Теперь уже видно было, что это — берёзы, и старые, большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине ещё. Как удивительно стояла эта куща, ни к чему не относясь, сама по себе.

— А у тебя когда это всё началось? — спрашивала Клара.

Что — *это*? Тут много вкладывалось.

Но он не затруднился:

— Наверно, знаешь когда? Когда я стал разбирать мамины шкафы. Нет, может быть и раньше, может и за целый год раньше, а всё-таки, когда я стал разбирать шкафы.

— Это уже после смерти?

— Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь... Вот и этого никому не расскажешь, Дотти этого не принимает или не понимает...

(А я пойму!.. Больше, больше о Дотти, мы так разговоримся сейчас! Тебе будет легко!..)

— ...Я ведь очень плохой был сын, Кларонька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии даже на её похороны... Слушай, а это не кладбище?

Остановились. И вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли: да, кладбище! И как же они раньше..? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сень.

Хотя ещё не было видно крестов, ни могил. Они ещё переходили дно разлога, перескакивали через мокредь (Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг, чтобы не обидеть). Ещё поднимались, и неожиданно круто.

Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом,— ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровнý эти

старые берёзы, соединясь в верхах, а земля поля ровно и открыто, как воздух в воздух, переходила в густую славную мураву, без сорняков и почему-то невысокую, хотя не топтанную и не стриженную. Мурава росла такая, какая нужна и приятна на кладбище.

Как здесь было тенисто, тихо! Это было самое чистое и живое убежище во всём охвате распланированной местности!

Вокруг иных могилок были ограды. А то — просто безымянные пирамидальные травяные холмики. И даже свежие.

— Как просторно! — удивлялся Иннокентий.— Тут сто могил, не больше, и можно ещё пятьдесят разместить свободно. И, наверно, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и ещё перекапывают старые под новые.

Вот эти старые берёзы и отстояли кладбищенское раздолье от тракторов.

Сами плащи на землю бросились, само как-то селось — лицом к Простору. Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далёкая, будка полустанка. И поверх линейной посадки переползал дымок.

Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На восстановленные столбиками колени Инк положил голову, сидел так. И Кларе открылся его затылок: как у мальчика слабый затылок, но обработанный терпеливым умелым парикмахером.

— Какое чистое кладбище! — удивлялась Клара.— Скотом не загажено, мазута не налито.

— Да,— с наслаждением выдохнул Иннокентий.— Вот бы где похорониться! Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолёт совать, потом в автобусе куда-нибудь...

— Рано об этом думать, Инк!

— Когда, Кларонька, всё ложь — очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрей.— Он и говорил слабым усталым голосом.

Это могло быть о его работе. А может — обо всей жизни. А может — только о жене.

Доспрашивать Клара не могла.

— И что же — в шкафу?

— В шкафу? — сосредоточил Иннокентий свой всегда не беспечный, всегда озабоченный взгляд.— В шкафу вот что...— Но, кажется, только представив этот подробный рассказ, он уже устал от него.— Да нет, это долго... Я как-нибудь потом...

Если уж сейчас — долго, то когда ж и рассказывать?.. Или такая его черта, что интересно ему только то, что ново, что первый раз?

На каком же тогда лету у него всё перехватывать?

— Значит, у тебя никого родных не осталось?

— Представь себе — дядя, мамин брат! Причём я о нём тоже ничего не знал до прошлого года.

— Никогда не видел?

— То есть, видел, маленьким, но совершенно не запомнил.

— Где же он?

— В Твери.

— Где?

— В Калинине. Два часа езды — а никак не соберусь. Да когда мне, если я и в России не бываю?.. Написал ему, старик обрадовался.

— Слушай, Инк, надо поехать! Ведь потом тоже будешь жалеть!

— Да я и думаю поехать, думаю! Да просто вот на днях поеду. Вот слово даю.

Уже отошёл Иннокентий в тени от разморчивого солнца и выглядел бодрей.

Куда ж было им теперь идти? Во все стороны до леса далеко, да и дорог нет, за одним краем кладбища — подсолнухи, за другим — свёкла. Только и оставалась им тропка — та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так.

Иннокентий снял и куртку, остался в лёгкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой, негладкой спины. А шляпу снова надел от солнца.

— Ты знаешь, на кого похож? — смеялась Клара.— Есенин, воротясь в родную деревню после Европы.

Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать:

— Ах, родина, и что ж я тут нашёл?.. Какой я стал чужой... Косить разучился, пахать разучился...

Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправимо, так до конца веков изрыта, искромсана гусеницами и скатами, местами засохла кочками по колено, местами налита жидкой свинцовой грязью, на высыхание которой не могло хватить никакого лета,— что двум сторонам улицы сноситься было как через реку. Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону.

По их стороне показалась и быстро шла навстречу девочка с плетёной кошёлкой.

— Дево...— начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше,— девушка! — Но она быстро приближалась, и оказалась женщиной лет под сорок, странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться.— Эта деревня — как называется?

— Рождество,— мелькнула она на них нездоровыми глазами и так же спешно шла.

— Рождество? — удивились между собой молодые люди.— Необычное какое название.— Вдогонку крикнули: — А почему?

— Назвали. Откуда я знаю? — отозвалась та через плечо. И спешила дальше.

И куда растеклись все те проворные бабы с поезда? Не было жизни ни на улице, ни во дворах. И покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах, и безоткрывные, без форточек, навеки вставленные двойные рамы маленьких оконок тоже по видимости не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно, ни домашней птицы. Лишь убогие тряпки да одеяла, развешенные в одном дворе на верёвках доказывали, что кто-то здесь утром был.

Солнце полно наливало собой тишину.

В глубине одного двора они заметили движение. Загребая посуху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке.

— Мамаша!

Не слышала.

— Мамаша!

Подняла голову.

— Слышу плохо,— высохшим плоским голосом предупредила она. Глаза её совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих.

— Нельзя ли молока у вас купить? — спросила Клара.

Молоко им не нужно было, а — лучший способ разговориться, как она знала по поездкам в колхоз.

— Коров — нету,— с достоинством ответила старуха.

В руке у неё был покойный жёлто-белый цыплёночек, он не выбивался и не дёргался.

— Мамаша, эта церковь как называлась? — спросил Иннокентий.

— Что это — *называлась*? — посмотрела она на него через плёнку. В обвисшем лице её была самистая важность.

— Ну, у каждой церкви... название же есть?

— Только что звание,— сказала старуха.— А закрыли уж не за памятью, двадцать годов. Автобусом час ехать, ближе церкви нету. А летняя рядом была — пленные разобрали.

— Какие пленные?

— Немцы.

— А зачем?

— Кирпичи в Нару отправляли. Вот цыплята у меня дохнут. Четвёртый уже. Отчего это?

Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами.

— Или приминает она их? — размышляла старуха, шаркая в избу, к низкой двери.

И так до конца улицы ни движенья и ни души они не видели больше, не показалась и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха — кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперед, на главную улицу, такую же мёртвую, куда упиралась эта.

На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь: приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его — колокольня с двумя этажами колоколенных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или ещё даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести, оставлены только рёбра каркаса. Пережили два десятилетия и оба креста, стояли на местах. Нараспашку была нижняя дверь колокольни, там во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны, и не было никого. Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках — и тоже не было никого.

Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось — а с той стороны и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней всё было изрыто тракторами и машинами в их тряске-жажде не застрять как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз выбраться, дойти и уйти от склада — и израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных струпьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи.

Церковь была — вот она, но молодые люди долго искали, где ж бы им посуху перебраться через улицу. Далеко вбок пришлось отойти и там ещё повилять и попрыгать.

В дорогу были вмешаны большие колотые куски плит, облипшие грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки — белого, розового и жёлтого мрамора.

Иннокентий разогрелся от солнца, но не разрумянился, а чуть побледнел. Под краем шляпы у него взмокли волосы.

Подошли к церкви. Тяжёлой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе — от застойной ли воды, или от скотьих трупов, или от нечистот? Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше, за церковью, был спуск, а внизу — много шаровых огромных ив, целое царство ивяное, и туда, в зелень, был их единственный уход, убег.

Но их окликнули:

— Закурить не будет, граждане?

Небольшой мужичок с головой, сильно втянутой в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами.

Иннокентий с сожалением похлопал по карманам, будто всё же имел надежду найти там пачку:

— Не курю, товарищ.

— Жа-аль,— огорчился втянутоголовый, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства.

— Эта церковь — как называлась?

— Рождества,— уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову и так же быстро ушёл за угол, как и появился.

Но там, куда идти им, ниже, они заметили ещё и одноногого, с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубахе с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой.

— Откуда мрамор? — спросил Иннокентий.

— Чего? — отозвался латаный мужик.

— Ну вот, камень цветной.

— А-а-а... Алтарь разбили.— Думал.— Иконостас.

— А зачем?

Думал.

— Дорогу гáтить.

— Отчего это у вас так... пахнет? — спросила Клара.

— Чего? — удивился одноногий. Думал.— А-а, это вам наверно от скотного. Скотный вон у нас, рядом.

Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться — туда, к ивам, вниз.

— А что там? — спросили они.

— Там? Ничего нет.— Думал.— А, речка.

Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегáть, но с тревогой глянула на бледность Иннокентия и пошла с ним медленно.

— После такой деревни действительно на то кладбище потянет,— крутила она головой.— А ты — хромаешь?

— Да что-то трёт.

В раскидистой тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись. Теперь, когда не воняло, а зелёная влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки метались и плавали вокруг колокольни — смотреть отсюда было приятно.

— Ты очень устал! — тревожилась Клара.— Тебе надо отдохнуть. И ногу посмотреть.

Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу. Закрыл глаза. Откинутый, смотрел вверх, на церковь.

— Вот тебе, Кларочка, два Рождества...

— Почему — два?

— Наше и западное. Наше ты сейчас видела. А западное — всё небо в рекламах, все улицы — в заторе машин, душатся в магазинах, подарки — каждый каждому. И на какой-нибудь захудалой затёртой витринке — ясли и Иосиф с ослом.

— А какой Иосиф с ослом?

Тут они различили на обрыве у церкви, там, где сохранился рядок лип — пропущенную ими могилу с обелиском.

— Жалко, не посмотрели.

— Давай я сбегаю! — взялась Клара и наискосок, без дороги, побежала. Она бежала как весёлая, но совсем не весело было ей.

Постояла, прочла и так же легко спустилась, сильными ногами тормозя на ямках.

— Ну, кто ты думаешь?

— Священник?

— «Вечная слава воинам Четвёртой дивизии народного ополчения, павшим смертью храбрых за честь, независимость и так далее... от министерства финансов.»

— Финансов? — поразился он, и шевельнулись его удлинённые уши в изломчатых крупных хрящах.— Даже и финансов! Бедные клерки... Сколько ж их тут легло?.. И на сколько человек была одна винтовка? Четвёртая дивизия ополчения?

— Да.

— Дивизия безоружных! — и четвёртая... Вот дикость этой войны — народное ополчение...

— А почему — дикость? — онедоумела Клара.

Иннокентий вздохнул и свесил голову.

— Тебе плохо?.. Инк, может вернёмся? Не надо дальше?

Он ещё вздохнул.

— Да нет, ничего. Жару я плохо переношу. И обулся неудачно, не сообразил.

— Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трёт? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней.

Мастерили.

А на небе там и здесь появились перекатные облака. Иногда они прикрывали и смягчали солнце.

— Ну что ж, Инк, пойдём дальше или нет? Надо было в лес, да? Хочешь, пойдём вдоль реки, там тоже тень будет.

Он уже отошёл и улыбался:

— Вот дохлый, да? Всю жизнь в автомобилях... А ты молодец. Пойдём, пойдём. По какому берегу?

Ниже их через речку был переброшен трап, на обоих берегах толстой проволокой прикрученный от наводнения к низам ив.

Перейти? Не перейти? На том и на этом по-разному ляжет дорога, и от этого разговоры будут разные, и вся прогулка. Перейти?.. Не перейти?..

Перешли. Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъёме от реки. Кроме водолюбивых ив, которые сами выбрали речку, ещё были посажены берёзы рядком и ели. И заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями — наверно вырытый, такой правильный. Что это было всё? Заброшенное ли именье? Не у кого спросить.

Отсюда, между шарами ив, ещё красивее казалась церковь, почти на горе — и туда-то хаживали под колокольный звон из другой соседней деревни, начинавшейся неподалеку.

Но довольно было с них деревень, они шли вдоль реки.

Тут очень бы приятно идти, своя тенистая влажная замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь, на глубоких редкие необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды, и всюду — беготня водопеших стрекоз, а наверно есть и рыба и раки. Тут надо бы разуться по колено и идти просто речкою, как мальчишки бродят по раков. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк.

Толстенная причудливая ива вырастала на их берегу, а гнутым стволом перекидывалась на тот берег,— как мост, и с поручнями таких же кручёных изогнутых ветвей.

— Баобаб! — всплеснула Клара.— Вот красавец! А давай по нему на тот берег! Там, кажется, лучше идти.

Иннокентий недоверчиво покачал головой. Но Клара уже вскочила уверенно на косой ствол и протянула ему сильную руку:

— Пойдём!

Ей казалось, что это обязательно будет хорошо. Вот на том берегу что-то встретится или скажется, для чего была вся эта прогулка.

Иннокентий в сомнении протянул свою мягкую кисть.

Ствол ивы, умеренно поднимаясь, уводил, однако, высоко. Иннокентий следовал небольшими переступами и, кажется, избегал смотреть вниз. А тут ещё ветка, за которую он держался, пересекала их путь, надо было через неё же и перелезть. Всё это делал он с лицом сосредоточенного думанья, совсем замолчал. Не оцарапавшись, они спрыгнули. Но видно было, что удовольствия от перехода Инк не получил.

И ничто не стало лучше на новом берегу. Малозначное они говорили друг другу. Слышалось тарахтение трактора где-то выше. Очень скоро и тут не стало пути близ воды. И пришлось им покинуть тень и подняться от реки единственной возможной дорогой. Иннокентий всё явнее хромал.

И вышли они — на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледно-розовый флаг с оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку умещался лозунг: «Вперёд, к победе коммунизма!», всё же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облупленно-зелёных машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистерны, и полевая кухня, и прицепы с подпёртыми или опущенными дышлами — всё было разбросано и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. И только один человек в чумазой робе всё бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого.

Да на холме работал один трактор.

И другого пути не было. Кое-как по колдобинам пересекли они бригадный двор. Иннокентий хромал. Снова было жарко. Они спустились к реке опять.

А она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега, оба жребия. Кажется, это было шоссе.

— Подловим попутную? — сказал Иннокентий.— Не возвращаться ж на станцию опять.

День был в середине, а прогулка при конце.

Отчего натягивается между людьми вот эта препонка? Почти видно и почти слышно, как можно помочь друг другу.

Но не дано было этому быть. Этого быть не могло.

Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить, придумали и ноги помыть.

Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу. По шоссе катилась вереница одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания, с бочками «огнеопасно» или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать — и не менялись, так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофёром ещё сидел сержант или офицер. И под брезентами сидели многие военные: в откидные окошки и сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту и к мимобежному, и к тому, куда гнали их, застылые в сроке службы.

От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали сотню машин, пока стихло.

И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего деревянного.

Иннокентий опустился на камень у родничка и сказал потерянно:

— Жизнь — распалась.

— Но в чём? но в чём распалась, Инк? — с отчаянием вырвалось у Клары.— Но ты же всё обещал мне объяснить — и ничего не объясняешь!

Он посмотрел на неё больными глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. И на сырой земле начертил круг.

— Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй.— Он захватил шире.— Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Ничего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...

Чуть ли не в те самые дни спецчасть предложила Кларе анкеты. Она с лёгкостью заполнила их: происхождение её было безупречно, жизнь — не протяжённа, освещена ровным светом благополучия и свободна от поступков, порочащих гражданина.

Сколько-то месяцев анкеты ходили, были все одобрены. Тем временем Клара окончила институт и переступила порог вахты таинственной зоны Марфино.

45

С другими своими подругами, выпускницами института связи, Клара прошла пугающий инструктаж у тёмнолицего майора Шикина.

Она узнала, что работать будет среди крупнейших агентов — псов мирового империализма и американской разведки, нипочём продававших свою родину.

Клара была назначена в Вакуумную лабораторию. Так называлась лаборатория, изготовлявшая множество электронных трубок по заказам остальных лабораторий. Трубки сперва выдувались в соседней маленькой стеклодувной; а затем в собственно-вакуумной, большой полутёмной комнате, обращённой на север, откачивались тремя гудящими вакуумными насосами. Насосы, как шкафы, перегораживали комнату. Даже днём здесь горели электрические лампы. Пол был выложен каменной плиткой — и постоянно стоял гул от шагов людей, от передвига стульев. У каждого насоса сидел или похаживал свой вакуумщик, заключённый. В двух-трёх местах за столиками ещё сидели заключён-

ные. А из вольных были только одна девушка Тамара да начальник лаборатории, капитан.

Этому своему начальнику Клара была представлена в кабинете Яконова. Он был толстенький немолодой еврей с каким-то налётом равнодушия. Ничем уже больше не страшая Клару, он кивнул ей идти за собой, а на лестнице спросил:

— Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не знаете?

Клара ответила невнятно. Ещё ко всему страху не хватало позора — сейчас разоблачат, что она невежда, и будут над ней смеяться,

Как в клетку со зверьми, она вступила в лабораторию, где обитали чудовища в синих комбинезонах. Она даже глаза поднять боялась.

Трое вакуумщиков, действительно, ходили как пленные звери возле своих насосов — у них был срочный заказ, и их вторые сутки не пускали спать. Но у среднего насоса арестант лет за сорок, с плешиной, запущенно-небритый, остановился, раскрылся в улыбке и сказал:

— Во-о! Пополнение!

И сразу страх сняло. Столько доброты и простоты было в этом восклицании, что Клара только усилием лица удержалась от ответной улыбки

Младший вакуумщик — у него был самый маленький из насосов, тоже остановился. Это был совсем юноша с весёлым, чуть плутоватым лицом и невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал такое чувство, будто он застигнут врасплох. Таким взглядом ещё никогда в жизни ни один молодой человек на Клару не смотрел.

Зато старший вакуумщик Двоетёсов, чей громадный насос в глубине комнаты особенно громко гудел,— высокий нескладный мужчина, сам поджарый, а с отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару издали и ушёл за шкаф, словно чтоб не видеть подобной мерзости.

Позже Клара узнала, что это не обидно, что таков он бывал со всеми вольными, при входе начальства нарочно включал какой-нибудь гуд, чтоб надо было его перекрикивать. За наружностью своей он откровенно не следил, мог прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, ещё висящей на длинной нитке, с дырой на спине, или вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезоном. Он любил говорить:

— А я — у себя на Родине! В своём отечестве — чего мне стесняться?

Среднего вакуумщика заключённые, даже и молодые, звали просто Земеля, на что он ничуть не обижался. Он был из тех, кого психологи называют «солнечными натурами», а в народе

говорят — «рот до ушей, хоть завязки пришей». В последующие недели наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не жалел ни о чём пропавшем, будь то завалившийся карандаш или вся его погибшая жизнь, ни на кого и ни на что не сердился, в равной мере и не боялся никого. Он был всамделишный хороший инженер, только моторист-авиационник, в Марфино был завезен по ошибке, но прижился здесь и не рвался в другое место, справедливо считая, что вряд ли там будет лучше.

Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в тишине послушать или рассказать что-нибудь:

— Бывало, возьми пятачок и иди, чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в руки суют,— широко улыбался он.— Дерьмом никто не торговал. Сапоги — так сапоги, десять лет без починки носишь, а с починкой — пятнадцать. Кожу-то на головках не обрезали, как сейчас, а напускали, чтобы под ногой вкруговую сходилась. Ещё эти были... как они назывались?.. красные расписные на спиртовой подошве — это ж не сапоги, это душа вторая! — Весь он растаивал в улыбке и жмурился как на слабое тёплое солнышко.— Или, например, на станциях... Никогда на полу не лежали, по суткам никогда за билетами не душились. Приходи за минуту, покупай, садись, всегда вагоны свободные. Поезда гоняли — не экономили... Вообще — п р о с т о, очень просто жилось...

Старший вакуумщик, покачивая грузным телом и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы из тёмного угла, где его письменный стол был надёжно укрыт от начальства. Он становился посреди комнаты, смотрел как-то избоку, выкаченными глазами, а очки были спущены на нос:

— Земеля! Да ты разве царя помнишь?

— Помню немножко,— извинялся улыбкой Земеля.

— На-прас-но,— качал головой Двоетёсов.— Забывай. А то социализм нужно качать.

— Да ведь, Костя,— робко возражал Земеля.— Социализм-то вроде построен, говорят.

— Ну-у-у? — вылупливался старший вакуумщик.

— Да-а. Ещё с тридцать третьего, что ль, года.

— Это когда на Украине голод был? Так подожди, подожди, а что ж мы теперь вот день и ночь откачиваем?

— Теперь? Коммунизм наверно,— сиял Земеля.

— Да-а?! Вон она-а!..— придурковато гундосил старший вакуумщик и, шаркая, уходил в свой угол.

Для себя или для Клары они такой разговор вели,— но Клара докладывать не ходила.

Обязанности Клары оказались несложны: ей надо было, чередуясь с Тамарой, приходить один день с утра и быть до шести

вечера, а другой день после обеда и — до одиннадцати ночи. Капитан же был всегда с утра, потому что днём его могло требовать начальство; вечерами он никогда не приходил, не ставя своей целью служебное продвижение. Главная задача девушек была — дежурство, то есть, слежка за заключёнными. Помимо того, «для развития», начальник поручал им мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встречалась всего часа два в день. Тамара работала на объекте больше года и обращалась с заключёнными непринуждённо. Кларе даже показалось, что с одним из них она довольно коротка и носит ему книги, но обменивали они их незаметно. Кроме того, тут же, в институте, Тамара ходила на кружок английского языка, где учились вольные, а преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состояла выгода) — заключённые. Тамара быстро рассеяла страхи Клары, что эти люди могут причинить что-нибудь ужасное.

Наконец, и сама Клара разговорилась с одним из заключённых. Правда, это был преступник не государственный, а всего-навсего бытовик, каких в Марфине содержалось очень мало. Это был Иван-стеклодув. Великий мастер, на свою беду. Старуха тёща говорила о нём, что работник он зотолой, а пьяница ещё золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пьяном виде бил жену и громил соседей. Но всё было бы ничего, если бы пути его не скрестились с МГБ. Какой-то авторитетный товарищ без знаков различия вызвал его повесткой и предложил поступить на работу с окладом три тысячи рублей. Иван же работал в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со сдельными он выгонял больше. И он, забыв, с кем имеет дело, запросил четыре тысячи в месяц. Ответственный собеседник добавил двести, Иван упёрся на своём. Его отпустили. В первую же получку он напился и стал буянить во дворе, но милиция, которой раньше бывало не дозваться, тут сразу пришла большим нарядом и увела Ивана. На другой же день был ему суд, дали год, и после суда привезли к тому же начальнику без знаков, который разъяснил, что Иван будет работать на предназначенном ему месте, но только платить ему не будут. Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный уголь.

Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по своей форме, каждый раз новые, электронно-лучевые трубки. Год срока ему кончался, но судимость оставалась, и, чтоб не выслали из Москвы, он очень просил начальство оставить его на этой работе и вольным, хотя б на полутора тысячах.

Никого на шарашке не мог заинтересовать столь бесхитростный рассказ с таким благополучным концом — на шарашке были люди, по пятьдесят суток сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие папу римского и Альберта Эйнштейна. Но Клару

эта история потрясла. Получалось, как сказал Иван,— «что хотят, то и делают».

Политических она дичилась, держала их от себя в осторожно-официальном отдалении. Но и от рассказа стеклодува вдруг осветилась подозрением её голова, что среди этих синих комбинезонов могут встретиться и другие вовсе невинные. А если так — то не осудил ли и её отец когда-нибудь тоже невиновного человека?..

Однако опять же некому было задать этот вопрос: в семье — некому, и на работе — некому. Та дружба с Иннокентием и та прогулка не получили продолжения — может быть потому, что вскоре они с Нарой опять уехали за границу.

Однако в этом году у Клары появился, наконец, друг — Эрнст Голованов. Тоже не на работе она его нашла, он был литературный критик, и как-то Динэра привезла его к ним в дом. Не ахти какой он был кавалер, ростом только-только не ниже Клары (а когда отдельно стоял, то казался и ниже), прямоугольные у него были лоб и голова на прямоугольном туловище. Лишь немного старше Клары, он выглядел уже как будто средних лет, с брюшком и спортивно совсем не развит. (Откровенно говоря, и фамилия его была по паспорту Саунькин, а Голованов — псевдоним.) Зато человек начитанный, развитый, интересный, и уже кандидат Союза Писателей.

Как-то была она с ним в Малом театре. Шла «Васса Железнова». Спектакль производил унылое впечатление. Он шёл при зале, заполненном меньше, чем наполовину. Вероятно, это и убивало артистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят служащие в учреждение, и радовались, когда можно было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно играть: и грим, и роли казались забавой, не достойной взрослого человека. Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет тихо, совсем как в комнате: «Ну, милые, ладно, хватит кривляться!» — и спектакль разрушится. Унижение актёров передалось и зрителям. Всем передалось это ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и неловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в антрактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары переговаривались полушёпотом и беззвучно ходили по фойе.

Клара с Эрнстом тоже прошагали так первый антракт. Эрнст оправдывался за Горького и возмущался за Горького, что недостойно так его играть, бранил откровенно-халтурившего сегодня народного артиста Жарова, но ещё смелее — общую рутину в министерстве культуры, которая подрывала и наш театр с его замечательными реалистическими традициями и доверие к нему зрителя. Эрнст не только писал складно, но и правильно, складно говорил, не жуя, не покидая фраз, даже когда горячился.

Во втором антракте Клара попросила остаться в ложе. Она сказала:

— Мне потому надоело смотреть и Островского, и Горького, что надоело это разоблачение власти капитала, семейного угнетения, старый женится на молодой. Мне надоела эта борьба с призраками. Уже пятьдесят лет, уже сто лет прошло, а мы всё машем руками, всё разоблачаем, чего давно нет. А о том, что есть — пьесы не увидишь.

— Отчасти верно.— Эрнст с благожелательной улыбкой и любопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Девушка эта никак не поражала наружностью, но с ней не соскучишься.— О чём же, например?

Никого не было ни в соседних ложах, ни под ними в партере. Снизив голос и стараясь не очень выдать государственную тайну и тайну своего участия в этих людях, Клара рассказала Эрнсту, что работает с заключёнными, разрисованными ей как псы империализма, но при знакомстве ближе они оказались такими вот и такими. И мучил её вопрос, пусть скажет Эрнст — ведь среди них есть и невиновные?

Эрнст обстоятельно выслушал и ответил солидно, как об думанном уже:

— Конечно, есть. Это неизбежно при всякой пенитенциарной системе.

Клара не поняла, какая система, и в ответ не вдумалась, а хотелось ей кончить выводом стеклодува:

— Но тогда, Эрнст! Ведь это получается — что хотят, то и делают! Это же ужасно!

Сильная рука теннисистки сжалась в кулак на красном бархате барьера. Свою короткопалую кисть Голованов плоско положил на барьер точно рядом, но не поверх клариной руки, этих вольностей невзначай он не применял.

— Нет,— мягко, но уверенно объяснил он,— не «что хотят, то и делают». Кто это — «делает»? Кто это — «хочет»? История. Нам с вами иногда кажется это ужасным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует закон больших чисел. Чем на большем материале развёртывается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок — судебных ли, тактических, идеологических, экономических. Мы охватываем процесс только в его основных определяющих чертах, и главное — убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иногда кто-то страдает. Не всегда по заслугам. А убитые на фронте? А совсем бессмысленно погибшие от Ашхабадского землетрясения? от уличного движения? Растёт уличное движение — должны расти и жертвы. Мудрость жизни в том, чтобы принимать её в её развитии и с её неизбежными ступеньками жертв.

Что ж, в этом объяснении был резон. Клара задумалась.

Уже дали два звонка, и зрители сходились в зал.

В третьем акте колокольчиком разыгралась артистка Роек, игравшая младшую дочь Вассы, и стала вытягивать весь спектакль.

По-настоящему Клара и сама не понимала, что интересовал её не какой-то где-то невиновный человек, который, может быть, уже давно сгнил за Полярным Кругом по Закону больших чисел,— а вот этот младший вакуумщик, голубоглазый, со смугло-золотистым отливом щёк, почти мальчишка, несмотря на двадцать три года. С первой же встречи в его взгляде не гасло радостное преклонение перед Кларой, постоянно её будоражившее. Она не могла расчесть и сопоставить, что Ростислав приехал из лагеря, где два года не видел женщин. Она только первый раз в жизни чувствовала себя предметом восхищения.

Впрочем, восхищение это не овладевало соседом Клары целиком. В этом затворничестве, почти напролёт при электрическом свете, в полутёмной лаборатории, какой-то своей наполненной скорометчивой жизнью жил этот юноша: то, скрываясь от начальства, он что-то мастерил; то украдкой учил в служебное время английский язык; то звонил по телефону своим друзьям в другие лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре. Всегда он двигался порывисто и всегда, в каждую минуту, а особенно в сию минуту казался без остатка захваченным чем-то бурно интересным. И восхищение Кларой было одним из таких бурно интересных его занятий.

При этом он не забывал следить и за своей наружностью, из-под комбинезона у него под пестроватым галстуком всегда виднелось что-то безукоризненно белое. (Клара не знала, что это и была манишка — изобретение Ростислава, шестнадцатая часть казённой простыни.)

Молодые люди, с которыми Клара встречалась на воле, и особенно Эрнст Голованов, уже преуспели в служебном положении, одевались, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не уронить себя. По соседству же с Ростиславом Клара чувствовала, что легчает, что и ей хочется озорнуть. Всё с растущей симпатией она тайком присматривалась к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и добродушный Земеля есть те самые цепные псы империализма, против которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хотелось узнать именно о Ростиславе — за какое злодейство он наказан? долго ли ему ещё сидеть? (Что он не женат — было ясно.) Спросить его самого она не решалась, представляя, что такие вопросы должны травмировать человека,

возрождая перед ним его отвратительное прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы исправиться.

Прошло ещё месяца два. Клара уже вполне обвыклась со всеми, множество раз при ней разговаривали о всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал, когда на вечернем дежурстве во время ужина заключённых Клара оставалась в лаборатории одна, и неизменно стал приходить в это время — то за оставленными вещами, то позаниматься в тишине.

В эти его вечерние приходы Клара забыла все предупреждения оперуполномоченного...

Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стремительный разговор, от которого, как от напора дикой воды, рушатся жалкие человеческие перегородки.

Никакого отвратительного прошлого этому юноше не предстояло стряхивать. У него была только ни за что погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отведать всего, чего не успел.

Оказалось, он жил с матерью в подмосковной деревне, у канала. Он только кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу. Руська и два его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с американцами рыбу. Всё сошло как будто благополучно, Руська поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали — тайком, на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. (Оказывается, МГБ всегда старается арестовать человека так, чтоб он ничего не успел спрятать и чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак.) Его посадили на Лубянку (Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Марфине). Началось следствие. От Ростислава добивались — какое задание он получил от американской разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному выражению, Руська был ещё телёнок и только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво: с Лубянки, откуда никого добром не выпускают,— Руську выпустили.

Это было ещё в сорок пятом году. На этом он остановился вчера.

Всю ночь Клара была в возбуждении от его начатого рассказа. Сегодня днём, презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего малого насоса — и беседа их возобновилась.

К обеденному перерыву они были уже как дети, по очереди кусающие одно большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не разговорились. Они едва успевали высказываться. Перебивая её в нетерпеньи, он уже касался её рук — и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв —

вдруг новый смысл снизошёл на то, что плечо у них было к плечу и рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела вомлевшие в неё ярко-голубые глаза.

Срывающимся голосом Ростислав говорил:

— Клара! Кто знает — когда ещё мы будем так сидеть? Для меня это — чудо! Я поклоняюсь вам! (Он уже сжимал и ласкал её руки.) — Клара! Мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я в любой одиночке мог согреваться этой минутой! Дайте мне поцеловать вас!!

Клара ощущала себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Ростислав притянул её и отпечатал на её губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. И она отвечала ему...

Наконец, она оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясённая...

— Уйдите...— попросила она.

Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.

— Сейчас пока — уйдите! — требовала Клара.

Он заколебался. Потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару — и его как укачнуло туда, за дверь.

Вскоре все вернулись с перерыва.

Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралось — но не стыд совсем, а если радость — то не покойная.

Она услышала разговоры, что арестантам разрешена ёлка.

Она недвижно просидела три часа, шевеля только пальцами: плела из разноцветных хлорвиниловых проводков — корзиночку, подарок на ёлку.

А Иван-стеклодув, воротясь со свидания, выдул двух смешных стеклянных чёртиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно позвенивающий ясный месяц.

46

Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было нехолодно. А перед обедом, когда семеро заключённых ступили из голубого автобуса на прогулочный дворик шарашки,— первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной.

Такая снеговинка, шестигранная правильная звёздочка, упала и Нержину на рукав старой фронтовой порыжевшей шинели. Он остановился посреди двора и глубоко заглатывал воздух.

Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут, предупредил, что время сейчас не прогулочное и надо зайти в здание.

Это было досадно. Не хотелось, да просто невозможно было никому рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничьего участия. Ни говорить. Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя всё это внутреннее, что он привёз, пока оно ещё не расплылось, не стало воспоминанием.

Но именно одиночества — не было на шарашке, как и во всяком лагере. Всегда везде были камеры, и купе *вагон-заков*, и теплушки телячьих вагонов, и бараки лагерей, и палаты больниц — и всюду люди, люди, чужие и близкие, тонкие и грубые, но всегда люди, люди.

Войдя в здание (для заключённых был особый вход — деревянный трап вниз и потом подвальный коридор), Нержин остановился и задумался — куда ж идти?

И придумал.

Чёрной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, минуя составленные там в опрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую площадку третьего этажа.

Эта площадка была отведена под ателье художнику-зэку Кондрашёву-Ивáнову. К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в качестве крепостного живописца: вестибюли и залы Отдела Спецтехники были просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более многочисленны были собственные квартиры замминистра, Фомы Гурьяновича и других близких к ним работников, и ещё более настоятельной необходимостью было — украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами.

Правда, Кондрашёв-Иванов плохо удовлетворял этим запросам: картины он писал хотя большие, хотя бесплатные, но *не красивые*. Полковники и генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему втолковать, как надо рисовать, какими красками, и со вздохом брали то, что есть. Впрочем, вправленные в золочёные рамы, картины эти выигрывали.

Нержин, миновав на всходе большой уже законченный заказ для вестибюля Отдела Спецтехники — «А. С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф», вывернул на последний марш лестницы и, ещё прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком — «Изувеченный Дуб», двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать.

По стенам лестничного пролёта висели и другие полотна. Кое-какие были укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна — одно с севера, другое с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходило решёткой и розовой занавеской оконце Железной Маски, не дотянувшееся до божьего света.

Ничего более не было здесь, ни даже стула. Вместо того — два чурбачка стойком, повыше и пониже.

Хотя лестница худо отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашёва-Иванова лежала на полу, а сам он, вылезающий руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнущийся, и как будто не мёрз. Большие очки, укрупнявшие и устрожавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашёва. Взгляд его был упёрт в картину. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках.

Услыша осторожные шаги, оглянулся.

Они встретились глазами, ещё продолжая каждый думать о своём.

Художник не был рад посетителю — он нуждался сейчас в одиночестве и молчании.

Но более того — он был рад ему. И, не лицемеря ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул:

— Глеб Викентьич?! Милости прошу!

И гостеприимно развёл руками с кистью и палитрой.

Доброта — обоюдное качество для художника: она питает его воображение, но и разрушает его распорядок.

Нержин застенчиво замялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шёпотом, будто ещё кого-то третьего боялся здесь разбудить:

— Нет, нет, Ипполит Михалыч! Я пришёл, если можно?.. помолчать здесь...

— Ах, да! ах, да! ну, разумеется! — так же тихо закивал художник, быть может уже по глазам заметив или вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чурбачок.

Подобрав полы шинели, которые в лагере он уберёг от обрезания, Нержин опустился на чурбак, откинулся к балясинам перил и — очень ему хотелось закурить! — не закурил.

Художник уставился в то же место картины.

Замолчали...

В Нержине приятно-тонко ныло разбуженное чувство к жене. Как будто в драгоценной пыльце были те места пальцев, которыми он на прощанье касался её рук, шеи, волос.

Годами живёшь без того, что отпущено на земле человеку.

Оставлены тебе: разум (если он вмещается в тебя). Убеждения (если ты до них созрел). И по самое горлышко — забот об общественном благе. Кажется — афинский гражданин, идеал человека.

А косточки — нет.

И одна эта женская любовь, которой ты лишён, словно перевешивает весь остальной мир.

И простые слова:

— Любишь?

— Люблю! А ты? —
сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь наполняют душу тихим праздничным звоном.

Сейчас Глеб не мог бы представить или вспомнить каких-либо недостатков жены. Она казалась сплетённой из одних достоинств. Из верности.

Жаль, не решился поцеловать её ещё в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать.

Губы у жены — развыклые, слабые. И как утомлена! И как затравленно сказала о разводе.

Развод перед законом? Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел?

Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот — Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали её за бесценок,— но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу планеты.

Вот и Надя. Разводится, чтоб избежать преследований. А разведётся — и сама не заметит, как выйдет замуж.

Почему от её последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось, что именно так прощаются навсегда...

Нержин сидел и сидел в молчании — и избыток послесвиданной радости, который ещё распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.

«Тебе идёт здесь»,— сказала она.

Ему идёт быть в тюрьме!

Это правда.

По сути вовсе не жаль пяти просиженных лет. Ещё даже не отдалясь от них, Нержин уже признал их для себя своеродными, необходимыми для его жизни.

Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решётки, вмурованные ею?

Или где лучше узнать людей, чем здесь?

И самого себя?

От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его железная предуказанная единственная тропа тюрьмы!

Как Спиридон говорит: «Своя воля клад, да черти его стерегут».

Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к насмешкам века,— что потерял он, севши в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по Подмосковью. Ну, нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их *устраивать,* и за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Но даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жильё его, и мастерская была там — узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал, и посетители спрашивали: «Вы переезжаете?» Стол был у них единственный, и когда на нём разворачивался натюрморт — до окончания картины они с женой обедали на стульях.

В войну не стало масла для красок — он брал пайковое подсолнечное и разводил на нём. За карточки надо было служить, его послали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки. Заказано было десять таких портретов, но из десяти отличниц он выбрал одну и изводил её долгими сеансами. Однако рисовал её совсем не так, как надо было командованию — и никто потом не хотел брать этого портрета, названного: «Москва, сорок первый год».

А сорок первый год на этом портрете — явился. Это была девушка в противоипритном костюме. Медно-рыжие буйные волосы её выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое что-то. Но не расслаблена по-девически была фигура! Готовые к борьбе руки держались за ремень противогаза, а противоипритный чёрно-серый костюм ломался острыми жёсткими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости — и виделся как латы рыцарских времён. Благородное, жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашёв-Иванов увидел Орлеанскую Деву!

Очень, кажется, близко это всё получилось к «не забудем! не простим!», но переходило за край, показывало что-то уже не управляемое — и картины испугались, не взяли, не выставили ни

разу нигде, она годы стояла в комнатёнке художника, отвёрнутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста.

Сын Леонида Андреева Даниил написал роман и собрал два десятка друзей послушать его. Литературный четверг в стиле девятнадцатого века... Этот роман обошёлся каждому слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашёв-Иванов, правнук декабриста Кондрашёва, приговорённого за восстание к двадцати годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь полюбившей его гувернантки-француженки.

Правда, в лагерь Кондрашёв-Иванов не попал, а прямо после того, как расписался за приговор ОСО, привезен был в Марфино и поставлен писать картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашёв писал развешенные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж? Имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать пять, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли ещё второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других.

Здесь он лишён был встречаться и беседовать с другими художниками. И смотреть картины других. И по альбомам репродукций, просочившимся через таможню, узнавать, как там и куда растёт западная живопись.

А куда б она ни росла — это никак не могло влиять и отношения не имело к работе Кондрашёва-Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где всё открывалось и создавалось, все пять вершин были заняты раз и навсегда: две вершины — рисунок и цвет, как мог увидеть только он, две вершины — мировое Добро и мировое Зло, а пятая — сам художник.

Он не мог живыми ногами вернуться к тем пейзажам, которые когда-то видел, и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним и особенно к истинным их цветам он прозрел в камерах, полутёмных от намордников,— и теперь по памяти писал ненаписанные прежде натюрморты и пейзажи.

Один из тех натюрмортов в соотношении египетского квадрата, четыре к пяти (Кондрашёв первейшее значение придавал соотношению сторон) и сейчас висел рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стоймя, ребром — ярко-начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но воспринимался он как доблестно горящий щит! И стоял рядом тёмно-металлический кувшин, в мелких углубинах воронёный — не для вина, скорей для свежей воды. А ещё по задней стене спадала жёлто-золотая парча (всеми оттенками жёлтого особенно увлекался сейчас Кондрашёв) и воспринималась как

накидка Невидимого. Что-то было в сочетании этих трёх предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступать.

(Никто из полковников не брал этого натюрморта, настаивая таз переставить плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз.)

Кондрашёв писал сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не довёл до той ступени, которая даёт мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом всё меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что портит, а не исправляет.

Он оставлял их — отворачивал к стене, задёргивал. Картины от него отделялись, отдалялись, — а когда он снова свеже взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши,— прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но всё-таки он их написал!

...Уже полный внимания, Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашёва.

Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда тёк ручей — почти нельзя было понять: он не тёк вовсе, его поверхность была готова взяться ледком. Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок — это был отсвет палых листьев, устлавших дно. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в вытаинах между ними торчала жёлкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у берега, неосязаемо-дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега. Но не тут было главное, а — в глубине: густою грудью леса стояли оливково-чёрные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась единственная берёза. От её жёлтого нежного огня ещё мрачней и сплочённей стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадёжных пегих клочьях, и в такой же пасмури заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом. Но и не это ещё было главное, а — стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой. И даже ещё какое-то другое равновесие.

В эту картину сейчас и уставился автор.

Был неотклонимый закон у творчества, Кондрашёв хорошо и давно его знал, пыталсяостояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот был — что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счёт, не составляло никакой заслуги автора. Только то единственное, что писалось сегодня, только оно было средоточие всего его жизненного опы-

та, высшей точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта.

А оно не удавалось!

Каждое из прежних до того, как удаться, тоже не удавалось, но прежнее отчаяние было всё забыто, а теперь вот это единственное — первое, на котором он учился писать по-настоящему!— оно́ не удавало́сь — и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было никогда никакого!

Вот эта вода — она была и налита, и холодна, и глубока, и неподвижна — но всё это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы. Этого синтеза — понимания, успокоения, всесоединения — сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашёв никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот это высшее успокоение — передавала его вода или нет? Он изнывал и отчаивался понять — передавала или нет?

— А вы знаете, Ипполит Михалыч. Я, кажется, начинаю с вами соглашаться: все эти места — Россия.

— Не Кавказ?— быстро обернулся Кондрашёв-Иванов. Очки его не дрогнули на носу, как прилитые.

Этот вопрос, хотя далеко и не первый, тоже был не лишён важности. Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашёва: они казались им не русскими, а кавказскими, что ли — слишком величественными, слишком приподнятыми.

— Вполне могут быть такие места в России,— всё уверенней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошёлся, рассматривая «Утро необыкновенного дня» и другие пейзажи.

— Ну, разумеется! ну, разумеется! — волновался художник и крутил головой.— Не только могут быть в России — но и есть! Я бы вас повёз, если бы без конвоя! Поймите, публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая,— скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцы-бунтари? Пётр Первый? декабристы? народовольцы?

— У-у,— понравилось Нержину.— Это верно. Но всё-таки, Ипполит Михалыч, как хотите, я не понимаю вашей страсти к крайним выражениям. Ну вот, изувеченный дуб. Ну почему он обязательно на обрыве скалы? Под ним конечно — бездна, меньше вы не принимаете. И небо — не только грозовое, но оно вообще никогда не знало солнца, такое небо. И все ураганы, какие за двести лет где-нибудь дули — все тут прошли, и ветви ему закручивали, и с когтями рвали его из скалы. Я знаю, вы шекспирист, вам если злодейство — то самое непомерное. Но это устарело, в статистическом смысле такие ситуации редко кого настигают. Не надо этих больших букв над добром и злом...

— Да это слышать невозможно!!— разгневался художник и потрясал длиннючими руками.— Что устарело?! Злодейство устарело??? Да только в нашем веке оно и проявилось впервые, при Шекспире были телячьи забавы! Не только большие, но пятиэтажные буквы надо над Злом и Добром, и чтоб мигали как маяки! А то мы заблудились в нюансах! Статистически редко? А — каждого из нас? А — сколько нас миллионов?

— Вообще-то да...— покачал головой и Нержин.— Если в лагере нам предлагают отдать остатки совести за двести грамм черняшки... Но это как-то беззвучно делается, как-то непоказно...

Кондрашёв-Иванов ещё выпрямился, ещё воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту. Смотрел же он ещё вверх и вперёд, как Эгмонт, ведомый на казнь:

— Но никогда никакой лагерь не должен сломить душевной силы человека!

Нержин усмехнулся со злою трезвостью:

— Не должен, может быть,— но сламывает! Вы ещё не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, а выходят — если выходят — неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание.

— Н-нет!! — Кондрашёв-Иванов расправил длинные руки, готовый сейчас же схватиться с целым миром.— Нет! Нет! Нет! Да это было бы унизительно! Да для чего тогда и жить? Да почему ж тогда, ответьте — бывают верны возлюбленные в разлуке? Ведь бытие требует, чтоб они изменили! А почему бывают разными люди, попавшие в одинаковые условия, хоть и в тот же лагерь? Ещё неизвестно, кто кого формирует: жизнь — человека или сильный благородный человек — жизнь!

Нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями:

— В человека от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы — ядро человека, это его я! Никакое внешнее бытие не может его определить! И ещё каждый человек носит в себе Образ Совершенства, который иногда затемнён, а иногда так явно выступает! И напоминает ему его рыцарский долг!

— Да, и вот ещё,— почесал в затылке Нержин, тем временем опять осевший на чурбак.— Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя, конечно, Мите Сологдину это нравится. Девчёнка-зенитчица у вас — рыцарь, медный поднос у вас — рыцарский щит...

— Ка-ак?— изумился Кондрашёв.— Вам это не нравится? Перехожу меру! Ха! ха! ха!— грандиозным хохотом обгремелся

он, и по всей лестнице, как по скалам, раздалось эхо от его хохота. И как пикою с коня поражая Нержина, ткнул в его сторону руку, заострённую пальцем:— А кто изгнал рыцарей из жизни? Любители денег и торговли! Любители вакхических пиров! А кого не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый,— не хватает *рыцарей!!* При рыцарях не было концлагерей! И душегубок не было!

И вдруг смолк, и со всей конской высоты мягко снизился на корточки рядом с гостем и, блеща очками, спросил шёпотом:

— Вам — показать?

И так всегда кончаются споры с художниками!

— Конечно, покажите!

Кондрашёв, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полотенко, набитое на подрамник, и принёс его, держа к Нержину обратной серой стороной.

— Вы — о Парсифале знаете? — глуховато спросил он.

— Что-то связано с Лоэнгрином.

— Его отец. Хранитель чаши святого Грааля. Мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно впервые увидит Образ Совершенства...

Кондрашёв закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам.

Нержин удивился, почему такое маленькое то, что он сейчас увидит.

Художник открыл веки:

— Это — только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я её, наверно, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел — замок! святого!! Грааля!!!

И он обернулся поставить эскиз перед Нержиным на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света, идущего *оттуда.* И отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся.

Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса — дремучего, первозданного. И какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие враждебные уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху слева, из лесу, светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и алом плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в несделанном последнем шаге, готовая, по воле всадника,

и попятиться и перенестись — ей по силам и крылато перенестись.

Но всадник не смотрел на бездну перед лошадью. Растерянный, изумлённый, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на всё верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище Солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита,— не чётко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и всё же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства,— стоял в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля.

47

Звонок обеденного перерыва разнёсся по всем закоулкам здания семинарии-шарашки, достиг и отдалённой лестничной площадки.

Нержин поспешил на воздух.

Как ни ограничено было общее пространство прогулки, он любил прокладывать себе дорожку, по которой не шли все, и как в камере, три шага вперёд и назад, но ходил один. Так добывал он себе на прогулках короткое благо одиночества и самоустояния.

Пряча гражданский костюм под долгими полами своей безызносной артиллерийской шинели (неснятие костюма вовремя было опасное нарушение режима, и с прогулки могли прогнать — а идти переодеваться было жалко прогулочного времени),— Нержин быстрыми шагами дошёл и занял свою протоптанную короткую дорожку от липы до липы, уже на самом краю дозволяемой зоны, вблизи того забора, что выходил к архиерейскому кораблевидному дому.

Не хотелось дать себя расплескать в пустом разговоре.

Снежинки кружились всё такие же редкие, невесомые. Они не составляли снега, но и не таяли, упав.

Нержин стал ходить почти ощупью, с запрокинутой к небу головой. От глубоких вдохов тело всё заменялось внутри. А душа сливалась с покоем неба — даже вот такого мутного, зрелого снегом.

Но тут окликнули его:

— Глебка...

Нержин оглянулся. Тоже в старой офицерской шинели и зим-

ней шапке (и он был арестован с фронта зимой), не полностью выдвинувшись из-за ствола липы, стоял Рубин. Перед другом-однокорытником он испытывал сейчас неловкость, сознание некрасивого поступка: друг как бы ещё продолжал свидание с женой — и в такую святую минуту приходилось его прерывать. Эту неловкость Рубин выражал тем, что не вовсе выдвинулся из-за липы, а лишь на полбороды.

— Глебка! Если я очень нарушаю настроение — скажи, исчезну. Но весьма нужно поговорить.

Нержин посмотрел в просительно-мягкие глаза Рубина, потом на белые ветви лип — и опять на Рубина. Сколько бы ни ходить тут, по одинокой тропке, ничего больше не выбрать из того горя-счастья в душе. Оно уже застывало.

Жизнь продолжалась.

— Ладно, Лёвчик, вали!

И Рубин вышел на ту же тропку. По его торжественному лицу без улыбки смекнул Глеб, что случилось важное.

Нельзя было искусить Рубина тяжелей: нагрузить его мировою тайной и потребовать, чтоб он ни с кем не поделился из самых близких! Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки — он не открыл бы им своего сверхзадания! Но быть среди зэков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны и не сказать даже Нержину — это было уже сверхчеловеческое требование!

Сказать Глебу — всё равно, что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поделиться, потому что он один был в курсе классификации голосов и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что — была крайняя необходимость ему сказать и договориться сейчас, пока есть время, а потом пойдёт горячка, от лент не оторвёшься, а дело расширится, надо брать помощника...

Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной тайны.

Две облезлые фронтовые шапки, и две потёртые шинели, плечами отталкиваясь, а ногами черня и расширяя тропу, они медленно стали ходить по ней рядом.

— Дитя моё! Разговор — *три нуля!* Даже в Совете Министров об этом знают пара человек, не больше.

— Вообще-то я — могила. Но если такая заклятая тайна — может, не говори, не надо? Меньше знаешь — больше спишь.

— Дура! Я б и не стал, мне за это голову отрубят, если откроется. Но мне нужна будет твоя помощь.

— Ну, бузуй.

Всё время присматривая, нет ли кого поблизости, Рубин тихо

рассказал о записанном телефонном разговоре и о смысле предложенной ему работы.

Как ни мало любопытен стал Нержин в тюрьме — он слушал с густым интересом, раза два останавливался и переспрашивал.

— Пойми, мужичок,— закончил Рубин,— это — новая наука, *фоноскопия,* свои методы, свои горизонты. Мне и скучно и трудно входить в неё одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоём! Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки?

— Чего доброго,— промычал Нержин,— а то — науки! Пошла она к кобелю под хвост!

— Ну, правильно, Аркезилай из Антиоха этого бы не одобрил! Ну, а — досрочка тебе не нужна? В случае успеха — добротная досрочка, чистый паспорт. А и без всякого успеха — упрочишь своё положение на шарашке, незаменимый специалист! Никакой Антон тебя пальцем не тронет.

Одна из лип, в которые упиралась тропка, имела ствол, раздвоенный с высоты груди. На этот раз Нержин не пошёл от ствола назад, а прислонился к нему спиной и откинулся затылком точно в раздвоение. Из-под шапки, сдвинутой на лоб, он приобрёл вид полублатной, и так смотрел на Рубина.

Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его.

— Слушай, Лев... Все эти атомные бомбы, ракеты «фау» и новорожденная твоя фоноскопия...— он говорил рассеянно, как бы не решив, что ж ответить,— ...это же пасть дракона. Тех, кто слишком много знает, от роду веков замуровывали в стенку. Если о фоноскопии будут знать два члена совета министров, конечно Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то *досрочка* нам будет — из пистолета в затылок. Кстати, почему в ЧК-ГБ заведено расстреливать именно в затылок? По-моему, это низко. Я предпочитаю — с открытыми глазами и залпом в грудь! Они боятся смотреть жертвам в глаза, вот что! А работы много, берегут нервы палачей...

Рубин помолчал в затруднении. И Нержин молчал, всё так же откинувшись на липу. Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперёк переговорено всё на свете, всё известно — а вот глаза их, тёмно-карие и тёмно-голубые, ещё изучающе смотрели друг на друга.

Переступить ли?..

Рубин вздохнул:

— Но такой телефонный разговор — это узелок мировой истории. Обойти его — нет морального права.

Нержин оживился:

— Так ты и бери дело за жабры! А что ты мне вкручиваешь

тут — новая наука да досрочка? У тебя цель — словить этого молодчика, да?

Глаза Рубина сузились, лицо ожесточело.

— Да! Такая цель! Этот подлый московский стиляга, карьерист, стал на пути социализма — и его надо убрать.

— Почему ты думаешь, что — стиляга и карьерист?

— Потому что я слышал его голос. Потому что он спешит выслужиться перед боссами.

— А ты себя не успокаиваешь?

— Не понимаю.

— Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться — через границу, не называя даже своего имени?

— Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную службёнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю? А на Западе сразу — мировой скандал и миллион в карман.

— М-да-а... Но всё-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трёхсот до двух тысяч четырёхсот герц... А как ты думаешь, он — правду сообщил?

— То есть, относительно радиомагазина?

— Да.

— В какой-то степени очевидно — да.

— «В этом есть рациональное зерно»? — передразнил Нержин.— Ай-ай-ай, Лёвка-Лёвка! Значит, ты становишься на сторону воров?

— Не воров, а — разведчиков!

— Какая разница? Такие же стиляги и карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона в карман! Или — ты не слышал их голосов?

— Дурень! Ты безнадёжно отравлен испареньями тюремной параши! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира! Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? — Лицо Рубина выражало страдание.

Нержин сбил жаркую шапку назад и опять откинулся головой в раздвоение ствола:

— Слушай, у кого это я недавно читал чудесное стихотворение о двух Алёшах...?

— То было другое время, ещё неотдифференцированных понятий, ещё не прояснившихся идеалов. Тогда — могло быть.

— А теперь прояснились? В виде ГУЛага?

— Нет! В виде нравственных идеалов социализма! А у капитализма их нет, одна жажда наживы!

— Слушай,— уже и плечами втирался Нержин в раздвоение липы, устраиваясь для длинного разговора,— какие такие нравственные идеалы социализма, ты мне скажешь? Мы не только на земле их не видим, ну допустим кто-то испортил эксперимент, но где и когда они обещаны, в чём они состоят? А? Ведь весь и всякий социализм — это какая-то карикатура на Евангелие. Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путём.

— И этого мало? А в каком обществе во всю историю это было?

— Да в любом хорошем свинарнике есть и равенство, и сытость! Вот одолжили — равенство и сытость! Вы нам — нравственное общество дайте!

— И дадим! Только не мешайте! На дороге не стойте!

— Не мешайте бомбы выкрадывать?

— Ах, вывороченные мозги! Но почему ж все умные трезвые люди...

— Кто? Яков Иванович Мамурин? Григорий Борисович Абрамсон?..— смеялся Нержин.

— Все светлые умы! все лучшие мыслители Запада, Сартр! — все за социализм! все против капитализма! Это становится уже трюизмом! А тебе одному неясно! Обезьяна прямоходящая!

Рубин наклонялся на Нержина, корпусом на него наседал и тряс растопыренными пятернями. Нержин отталкивался в грудки:

— Ладно, пусть обезьяна! Но не хочу я разговаривать в твоей терминологии — какой-то «капитализм»! какой-то «социализм»! Я этих слов не понимаю и не могу употреблять!

— Тебе — Язык Предельной Ясности? — рассмеялся Рубин, сорвался с напряжения.

— Да, если хочешь!

— А что ты понимаешь?

— Я — вот понимаю: своя семья! неприкосновенность личности!

— Неограниченная свобода?

— Нет, моральное самоограничение.

— Ах, философ утробный! Да разве с этими расплывчатыми амёбными понятиями ты проживёшь в двадцатом веке? Ведь все эти понятия классовые! Ведь они зависят от...

— Ни от хрена они не зависят! —отбился и выпрямился из углубления Нержин.— Справедливость — ни от чего не зависит!

— Классовое! Классовое понятие! — тряс Рубин пятерню над его головой.

— Справедливость — это глава угла, это основа мироздания! — замахал и Нержин. Издали можно было подумать, что

они сейчас будут драться.— Мы родились со справедливостью в душе, нам жить без неё не хочется и не нужно! Помнишь, как Фёдор Иоаныч говорит: я не умён и не силён, меня обмануть не трудно, но *белое от чёрного* я отличить могу! Давай сюда ключи, Годунов!!

— Никуда ты, никуда не денешься!— грозно толковал Рубин.— Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!

— Вот ещё мать твою фанатиков перегрёб,— всю землю нам баррикадами перегородили!— сердился и Нержин.— Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья — так нет же, за ноги дёргают: *кто не с нами, тот против нас!* Оставьте мне простору! Оставьте простору! — отталкивался Нержин.

— Мы тебе оставим — так т е не оставят, с той стороны!

— Вы оста-авите! Кому вы оставляли! На штыках да на танках всю дорогу...

— Дитя моё,— смягчился Рубин,— в исторической перспективе...

— Да на хрена мне перспектива! Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь! — бюрократическое извращение, временный период, переходный строй — но он мне жить не даёт, ваш переходный строй, он душу мою топчет, ваш переходный строй,— и я его защищать не буду, я не полоумный!

— Я ошибся, что затронул тебя после свидания,— совсем мягко сказал Рубин.

— Не причём тут свидание! — не спадало ожесточение Нержина.— Я и всегда так думаю! Над христианами мы издеваемся — мол, ждёте рая, дурачки, а на земле всё терпите,— а мы чего ждём? а мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница — счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно.

— Никогда ты не был марксистом!

— К сожалению был.

— Су-бака! Стерьва!.. Голоса классифицировали вместе... Что ж мне теперь — одному работать?

— Найдёшь кого-нибудь.

— Ко-го?? — нахохлился Рубин, и было странно видеть детски-обиженное выражение на его мужественном пиратском лице.

— Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной жёлто-коричневой жидкостью обливать, а я им — добывай атомную бомбу? Нет!

— Да не им — н а м, дура!

— Кому — нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне — не нужна. Я, как и Земеля, к мировому господству не стремлюсь.

— Но шутки в сторону! — спохватился опять Рубин.— Значит, пусть этот прыщ отдаёт бомбу Западу?..

— Ты спутал, Лёвочка,— нежно коснулся отворота его шинели Глеб.— Бомба — на Западе, её там изобрели, а вы воруете.

— Её там и кинули! — блеснул коричнево Рубин.— А ты согласен мириться? Ты — потворствуешь этому прыщу?

Нержин ответил в той же заботливой форме:

— Лёвочка! Поэзия и жизнь — да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же — твой Алёша Карамазов, он защищает Перекоп. Хочешь — иди бери.

— А ты — не пойдёшь? — ожесточел взгляд Рубина.— Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

— А по-твоему — воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

— Как изолировать?! Идеалистический бред!

— Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали — надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!

Рубин стоял спиной к прогулочному двору и тропинке, а Нержин — лицом и увидел быстро подходившего к ним Доронина.

— Тихо, Руська идёт. Не поворачивайся,— шёпотом предупредил он Рубина. И продолжал громко, ровно: — Слушай, а тебе такой не встречался там шестьсот восемьдесят девятый артиллерийский полк?

— А кого ты там знал? — ещё не переключась, нехотя отозвался Рубин.

— Майора Кандыбу. С ним был интересный случай...

— Господа! — сказал Руська Доронин весёлым открытым голосом.

Рубин кряхтя повернулся, поглядел хмуро:

— Что скажете, инфант?

Ростислав смотрел на Рубина непритворённым взглядом. Лицо его дышало чистотой:

— Лев Григорьич! Мне очень обидно, что я — с открытой душой, а на меня косятся мои же доверенные. Что ж тогда остальным? Господа! Я пришёл вам предложить: хотите, завтра в обеденный перерыв я вам продам всех христопродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать серебренников?

48

Если не считать толстячка Густава с розовыми ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэком. Все сердца привлекал его необидчивый нрав, удатливость, быстрота. Немно-

гие минуты, в которые начальство разрешало волейбол, Ростислав отдавался игре беззаветно; если стоящие у сетки пропускали мяч, он от задней черты бросался под него «ласточкой», отбивал и падал на землю, в кровь раздирая колени и локти. Нравилось и необычное имя его — Руська, вполне оправдавшееся, когда, через два месяца после приезда, его голова, бритая в лагере, заросла пышными русыми волосами.

Его привезли из Воркутинских лагерей потому, что в учётной карточке ГУЛага он числился как фрезеровщик; на самом же деле оказался фрезеровщик липовый и вскоре был заменен настоящим. Но от обратной отсылки в лагерь Руську спас Двоетёсов, взявший его учиться на меньшем из вакуумных насосов. Переимчивый Руська быстро научился. За шарашку он держался как за дом отдыха — в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь с весёлым азартом: как он *доходил* в сырой шахте, как стал делать себе *мостырку* — ежедневную температуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой массы, чтобы два термометра никогда не расходились больше, чем на десятую долю градуса (двумя термометрами его хотели разоблачить).

Но со смехом вспоминая своё прошлое, которое за двадцать пять лет его срока неотступно должно было повториться в будущем, Руська мало кому, и то по секрету, раскрывался в своём главном качестве — донного парня, два года водившего за нос сыскной аппарат МГБ. Достойный крестник этого учреждения, он так же не гнался за славой, как и оно.

И так в пёстрой толпе обитателей шарашки он не был особо примечателен до одного сентябрьского дня. В этот день Руська с таинственным видом обошёл до двадцати самых влиятельных зэков шарашки, составлявших её общественное мнение,— и с глазу на глаз каждому из них возбуждённо сообщил, что сегодня утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его в стукачи, и что он, Руська, согласился, предполагая использовать службу доносчика для всеобщего блага.

Несмотря на то, что личное дело Ростислава Доронина было испещрено пятью сменёнными фамилиями, галочками, литерами и шифрами о его опасности, предрасположенности к побегу, о необходимости транспортировать его только в наручниках,— майор Шикин в погоне за увеличением штата своих осведомителей счёл, что Доронин — юноша, и потому нестоек, что он дорожит своим положением на шарашке и потому будет предан оперуполномоченному.

Тайком вызванный в кабинет Шикина (вызывали, например, в секретариат, а там говорили: «да-да, зайдите к майору Шикину»), Ростислав просидел у него три часа. За это время, слушая

нудные наставления и разъяснения *кума,* Руська своими зоркими ёмкими глазами изучил не только крупную голову майора, поседевшую за подшиванием доносов и кляуз, его черноватое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчиковых ботинках, мраморный настольный прибор и шёлковые оконные шторы; но и, мысленно переворачивая буквы, перечёл заголовки на папках и бумажки, лежавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за полтора метра, и ещё успел прикинуть, какие документы Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает в столе.

Порою Доронин простодушно уставлял свои голубые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За этим голубым простодушием кипели самые отчаянные замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к серому однообразию людской покорности, не мог догадаться.

Руська понимал, что Шикин действительно может услать его на Воркуту, если он откажется стать стукачом.

Не Руську одного, но всё поколение руськино приучили считать «жалость» чувством унизительным, «доброту» — смешным, «совесть» — выражением поповским. Зато внушали им, что доносительство есть и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого доносишь, и содействует оздоровлению общества. Не то, чтоб это всё в Руську проникло, но и не осталось без влияния. И главным вопросом для него был сейчас не тот, насколько это дурно или позволительно — стать стукачом, а — что из этого получится? Уже обогащённый бурным жизненным опытом, множеством тюремных встреч и наслушавшись хлёстких тюремных споров, этот юноша не выпускал из виду и такую ситуацию, когда все эти архивы МГБ будут раскапывать, и всех тайных сотрудников предавать позорному суду.

Поэтому согласиться на сотрудничество с кумом было в дальнем смысле так же опасно, как в ближнем — отказаться от него.

Но кроме всех этих расчётов Руська был художник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх ногами под настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия острой игры. Он томился от бездеятельности в тесном уюте шарашки!

И для правдоподобия уточнив, сколько он будет получать, Руська с жаром согласился.

После его ухода Шикин, довольный своей психологической проницательностью, прохаживался по кабинету и потирал одну крохотную ладонь о другую — такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай доносов. А в это самое время не менее довольный Руська обходил доверенных зэков и исповедывался им, что согласился быть стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы МГБ и выявить подлинных стукачей.

Другого подобного признания не помнили зэки, даже старые.

Руську недоверчиво спрашивали — зачем он, рискуя головой, похваляется. Он отвечал:

— А когда над этой сворой будет Нюрнбергский процесс — вы за меня выступите свидетелями защиты.

Из двадцати узнавших зэков каждый рассказал ещё одному-двум,— и никто не пошёл и не донёс куму! Уже одним этим полста́ людей утвердились выше подозрений.

Событие с Руськой долго волновало шарашку. Мальчишке поверили. Верили ему и позже. Но, как всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин требовал *материалов*. Руське приходилось что-нибудь давать. Он обходил своих доверителей и жаловался:

— Господа! Воображаете, сколько стучат другие, если я вот месяца не служу — а как Шикин жмёт! Ну войдите в положение, подбросьте матерьяльчика!

Одни отмахивались, другие подбрасывали. Единодушно было решено погубить некую даму, которая работала из жадности, чтоб умножить тысячи, приносимые мужем. Она держалась с зэками презрительно, высказывалась, что их надо перестрелять (говорила она так среди вольных девушек, но зэкам быстро стало известно), и сама завалила двоих — одного на связи с девушкой, другого — на изготовлении чемодана из казённых материалов. Руська бессовестно оболгал её, что она берёт от зэков письма на почту и ворует из шкафа конденсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы — полковник МВД, решительно протестовал, — по неотразимой силе тайного доноса дама была уволена и ушла заплаканная.

Иногда Руська стучал и на зэков — по каким-либо незлостным мелочам, сам же предупреждая их об этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спрашивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит и дальше, но уже о таком, в чём не признаешься.

Так Руську постигла судьба двойников. Об игре его по-прежнему никто не донёс, но его стали сторониться. Рассказываемые им подробности, что у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова и по которому можно их ловить, как-то мало вознаграждали за его собственную принадлежность к причту стукачей.

Не подозревал и Нержин, любящий Руську со всеми его интригами, что о Есенине на него стукнул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот рассудил, что книга — Нержина собственная, это выяснится, отнять её никто не отнимет,— а Шикина можно очень занять доносом, что Нержин прячет в чемодане книгу, наверное принесенную ему вольной девушкой.

Ещё сохраняя на губах вкус клариного поцелуя, Руська вышел во двор. Снежная белизна лип была ему цветением, а воздух казался тёплым, как весной. В своих двухлетних скитаниях-скрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на обман сыщиков, он совсем упустил искать любовь женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по вечерам ему было так безутешно-тяжело.

Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного штаба спецтюрьмы он вспомнил, что завтра в обед он здесь хотел задать спектакль. Подоспела как раз пора о том объявлять (раньше было нельзя, чтоб не сорвалось). И, овеянный восхищением Клары, оттого чувствуя себя втройне удачливым и умным, он огляделся, увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного двора — и решительно направился к ним. Шапка его была сдвинута набок и назад, так что лоб весь и уголочек темени с космой волос были доверчиво открыты нехолодному дню.

По строгому лицу Нержина, как видел Руська на подходе, и потом по хмурому обёрнутому лицу Рубина, они говорили о серьёзном. Но Руську встретили незначительной подставной фразой, это было ясно.

Что ж, сглотнув обиду, он толковал им:

— Надеюсь, вам известен общий принцип справедливого общества, что всякий труд должен быть оплачен? Так вот, завтра каждый Иуда будет получать свои серебренники за третий квартал этого года.

— Резинщики! — возмутился Нержин.— Уже и четвёртый отработали — а они только за третий? Почему такая задержка?

— Очень во многих местах надо подписывать платёжную ведомость,— объяснял Руська извиняющимся тоном.— В том числе буду получать и я.

— И тебе тоже платят за третий? — удивился Рубин.— Ведь ты же там служил только полквартала?

— Ну что ж, я — отличился! — с подкупающей открытой улыбкой оглядел обоих Руська.

— И прямо наличными?

— Боже упаси! Фиктивный денежный перевод по почте с зачислением суммы на лицевой счёт. Меня спросили — от какого имени вам прислать? Хотите — от Ивана Ивановича Иванова? Стандарт меня покоробил. Я попросил — нельзя ли от имени Клавы Кудрявцевой? Всё-таки приятно думать, что о тебе заботится женщина.

— И по сколько же за квартал?

— Вот тут-то самое остроумное! Осведомителю по ведомости выписывают сто пятьдесят рублей за квартал. Но надо для приличия переслать по почте, а неумолимая почта берёт три

рубля почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят, и настолько ленивые, что не поднимут вопроса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэтому переводы будут все как один на 147 рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлёт,— эти недостающие тридцать гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех, выходящих от опера, смотреть перевод. Родина должна знать своих стукачей, как вы находите, господа?

49

В этот самый час, когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на тёмную мостовую улицы Матросская Тишина, с булыжников которой скаты автомашин слизали последние остатки снега прошлых дней,— в 318-й комнате студенческого городка на Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток.

318-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном как раз и выходила на Матросскую Тишину, а от окна к двери была продолговата, и вдоль стен её, справа и слева, упнулись по три железных кровати гуськом и шатко высились плетёные этажерки с книгами. Средней полосою комнаты, оставляя вдоль кроватей лишь узкие проходы, один за другим стояли два стола: ближе к окну — «диссертационный», где громоздко теснились книги, тетради, чертежи и стопы машинописного текста, а дальше — общий, за которым сейчас Оленька гладила, Муза писала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала папильотки. У дверной стены ещё оставалось место для умывального таза, отгороженного занавеской (умываться полагалось в конце коридора, но девушкам было там неуютно, холодно, далеко).

На кровати близ умывальника лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался «бразильский флаг». У неё были ещё и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей-коммунисткой в Венгрии.

Следующая в ряду постель Люды была растерзана (Люда не так давно встала), одеяло и простыня касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шёлковое платье и чулки. И персидский коврик висел над кроватью. Сама же Люда за столом громко рассказывала историю ухаживания за ней некоего испанского поэта, вывезенного с родины ещё мальчиком. Она подробно вспоминала

ресторанную обстановку, какой был оркестр, какие блюда, гарниры и пили что.

Утюг Оленьки был включён в патрон-«жулик» над столом и оттуда свисал шнур. (Чтобы не расходовали электричества, утюги и плитки были на Стромынке строго запрещены, розеток не ставили, а за «жуликами» охотилась вся комендатура.) Оленька слушала Люду, посмеиваясь, но зорко занята была своей глажкой. Жакет этот и юбка к нему были её всё. Ей было бы легче прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм. Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, сидела на картошке и каше, если могла не доплатить в троллейбусе двадцати копеек — не доплачивала, стена у её кровати была завешана географической картой — зато вот этот вечерний наряд был весь хорош, никакой части его не приходилось стыдиться.

Муза, избыточно-полная, с грубоватыми чертами лица и в очках старше своих тридцати лет, пыталась на столе, качаемом глажкой, и под этот назойливый оскорбляющий её рассказ писать письмо. Попросить другого помолчать она вообще считала неделикатным. Останавливать же Люду было — её распалять, она бы только сдерзила. Люда была новая у них, не аспирантка, а приехала после финансового института на курсы политэкономов, да и приехала-то больше для развлечения. Отец её, генерал в отставке, много слал ей из Воронежа.

Люда была первобытно убеждена, что во встречах и вообще в отношениях с мужчинами состоит единственный смысл женской жизни. Но в сегодняшнем рассказе она выделяла ещё особую пикантность. У себя в Воронеже уже бывшая три месяца замужем и сходившаяся потом кой с какими другими мужчинами, Люда сожалела, что девичество у неё прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом она разыгрывала начинающую, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю, а когда потрясённый поэт вымолил у нее *первый* в её жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двадцать четыре строки, к сожалению не на русском.

Муза писала письмо своим глубоко-пожилым родителям в далёкий провинциальный город. Папа и мама её до сих пор любили друг друга как молодежёны, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла всё оборачивался и помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки. И так же любила их дочь, и привыкла писать им часто и подробно о каждом своём переживании. Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с вечера последней пятницы, с Музой случилось такое, от чего затмилась её неутомимая повседневная работа над Тургеневым — работа, заменявшая

ей всякую другую жизнь, все виды жизни. Ощущение у неё было самое гадкое — будто она вымазалась во что-то грязное, позорное, чего нельзя ни отмыть, ни скрыть, ни показать — и существовать с этим тоже нельзя.

Случилось, что в эту пятницу вечером, когда она вернулась из библиотеки и собиралась ложиться, её вызвали в канцелярию общежития, а там сказали: «да, да, вот в эту, пожалуйста, комнату». А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иваныч и Сергей Иваныч. Мало стесняясь поздним временем, они держали её час, и два, и три. Они начали с расспросов, с кем она в одной комнате, с кем на одной кафедре (хотя знали, конечно, не хуже её). Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме, об общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого Муза не нашлась возразить, это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей *помогать* им, то есть в определённое время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии, или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете, по уговору,— и там отвечать на определённые вопросы или передавать свои наблюдения в письменном виде.

И с этого — началось долгое, ужасное! Они стали говорить с ней всё грубее, покрикивать, обращаться уже на «ты»: «Да что ты упрямишься? Тебя ж не иностранная разведка вербует!» «Нужна она иностранной разведке, как кобыле пятая нога...» Потом прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут (а у неё шли последние месяцы, и диссертация была почти готова), научную карьеру ей поломают, потому что такие учёные хлюпики Родине не нужны. Это очень её напугало: разве был для них труд выгнать её из аспирантуры? Но тут они вынули пистолет, передавали друг другу и как бы невзначай держали наведенным на Музу. От пистолета у Музы, наоборот, страх миновал. Потому что в конце концов остаться живой, но выгнанной с чёрной характеристикой, было хуже. В час ночи Ивановичи отпустили её думать до вторника, вот до ближайшего вторника, двадцать седьмого декабря,— и взяли подписку о неразглашении.

Они уверяли, что им всё известно, и если она кому-нибудь расскажет об их разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена.

Каким несчастным выбором они остановились именно на ней?.. Теперь обречённо она ждала вторника, не в силах заниматься,— и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнело, а она, глупая, не понимала своего счастья.

Оленька слушала с улыбкой, раз поперхнулась водой от смеха. Оленька, хотя и поздновато из-за войны, в двадцать восемь лет была наконец счастлива-счастлива-счастлива и всем прощала всё, пусть каждый добывает себе счастье как может. У неё был возлюбленный, тоже аспирант, и сегодня вечером он должен был зайти за ней и увести.

— Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я обесчещена!

Привлекательное, хотя и жестковатое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчещенной девушки.

Худенькая Эржика всё это время, лёжа, читала «Избранное» Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения — служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны ещё не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг.

И всё-таки она опустила книгу и, перекатясь на бок, стала слушать также и Люду. Здесь, в 318-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные удивительные вещи: то инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво; то кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. («Разве в Советском Союзе бывают безработные?») То, будто, чтобы прописаться в Москве, надо дать большую взятку в милицию. «Но ведь это — явление *моментальное?»* — спрашивала Эржика. (Она хотела сказать — временное.)

Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода — надо правдоподобно изобразить, что она-таки была невинна. И стала делиться, как именно собирается представить это в первую ночь.

Змейка страдания прошла по лбу Музы. Неделикатно было бы открыто заткнуть пальцами уши. Она нашла повод отвернуться к своей кровати.

Оленька же весело воскликнула:

— Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой?

— Конечно ду-у-уры! — смеялась Люда.— А это так просто!

Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта:

— Он не член ССП, пишет всё на испанском, и как у него будет дальше с гонорарами? — ничего твёрдого!

Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол.

— Как? — спросила она.— И ты... и в Советском Союзе тоже выходят замуж *по счёту?*

— Привыкнешь — поймёшь,— тряхнула Люда головой перед

зеркалом. Все папильотки уже были сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало на её голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу-поэта.

— Девочки, я делаю такое выведение...— начала Эржика, но заметила странный опущенный взгляд Музы на пол близ неё — и ахнула — и вздёрнула ноги на кровать.

— Что? Пробежала? — с искажённым лицом крикнула она.

Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал.

Здесь, в 318-й комнате, иногда даже и днём, а по ночам особенно нахально, отчётливо стуча лапами по полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на её кровать и будут бегать прямо по ней. Днём ещё, при смехе подруг, страх её миновал, но по ночам она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой и клялась, что если доживёт до утра — будет уходить со Стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасывали им по углам, они стихали на время, потом принимались за своё. Две недели назад колебания Эржики решились: не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысёнка. Трясясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно-примирённую острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в Венгерское посольство и просила поселить её на частной квартире. Посольство запросило министерство иностранных дел СССР, министерство иностранных дел — министерство высшего образования, министерство высшего образования — ректора университета, тот — свою адмхозчасть, и хозчасть ответила, что частных квартир пока нет, жалоба же о якобы крысах на Стромынке поступает впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова в прямую. Всё же посольство обнадёживало Эржику, что комнату ей дадут.

Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своём бразильском флаге как экзотическая птица.

— Девочки-девочки,— жалобным распевом говорила она.— Вы мне все так нравитесь! Я бы ни за что не ушла от вас мимо крыс.

Это была и правда и неправда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах, об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Райка что-то непонятное творилось на её родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и ещё других венгерских студентов вместе с ним — отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма.

В запертую дверь раздался их условный стук («утюга не прячьте, свои!»). Муза поднялась и, прихромнув (колено ныло у неё от раннего ревматизма), откинула крючок. Быстро вошла Даша — твёрдая, с большим кривоватым ртом.

— Девчёнки! девчёнки! — хохотала она, но всё ж не забыла накинуть за собой крючок.— Еле от кавалера отвязалась! От кого? Догадайтесь!

— У тебя так жирно с кавалерами? — удивилась Люда, роясь в чемодане.

Действительно, университет отходил от войны как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало и всё какие-то не настоящие.

— Подожди! — Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу.— От Челюстей?

«Челюсти» был аспирант, заваливший три раза подряд диалектический и исторический материализмы и, как безнадёжный тупица, отчисленный из аспирантуры.

— От Буфетчика! — воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно-собранных тёмных волос и повесила её на колок. Она медлила снять дешёвенькое пальтецо с цыгеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе, и так стояла у двери.

— Ах — того??!

— В трамвае еду — он заходит,— смеялась Даша.— Сразу узнал. «Вам до какой остановки?» Ну, куда денешься, сошли вместе. «Вы теперь в той бане уже не работаете? Я заходил сколько раз — вас нет.»

— А ты б сказала...— смех от Даши перебросился к Оленьке и охватывал её как пламя,— ты б сказала... ты б сказала...! — Но никак она не могла выговорить своего предложения и, хохоча, опустилась на кровать, однако не мня разложенного там костюма.

— Да какой буфетчик? Какая баня? — добивалась Эржика.

— Ты б сказала...! — надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли её. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку.

Засмеялись и Люда, и ничего не понявшая Эржика, и сумрачное некрасивое лицо Музы разошлось в улыбке. Она сняла и протирала очки.

— Куда, говорит, идёте? Кто у вас тут, в студенческом городке? — хохотала и давилась Даша.— Я говорю...: вахтёрша знакомая!.. рукавички!.. вяжет...

— Ру?-ка?-вички?..

— ...вяжет!!!..

— Но я хочу знать! Но какой буфетчик? — умоляла Эржика.

Оленьку хлопали по хребту. Отсмеялись. Даша сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе. Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно — с особой взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на стене. И рассказала Эржике:

— Это ещё осенью было, зáтепло, до тебя... Ну, где жениха искать? Через кого знакомиться? Людка и посоветовала: иди, мол, гулять в Сокольники, только одна! Девушкам всё портит, что они по двое ходят.

— Расчёт без промаха! — отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли.

— Вот я и пошла,— продолжала Даша, но уже без веселья в голосе.— Похожу — сяду, на деревья посмотрю. Действительно, подсел быстро какой-то, ничего по наружности. Кто же? Оказывается, буфетчик, в закусочной работает. А я где?.. Стыдно мне так стало, не сказать же, что аспирантка. Вообще учёная баба — страх для мужчин...

— Ну — тáк не говори! Так можно чёрт знает до чего дойти! — недовольно возразила Оленька.

В мире, таком прореженном и таком опустевшем, после того как вытолкнули из него железное туловище войны; когда зияли только ямки чёрные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники или старшие их на пять — на десять — на пятнадцать лет,— этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами «учёная баба» нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи.

— ...Сказала, что кассиршей в бане работаю. Пристал — в какой бане, да в какую смену. Еле ушла...

Всё оживление покинуло Дашу. Тёмные глаза её смотрели тоскливо.

Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего.

Когда-то, ещё в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовало, что под предлогом института ей удалось отцепиться от колхоза и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет, училась она восемнадцать кряду, надоело ей учиться до ломоты в голове — а зачем она училась? Простая бабья радость — ребёнка родить, и вот не от кого, не для кого.

И, задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку:
— Нет, девчата, жизнь — не роман...
При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, упрашивает. Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся деревня скажет: для чего ж училась девка? — за агронома вышла. Это и любая звеньевая может... А с другой стороны, Даша чувствовала, что и кандидат наук она будет ненастоящий, стреноженный, скованный, что вузовская работа будет ей — неподъёмный заклятый клин; что и кандидатом не посмеет и не сумеет она проникнуть в те высшие свободные круги науки.
Идущих в науку женщин, их целую жизнь хвалили, хвалили, так напевали, так много им обещали — и тем жёстче было теперь упереться в глыбу лбом.
Ревниво досмотрев за развязной удачливой соседкой, Даша сказала:
— Людка! А ты — ноги помой, советую.
Люда осмотрелась:
— Ты думаешь?
В нерешительности вытащила спрятанную электроплитку и включила в «жулик» вместо утюга.
Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даше отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у неё новокупка из белья, не того размера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать.
Так все стихли, и можно было бы наконец вникнуть понастоящему в письмо. Но нет, оно не выписывалось! Муза перечитала последние написанные фразы, одно слово заменила, несколько неясных букв подвела...— нет, письмо не удавалось! В письме была ложь, и мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что-то чёрное — но почему же Муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжёт?..
Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух — и, может, хоть чуть бы полегчало. А так она бросила ручку и подперлась ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается! — выбор целой жизни, и ни с кем нельзя посоветоваться! Ни у кого не найти помощи! — подписка о неразглашении! А во вторник опять предстать перед теми двумя, уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Как хорошо было жить ещё позавчера! А теперь всё погибло. Потому что они ведь не уступят. Но и ты не уступишь. Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке — и всё время помнить, что ты — доносчица, что у тебя есть кличка — Ромашка или какая-

нибудь Трезорка, и что ты должна собирать материалы вот на этих девчёнок или на своего профессора?..

Муза сняла с зажмуренных глаз слёзы, стараясь незаметно.

— А где Надюшка? — спросила Даша.

Никто не отозвался. Никто не знал.

Но у Даши за шитьём пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде:

— Как вы думаете, девочки, сколько можно? Ну, пропал без вести. Ну, пошёл пятый год после войны. Ну, уж кажется, можно бы и отсечь, а?

— Ах, что ты говоришь! Что ты говоришь! — со страданием воскликнула Муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава её сероклетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки.— Только так и любят! Истинная любовь перешагивает гробовую доску!

Сочные чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку:

— После гробовой доски? Это, Муза, что-то трансцендентное. Память, нежные воспоминания,— но любовь?

— Вот именно: если человека нет вообще — как же его любить? — вела своё Даша.

— Я б ей, если б могла, честное слово, сама бы похоронное извещение прислала: что убит, убит, убит и в землю закопали! — горячо высказалась Оленька.— Что за проклятая война — пять лет прошло, а она всё на нас дышит!

— Во время войны,— вмешалась Эржика,— очень многие загнались далеко, за океан. Может, и он там, живой.

— Ну, вот это может быть,— согласилась Оля.— Та́к она может надеяться. Но вообще, у Надюши есть такая тяжёлая черта: она любит упиваться своим горем. И только своим. Ей без горя даже чего-то бы в жизни не хватало.

Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала её. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит.

— Так слушайте, девчёнки,— веско сказала она теперь.— Всё это нас Надюшка морочит, врёт. Ничего она не считает мужа мёртвым, ни на какой возврат из без вести она не надеется. Она просто *знает*, что муж её жив. И даже знает, где он.

Все оживились:

— Откуда ты взяла?

Даша победно смотрела на них. Давно уже за её редкую приглядчивость её прозвали в комнате следователем.

— Слушать надо уметь, девки! Хоть раз обмолвилась она о нём как о мёртвом? Не-а. Она даже «был» старается не говорить, а как-нибудь так, без «был» и без «есть». Ну, если без вести

пропал, то хоть разочек-то можно о нём порассуждать как о мёртвом?

— Но что ж тогда с ним?

— Да неужели не ясно? — вскрикнула Даша, вовсе откладывая шитьё.

Нет, им не было ясно.

— Он жив, но бросил её! И ей стыдно в этом признаться! И придумала — «без вести».

— А вот в это поверю! в это поверю! — поддержала Люда, хлюпая за занавеской.

— Значит, она жертвует собой во имя его счастья! — воскликнула Муза.— Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж!

— Тогда чего ей ждать? — не понимала Оленька.

— Да всё правильно, молодец Дашка! — выскочила Люда из-за занавески без халата, в одной сорочке, голоногая, отчего казалась ещё стройней и выше.— Заело её, потому и придумала, что — святоша, что верна мёртвому. Ни черта она не жертвует, дрожит она, чтоб кто-нибудь её приласкал, да никто её не хочет! Вот бывает так, ты будешь идти — на тебя все на улице будут оглядываться, а она хоть сама прилипай — а никому не нужна.

И ушла за занавеску.

— А к ней Щагов ходит,— сказала Эржика, с трудом выговаривая «щ».

— Ходит — это ещё ничего не значит! — уверенно отбивала невидимая Люда.— Надо, чтобы клюнул!

— Как это — «клюнул»? — не поняла Эржика.

Рассмеялись.

— Нет, вы скажите так,— гнула Даша своё.— Может, она ещё надеется отбить мужа у той назад?..

В дверь раздался тот же условный стук — «утюга не прячьте, свои».

Все замолчали. Даша откинула крючок.

Вошла Надя — волочащимся шагом, с вытянутым постарелым лицом, как бы желая своим видом подтвердить все худшие насмешки Люды. Странно, она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо-приличным словом, не сказала «вот и я» или «ну, что тут нового, девочки?». Она повесила шубу и молча прошла к своей кровати.

Эржика снова читала. Муза опять убрала лицо в ладони. Оленька укрепляла розовые пуговицы на своей кремовой блузке.

Никто не нашёлся ничего сказать. Желая сгладить неловкость тишины, Даша протянула, будто заканчивая:

— Так что, девчата, жизнь — не роман...

После свидания Наде хотелось видеться только с такими же обречёнными, как и она, и говорить только о тех, кто сидит за решёткой. Она поехала из Лефортова через всю Москву на Красную Пресню к жене Сологдина передать ей три заветных слова мужа.

Но Сологдиной она не застала дома (мудрено было её застать, если все недельные дела для сына и для себя сгруживались ей на воскресенье). Передать записку через соседей было тоже немыслимо: из слов Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что соседи враждебны к ней и шпионят.

И если Надя поднималась по крутой, совсем тёмной днём лестнице возбуждённая, предвкушая радость разговора с милой женщиной, разделяющей её тайное горе,— то опускалась она даже не раздосадованная, а разбитая. И как на фотографической бумаге, положенной в бесцветный и безобидный на вид проявитель, начинают неумолимо проступать уже содержавшиеся на ней, но до сих пор неявные очертания,— так и в душе Нади после неудачного захода к Сологдиной стали нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчувствия, которые зародились ещё на свидании, но не сразу дали себя знать.

Он сказал: «не удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся письма»... Он может уехать!.. И даже эти свидания, раз в год — прекратятся?.. А как же тогда Надя?..

И что-то о верховьях Ангары...

И ещё — не стал ли он верить в бога?.. Была какая-то фраза... Тюрьма искалечит его духовно, уведёт в мистику, в идеализм, приучит к покорности. Характер его изменится, и он вернётся совсем-совсем незнакомым человеком...

Но, главное, он угрожающе говорил: «не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока», «срок — это условность». На свидании Надя воскликнула: не верю! не может быть! Но вот шёл час за часом. Отданная своим мыслям, она опять пересекла всю Москву, с Красной Пресни в Сокольники, и теперь эти мысли неотгонно жалили её, и нечем было от них защититься.

Если тюремный срок Глеба никогда не кончится — чего же ждать? Справедливо ли это: превратить свою жизнь в приставку к жизни мужа? Всем даром существа своего пожертвовать — для ожидания пустоты?

Хорошо, хоть у них т а м нет женщин!..

Что-то было в сегодняшнем свидании ещё не названное, не понятое — и непоправимое...

И в студенческую столовую она тоже опоздала. Ещё этого

мелкого невезенья не хватало, чтоб довершить её отчаяние! Сразу вспомнилось, как два дня назад её оштрафовали на десять рублей за то, что она сошла с задней площадки. Десять рублей сейчас порядочные деньги, это — сто рублей дореформенных.

На Стромынке под начинающимся приятным снежком стоял мальчишка в нахлобученной фуражке и торговал папиросами «Казбек» вроссыпь. Надя подошла и купила у него две папиросы.

— А где же — спичек? — спросила она сама себя вслух.

— На, тётя, чиркни! — охотливо предложил мальчишка и протянул ей коробку.— За огонёк денег не берём!

Не размышляя, как это выглядит со стороны, Надя тут же, на улице, со второй спички прикурила папиросу криво, с одного боку, отдала коробку и, не заходя в дверь корпуса, стала прохаживаться. Курение ещё не стало её привычкой, но и не первая это была её папироса. Горячий дым причинял ей боль и отвращение — и тем отсасывало немного тяжесть от сердца.

Откурив половину папиросы, Надя бросила её и поднялась в 318-ю комнату.

Тут она брезгливо миновала неубранную кровать Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего желая, чтобы её сейчас никто ни о чём не спрашивал.

Она села — и глаза её оказались вровень с четырьмя стопами её диссертации на столе — четырьмя экземплярами на машинке. И Надя невольно вспомнила все бесконечные мытарства с этой диссертацией — как-то устраиваться с фотокопиями чертежей, первую переделку, вторую, и вот возврат для третьей.

А вспомнив, как безнадёжно и незаконно просрочена диссертация, она вспомнила и ту секретную спецразработку, которая одна могла дать ей сейчас заработок и покой. Но путь загораживала страшная анкета на восьми страницах. Сдать её в отдел кадров надо было ко вторнику.

Писать всё, как есть — значило быть выгнанной к концу недели из университета, из общежития, из Москвы.

Или — тотчас разводиться...

Как она и решила.

Но это было и тяжко, и способ долго-хитрый.

Эржика застелила постель, как могла (у неё это ещё не очень хорошо получалось: и стелиться, и стирать, и гладить она училась впервые на Стромынке, всю прежнюю жизнь такую работу за неё делала прислуга), накрасила перед зеркалом не губы, а щёки, и ушла заниматься в Ленинку.

Муза пробовала читать, но чтение у неё не шло. Она заметила мрачную неподвижность Нади и поглядывала на неё с беспокойством, не решаясь, однако, спросить.

— Да! — вспомнила Даша.— Я сегодня слышала, говорят «книжных» денег за этот год заплатят вдвое больше.

Оленька встрепенулась:

— Шутишь?

— Девчёнкам наш декан сказал.

— Подожди, это сколько же будет? — Олино лицо загорелось тем воодушевлением, которое деньги способны принести лишь людям, не привыкшим и не жадным к ним.— Триста да триста — шестьсот, семьдесят да семьдесят — сто сорок, пять да пять... Хо-го? — вскричала она и захлопала в ладоши.— Семьсот пятьдесят!! Вот это да!

И она чуть запела. У неё был голосок.

— Теперь ты купишь себе полного Соловьёва!

— Ещё чего! — фыркнула Оленька.— На эти деньги можно сшить платье гранатовое, креп-жоржетовое, воображаешь? — Она подхватила края юбки кончиками пальцев.— И двойные воланы?!

Оленька многим ещё не была обзаведена. Лишь совсем недавно, последний год, у неё вернулся к этому интерес. У неё мать очень долго болела, в позапрошлом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью получили похоронные в одну и ту же неделю сорок второго года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось бросить первый курс, год пропустить, работать, потом перевестись на заочное.

Но ничего этого не было сейчас на её пухленьком милом двадцативосьмилетнем личике. Напротив, её задевал тот вид застывшего страдания, с которым, подавляя всех, сидела против неё на своей койке Надя.

И Оля спросила:

— Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла весёлая.

Слова были сочувственные, но смысл их был — раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш голос выдаёт наше чувство.

Надя не только распознала это раздражение в голосе соседки. Но и глаза её видели, как прямо перед ней Оленька одевалась, как вколола брошку — рубиновый цветочек, в отворот жакета, как душилась.

И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым облачком радости, достигали Надиных ноздрей воздушной струйкой утраты.

И ничуть не разгладясь лицом и слова выговаривая, как делая большой труд, Надя ответила:

— Я тебе мешаю? Я порчу тебе настроение?

Они смотрели друг на друга через диссертационный заваленный стол. Оленька выпрямилась, пухленький подбородок её приобрёл твёрдые очертания. Она сказала чётко:

— Видишь ли, Надя. Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак — не имеем права.

Надя сидела пригорбившись, уже очень немолода была эта посадка.

— А ты не можешь понять,— тихо, убито выговорила она,— как бывает тяжело на душе?

— Как раз я *очень* могу понять! Тебе тяжело, да, но нельзя так любить себя! Нельзя себя настраивать, что ты одна страдалица в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся.

Она не договорила, но почему, собственно, один пропавший без вести, которого ещё можно заменить, ибо муж заменим,— значил больше, чем убитый отец, и убитый брат, и умершая мать, если этих трёх заменить нам не дано природой?

Она сказала и ещё постояла пряменько, строго глядя на Надю.

Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях — своих. Поняла — но не приняла. Потому что ей представлялось так: непоправима всякая смерть, но случается она, всё-таки, однократно. Она сотрясает, но — единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-помалу-помалу она отодвигается в прошлое. И постепенно освобождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку, душишься, идёшь на свидание.

Неразмычное же надино горе — всегда вокруг, всегда держит, оно — в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся — не выбиться из его зубов.

Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна.

И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию:

— Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать. Сколько можно?

Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выставляет своего горя больше всех горь, настороженность Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно:

— Ах, иностранцев повыбрасывать? Так это же не тебе одной, что ты расстраиваешься?

Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в тексте «Лауэ доказал» на «учёным удалось доказать», или «как убедительно показал Лангмюр» на «как было показано». Если же какой-нибудь не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился хоть малым — нужно было непременно указать полностью его имя-отчество, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги перед наукой.

— Не иностранцев, я их давно выбросила. Теперь надо исключить академика Баландина...

— Нашего советского?

— ...и всю его теорию. А я на ней всё строила. А оказалось, что он... что его...

В ту же пропасть, в тот же подземный мир, где томился в цепях надин муж, ушёл внезапно и академик Баландин.

— Ну, нельзя же так близко к сердцу! — настаивала Оленька. Было и тут у неё что возразить: — А у меня — с Азербайджаном?..

Ничто никогда не располагало эту среднерусскую девушку стать ирановедом. Поступая на исторический, она и мысли такой не держала. Но её молодой (и женатый) руководитель, у которого она писала курсовую по Киевской Руси, стал за ней пристально ухаживать и очень настаивал, чтобы в аспирантуре она тоже специализировалась по Киевской Руси. Оленька в тревоге перекинулась на итальянский ренессанс, но и Итальянский Ренессанс был не стар и, оставаясь с нею наедине, тоже вёл себя в духе Возрождения. Тогда-то в отчаянии Оленька перепросилась к дряхлому профессору-ирановеду, у него писала и диссертацию, и теперь благополучно кончила бы, если б в газетах не всплыл вопрос об Иранском Азербайджане. Так как Оленька не проследила красной нитью извечное тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость её Ирану,— то диссертацию вернули на переделку.

— Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает хуже. Вон, Муза рассказывает...

Но Муза уже не слышала. На счастье своё она углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг неё не существовало.

— ...на литфаке одна защищала диссертацию о Цвейге четыре года назад, уже доцентствует давно. Вдруг обнаружили у неё в диссертации три раза, что «Цвейг — космополит», и что диссертантка это одобряет. Так её вызвали в ВАК и отобрали диплом. Жуть!

— Фу, ещё в химии расстраиваться! — отозвалась и Даша.— Что ж тогда нам, политэкономам? В петлю лезть? Ничего, дышим. Вот, Стужайла-Олябышкин, спасибо, выручил!

Действительно, всем было известно, что Даша получила уже третью тему для диссертации. Первая тема у неё была «Проблемы общественного питания при социализме». Тема эта, очень ясная лет двадцать назад, когда любому пионеру и Даше в том числе было надёжно известно, что семейные кухни в скором времени отомрут, домашние очаги погаснут и раскрепощённые женщины будут получать завтраки и обеды на фабриках-кухнях,— тема эта стала с годами туманной и даже опасной.

Наглядно было видно, что если кто и обедал ещё в столовых, как например сама Даша, то лишь по проклятой необходимости. Процветали только две формы общественного питания: ресторанная, но в ней недостаточно ярко были выдержаны социалистические принципы, и — самые паршивые забегаловки, торгующие одной только водкой. В теории же остались по-прежнему фабрики-кухни, ибо Вождю Трудящихся эти двадцать лет недосуг был высказаться о питании. И потому опасно было рискнуть сказать что-нибудь своё. Даша помучилась-помучилась, и руководитель сменил ей тему, но и новую взял по недомыслию не из того списка: «Торговля предметами широкого потребления при социализме». Материала и по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и директивах говорилось, что предметы широкого потребления производить и распространять можно и даже нужно,— но практически эти предметы по сравнению со стальным прокатом и нефтепродуктами начинали носить некий укорный характер. И будет ли лёгкая промышленность всё более развиваться или всё более отмирать — не знал даже учёный совет, вовремя отклонивший тему.

И вот тут добрые люди надоумили, и Даша вымолила себе: «Русский политэконом XIX века Служайла-Олябышкин».

— Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла где-нибудь? — со смехом спрашивала Оленька.

— Вот именно, не могу найти!

— С твоей стороны просто неблагодарно! — Оленька старалась теперь развеселить Надю, на самом же деле обдавала её своим предсвиданным оживлением.— Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне представляю: это был благообразный старикашка-помещик с неудовлетворёнными духовными запросами. После сытного завтрака он садился в домашнем халате у окна, в той, знаешь, глухой провинции ларинских времён, над которой невластны бури истории, и, глядя, как девка Палашка кормит поросят, неторопливо рассуждал,

Как государство богатеет,
И чем живёт...

Цыпочка! А вечером играл в карты...— Оленька залилась.

Она рдела. Она вся была — нарастающее счастье.

И Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою постель вееродобного прикрытия (Надя со страдальческим подёргиванием косилась в её сторону). Перед зеркалом она сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток.

— И обратите внимание, девочки,— внезапно сказала Муза,

как она умела, естественно, будто все только и ждали её замечания.— Чем отличаются русские литературные герои от западноевропейских? Самые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя не корми, не пои — он ищет справедливости и добра. А?

И опять углубилась в чтение.

— Да ты б хоть свету попросила,— пожалела её Даша. И включила.

Люда уже надела и боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на её постель и сказала с отвращением:

— Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость?

— Да пожалуйста, не убирай! — вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами.— И не смей больше притрагиваться к моей постели!! — Её голос взлетел до крика.— И не читай мне морали!!

— Ты должна понимать! — сорвалась теперь Надя и всё невысказанное кричала ей.— Ты оскорбляешь нас!.. Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твои вечерние удовольствия?

— Завидуешь? У тебя не клюёт?

Лица обеих исказились и стали очень неприятны, как всегда у женщин в озлоблении.

Оленька раскрыла рот тоже напасть на Люду, но в «вечерних удовольствиях» ей послышался обидный намёк. И она остановилась.

— Нечему завидовать! — глухо крикнула Надя оборванным голосом.

— Если ты заблудилась, вместо монастыря в аспирантуру,— всё звончей кричала Люда, чуя победу,— так сиди в углу и не будь свекровью. Надоело! Старая дева!

— Людка! Не смей! — закричала Даша.

— А чего она не в своё дело...? Старая дева! Старая дева! Неудачница!

Очнулась Муза и, угрожающе в сторону Люды размахивая томиком, тоже стала кричать:

— Мещанство живёт! торжествует! и процветает!

Все они опять стали кричать своё, не слушая других и не соглашаясь с ними.

С налитой, ничего уже не соображающей головой, стыдясь своей выходки и рыданий, Надя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой.

Люда снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла.

Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла с неё туфли и завернула углы одеяла ей на ноги.

Потом раздался ещё стук, по которому выпорхнула Оленька в коридор, как ветер вернулась, подвела кудри под шляпку, юркнула в меховушку с жёлтым воротником и новой походкой пошла к двери.

(Эта походка была — на радость, но и — на борьбу...)

Так 318-я комната отправила в мир один за другим два прелестных и прелестно одетых соблазна.

Но, потеряв с ними оживление и смех, комната стала совсем унылой.

Москва была огромный город, а идти в ней было — некуда...

Муза опять не читала, сняла очки и спрятала лицо в большие ладони.

Даша сказала:

— Глупая Ольга! Ведь поиграет и бросит. Мне говорили, что у него другая где-то есть. И как бы не ребёнок.

Муза выглянула из ладоней:

— Но Оля ничем не связана. Если он окажется такой — она может оставить его.

— Как не связана! — кривой улыбкой усмехнулась Даша.— Какую же тебе ещё связь...

— Ну, ты всегда всё знаешь! Ну, откуда ты это можешь знать? — возмутилась Муза.

— Да чего ж тут знать, если она у них в доме ночевать остаётся?

— О! Ничего! Ничего это ещё не доказывает! — отвергла Муза.

— А теперь только так. Иначе не удержишь.

Девушки помолчали, каждая при своём.

Снег за окном усиливался. Там уже темнело.

Тихо переливалась вода в радиаторе под окном.

Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер предстояло погибать в этой конуре.

Даше представился отвергнутый ею буфетчик, здоровый сильный мужчина. Зачем уж так было его отталкивать? Ну, пусть бы в темноте сводил её в какой-нибудь клуб на окраине, где университетские не бывают. Потискал бы где-нибудь у заборчика.

— Музочка, пойдём в кино! — попросила Даша.

— А что идёт?

— «Индийская гробница».

— Но ведь это — чушь! Коммерческая чушь!

— Да ведь в корпусе, рядом!

Муза не отзывалась.

— Тоскливо же, ну!

— Не пойду. Найди работу.

И вдруг опал электрический свет — остался только багрово-тусклый накалённый в лампочке волосок.

— Ну, этого ещё...! — простонала Даша. — Фаза выпала. Повесишься тут.

Муза сидела, как статуя.

Не шевелилась Надя на кровати.

— Музочка, пойдём в кино!

Постучали в дверь.

Даша выглянула и вернулась:

— Надюша! Щагов пришёл. Встанешь?

51

Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Под подушкой, надвинутой на голову, стало мокро.

Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты. Но некуда было ей пойти в огромном городе Москве.

Уж не первый раз тут, в общежитии, её хлестали такими словами: свекровь! брюзга! монашенка! старая дева! Всего обиднее была несправедливость этих слов. Какая она была раньше весёлая!..

Но легко ли даётся пятый год лжи — постоянной маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос резчает, суждения становятся бесчувственными? Может быть и вправду она сейчас — невыносимая старая дева? Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму — в общежитии, среди равных, только и научаешься узнавать в себе плохое.

Кроме Глеба уже никто-никто не может её понять...

Но и Глеб тоже не может её понять...

Ничего он ей не сказал — ка́к ей быть, ка́к ей жить...

Только, что — сроку конца не будет...

Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло всё, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своём ожидании, в своей недоступности для других.

Сроку — конца не будет!

И значит, она ему — не нужна... И, значит, она губит себя только...

Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой — и не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно — и всё же

различались на знакомой охренной стене пупырышки грубой побелки.

И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филёнку двери. И ещё прежде, чем Даша спросила: «Щагов пришёл. Встанешь?» — Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках, поправляла перекрученную юбку, гребёнкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли.

В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза увидела её поспешность и отшатнулась.

А Даша кинулась к людиной постели, быстро подоткнула и убрала.

Впустили гостя.

Щагов вошёл в старой фронтовой шинели внакидку. В нём всё ещё сидела армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были обдуманны.

— Здравствуйте, уважаемые. Я пришёл узнать, чем вы занимаетесь без света,— чтоб и себе перенять. Подохнуть с тоски!

(Какое облегчение! — в жёлтом полумраке не были видны опухшие от слёз глаза.)

— Так если б не сутёмки, вы б, значит, не пришли? — в тон Щагову ответила Даша.

— Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования. Видны злые выражения, завистливые взгляды,— (он будто был здесь перед тем!),— морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я б законодательно провёл, чтобы свет давался только вполнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж.

Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось — какие-то заученные выражения.

— Разрешите присесть?

— Пожалуйста,— ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слёз.

Ей, наоборот, нравились его самообладание, снисходительная манера, низкий твёрдый голос. От него распространялось спокойствие. И остроты его казались приятными.

— Второй раз могут не пригласить, публика такая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?

Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера и Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало её.

Ответила Даша.

— Собираемся идти в кино. Не знаем, с кем.

— А — какая картина?

— «Индийская гробница».

— О-о, непременно сходите. Как рассказывала одна медсестра, «много стреляют, много убивают, вообще замечательная картина!»

Щагов удобно сидел у общего стола:

— Но позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не всё гладко с родителями? Вы удручены последним решением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится.

— Какое решение? — малозвучно спросила Надя.

— Решение? О проверке силами общественности социального происхождения студентов, верно ли они указывают, кто их родители. Тут — богатые возможности, может быть кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочёл чужое письмо, и всякие такие вещи...

(И ещё будут искать, и ещё копаться! О, как всё надоело! Куда вырваться?..)

— А, Муза Георгиевна? Вы ничего не скрыли?..

— Что за низость! — воскликнула Муза.

— Как, вас и это не веселит? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на совете мехмата...?

Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай всё явнее выказывал её намерения.

...То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам.

(Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время!)

То звала послушать, как она будет выступать в концерте.

(Но так естественно! — хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель!)

То однажды у неё оказался «лишний» билет в кино, и она пригласила его.

(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то вдвоём... Опереться на чью-то руку.)

То в день его рождения она подарила ему записную книжечку — но с неловкостью: сунула в карман пиджака и хотела бежать — что за ухватки? почему бежать?

(Ах, от смущения лишь, от одного смущения!)

Он же догнал её в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом охватил её — а она не сразу сделала усилие вырваться, дала себя подержать.

(Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались.)

А теперь этот игривый удар портфелем?

Как со всеми, как со всеми, Щагов был железно-сдержан и с нею. Он знал, как завязчивы все эти женские истории, как трудно из них потом вылезать. Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи — кто так непреклонен, чтоб ей отказать?

И сейчас Щагов вышел из своей комнаты и пошёл в 318-ю не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться.

...Курьёзу с голосованием на совете если и рассмеялись, то из вежливости.

— Ну, так будет свет или нет? — нетерпеливо воскликнула уже и Муза.

— Однако я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю, почему. Позавчера её оштрафовали на десять рублей — и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.

Едва Щагов произнёс эту шутку, Надю как подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, наудачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым.

— Муза! Последний раз — идёшь? — с болью вскликнула Даша, взявшись за пальто.

— Иду! — глухо ответила Муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке.

Щагов и Надя не оглянулись на уходящих.

Но когда дверь закрылась за ними — Наде стало страшновато.

Щагов поднёс клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки ещё одной десятирублёвки...

Он встал из шинели (она осела на стуле) и беспорывно обходя мебель, подошёл к Наде, много выше её. В свои большие руки свёл её маленькие.

— Надя! — в первый раз назвал её просто по имени.

Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка её, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в её голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они могут говорить, о чём только захотят. И сами решат, когда им надо расстаться.

Она увидела очень близко его твёрдое прямое лицо, где правая и левая части ни чёрточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица.

Он разнял пальцы и скользнул по её локтям, по шёлку блузки.

— Н-надя!..

— Пу-устите! — голосом усталого сожаления отозвалась Надя.

— Как мне понять? — настаивал он, переводя пальцы с её локтей к плечам.

— В чём — понять? — невнятно переспросила она.

Но не старалась освободиться!..

Тогда он сжал её за плечи и притянул.

Жёлтая полумгла скрыла пламя крови в её лице.

Она упёрлась ему в грудь и оттолкнулась.

— Ка-ак вы могли подумать?!..

— А шут вас разберёт, что о вас думать! — пробормотал он, отпустил и мимо неё отошёл к окну.

Вода в радиаторе тихо переливалась.

Дрожащими руками Надя поправила волосы.

Он дрожащими руками закурил.

— Вы — знаете? — раздельно спросил он,— как — горит — сухое — сено?

— Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла.

— До небес! — подтвердил он.

— Кучка пепла,— повторила она.

— Так зачем же вы швыряете-швыряете-швыряете огнём в сухое сено?

(Разве она швыряла?.. Да как же он не мог её понять?.. Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей.)

— Пойдёмте! Куда-нибудь! — потребовала она.

— Никуда мы не пойдём, мы будем здесь.

Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук — и эта манера тоже нравилась Наде.

— Нет, прошу вас, пойдёмте куда-нибудь? — настаивала она.

— Здесь — или нигде,— безжалостно отрубил он.— Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста.

52

Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого «московского патриотизма», как называли сами они. Надя ходила среди них, какие ни будь её успехи перед профессором, в существах второго сорта.

Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду. Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унизить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы:

— А вы, собственно... из какой местности?

Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперёд и назад:

— Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности. Из посёлка Блиндажный.

Давно замечено, что наша жизнь входит в нашу биографию не равномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим. И что́ бы потом ни случалось с человеком даже внешне значительного, всё это чаще — только спад или инерция того толчка: мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем то, что единожды прозвучало в нас. Такой порой у иных бывает даже детство — и тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других — первая любовь, и именно эти люди распространили миф, что любовь даётся только раз. Кому пришлась такой порой пора их наибольшего богатства, почёта, власти — и они до беззубых дёсен шамкают нам о своём отошедшем величии. У Нержина такой порой стала тюрьма. У Щагова — фронт.

Щагов хватнул войны с жарком и с ледком. Его взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили на *гражданку* только в сорок шестом году. И за все четыре года войны у Щагова редко выдавался день, когда б с утра он был уверен, что доживёт до вечера: он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от Киева и в сорок втором на Дону. Хотя война в общем шла к лучшему, но Щагову доставалось уносить ноги и в сорок третьем и даже в сорок четвёртом под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожжённых домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще.

Переживания сапёрного капитана Щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетия. Он не мог теперь принять никакого другого деления людей, кроме как на солдат и прочих. Даже на московских всё забывших улицах у него сохранилось, что только слово «солдат» — порука искренности и дружелюбия человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не проверил огонь фронта.

После войны у Щагова не осталось родных, а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щаго-

ва было — на нём, и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданской жизни, им ещё двенадцать месяцев после возвращения платили «оклад по воинскому званию», зарплату ни за что.

Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохранённого памятью молодёжи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Ещё и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далёких тылах.

Эти бывшие солдаты были теперь все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который застали здесь.

Стоило взяться за голову и подумать: за что же дрались? Этот вопрос многие и задавали — но быстро попадали в тюрьму.

Щагов не стал его задавать. Он не был из тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что всё идёт, как идёт, остановить этого нельзя — можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что ныне дочь исполкомовца уже одним своим рождением предназначена к чистой жизни и не пойдёт работать на фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы разжалованный секретарь райкома согласился стать к станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет приказ об атаке.

Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только — для революционной страны. И обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали права его безразувной службы, права приобщиться к завоёванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь ещё один раз: в бескровном бою, без выстрелов, не меча гранат — провести своё право через бухгалтерию, закрепить гербовой печатью.

И при всём том — улыбаться.

Щагов так спешил на фронт в сорок первом году, что не позаботился кончить пятого курса и получить диплом. Теперь, после войны, предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию. Специальность его была — теоретическая механика, уйти в неё была у него мысль и до войны. Тогда это было легче. После же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке — ко всякой науке, ко всем наукам — после повышения ставок.

Что ж, он размерил свои силы ещё на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре. Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающе донашивая, в чём демобилизовался: сапоги, диагоналевые брюки, гимнастёрку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохранённое обаяние фронта роднило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным.

Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. (Но и ему с тем же упорством лгала, что её Глеб без вести пропал на фронте.)

Надя сама не заметила, как и когда она впала во всё это — «лишний» билет в кино, шутливая схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошёл в комнату и ещё препирался с Дашей,— она сразу поняла, что пришёл он к ней и что неизбежно случится что-то.

И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь,— порвав червонец, стояла обновлённая, налитая, готовая к живой жизни — сейчас.

И сердце её не ощущало здесь противоречия.

А Щагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться.

Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж.

Услышав о невесте, Надя подломленным шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем.

Было жаль её. Хотелось прервать молчание и совсем просто, с давно оставленной откровенностью, объяснить: бедная аспиранточка, без связей и без будущего — что могла бы она ему дать? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога (он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути). Хотелось поделиться: несмотря на то, что его невеста живёт в праздных условиях, она не очень испорчена. У неё хорошая квартира в богатом закрытом доме, где селят одну знать. На лестнице швейцар, а по лестнице — ковры, где ж теперь это в Союзе? И, главное, вся задача решается разом. А что можно выдумать лучше?

Но он только подумал обо всём этом, не сказал.

А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно:

— Вот и хорошо. У вас невеста. А у меня — муж.

— Без вести пропавший?

— Нет, не пропавший,— прошептала Надя.

(Как опрометчиво она выдавала себя!..)

— Вы надеетесь — он жив?

— Я его видела... Сегодня...

(Она выдавала себя, но пусть не считают её девчёнкой, виснущей на шее!)

Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что «без вести пропавший» почти всегда значило *перемещённое лицо,*— и если такое лицо перемещалось обратно в Союз, то только за решётку.

Он подступил к Наде и взял её за локоть:

— Глеб?

— Да,— почти беззвучно, совсем безразлично проронила она.

— Он что же? Сидит?

— Да.

— Так-так-так! — освобождённо сказал Щагов. Подумал. И быстро вышел из комнаты.

Стыдом и безнадёжностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Щагова.

Пусть — убежал. Она довольна, что всё сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью.

По-прежнему еле тлел волосок лампочки.

Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. В отвратительной горечи папиросы она нашла удовольствие.

От неумения закашлялась.

На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Щагова.

Как он из комнаты бросился! До того испугался, что шинель забыл.

Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался... да... листовский этюд фа-минор.

Ах, и она ведь его играла когда-то в юности — но понимала разве?.. Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово — disperato — отчаянно...

Прислонившись лбом к оконному переплёту, Надя ладонями раскинутых рук касалась холодных стёкол.

Она стояла как распятая на чёрной крестовине окна.

Была в жизни маленькая тёплая точка — и не стало.

Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей.

И снова была женой своего мужа.

Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы Матросская Тишина.

Disperato! Это бессильное отчаяние, в порыве встать с колен

и снова падающее! Это настойчивое высокое ре-бемоль — надорванный женский крик! крик, не находящий разрешения!..

Ряд фонарей уводил в чёрную темноту будущего, до которого дожить не хотелось...

Московское время, объявили после этюда, шесть часов вечера.

Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошёл, без стука.

Он нёс два маленьких стаканчика и бутылку.

— Ну, жена солдата! — бодро, грубо сказал он.— Не унывай. Держи стакан. Была б голова — а счастье будет. Выпьем — за воскресение мёртвых!

53

В шесть часов вечера в воскресенье даже на шарашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской работе, потому что в воскресенье *вольняшки* дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин-Железная Маска страшился этих пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех зэков, которые всё-таки тоже были в известном смысле люди,— и ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы Семёрка работала и по воскресным вечерам,— но не мог сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать внутризонных караулов.

И так сложилось, что двадцать восемь десятков арестантов, попирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде,— по воскресным вечерам нагло отдыхали.

Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткою, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству в эти часы устраивать прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми высокими инстанциями было также решено, что и музыкальные инструменты типа «баян», «гитара», «балалайка», и «губная гармоника», а тем более прочих укрупнённых типов,— недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подкоп в каменном фундаменте. (Оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключённых каких-либо самодельных дудок и пищалок, а за игру на гребешке

вызывали в кабинет и составляли особый протокол.) Тем более не могло быть речи о допущении в общежитии тюрьмы радиоприёмников или самых драненьких патефонов.

Правда, заключённым разрешалось пользоваться тюремной библиотекой. Но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг. А просто назначили Рубина тюремным библиотекарем (он сам напросился, думая захватить хорошие книги) и выдали ему однажды сотню растрёпанных разрозненных томов вроде тургеневской «Муму», «Писем» Стасова, «Истории Рима» Моммзена — и велели их обращать среди арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли, или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтива у вольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска.

Для отдыха арестантам предоставлялись десять комнат на двух этажах, два коридора — верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что зэкам разрешалось безо всякого ограничения лежать в своих кроватях (и даже спать, если они могли заснуть под галдёж), сидеть на кроватях (стульев не было), ходить по комнате и из комнаты в комнату хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. (Впрочем те, кто подолгу сидели в тюрьме и ходили «на оправку» дважды в сутки по команде,— могут оценить значение этого вида бессмертной свободы.) Полнота отдыха была в том, что время было *своё*, а не казённое. И поэтому отдых воспринимался как настоящий.

Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжёлые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дёргал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир — Вселенная с её звёздами, планета с её материками, столицы с их блистанием и вся держава с её банкетами одних и производственными вахтами других, — всё это проваливалось в небытие, превращалось в чёрный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при жёлто-слепом свечении фонарей зоны.

Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей семинарской церкви, с бортами, сложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот чёрный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света.

За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться Луна, могли воздвигнуться новые Альпы на Украине, океан мог

проглотить Японию или начаться всемирный потоп — запертые в ковчеге арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Так же не могли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребёнка или ночной арест.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчётами, интригами, продвижением, плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони наслаждение и страдание человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто ещё не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять достаточно себя для друзей,— здесь принадлежали только друзьям.

Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен и тысячами лучиков пронизывал просветлённые головы.

Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались.

В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.

Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА

Роман начат в ссылке, в Кок-Тереке (Южный Казахстан), в 1955. 1-я редакция (96 глав) закончена в деревне Мильцево (Владимирская область) в 1957, 2-я и 3-я — в Рязани в 1958 (все уничтожены позже из конспиративных соображений). В 1962 сделана 4-я редакция, которую автор считал окончательной. Однако в 1963, после напечатания «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире», появилась мысль о возможной частичной публикации, были выбраны отдельные главы и предложены А. Т. Твардовскому. Дальше эта мысль привела к полному разъёму романа на главы, исключению вовсе невозможных, политическому смягчению остальных и таким образом составлению нового варианта романа (5-я редакция, 87 глав), где сменена была главная сюжетная линия: вместо «атомного», как было на самом деле, поставлен широкоизвестный советский сюжет тех лет — «измена» врача, передавшего лекарство на Запад. В этом виде обсуждался и принят «Новым миром» в июне 1964, но попытка публикации не удалась. Летом 1964 предпринята противоположная попытка (6-я редакция)— углубить и заострить в деталях вариант 87 глав. Осенью фотоплёнка с этим вариантом отправлена на Запад. В сентябре 1965 экземпляры «публичного» варианта (5-я редакция) захвачены КГБ, чем окончательно заблокирована публикация романа в СССР. В 1967 этот вариант широко распространился в Самиздате. В 1968 роман (в 6-й редакции) опубликован по-русски в американском издательстве Harper and Row. (С этой редакции сделаны и все иностранные переводы.)

Летом 1968 сделана ещё одна (7-я) редакция — полный и окончательный текст романа (96 глав). Этот текст никогда в Самиздате не ходил и не издавался отдельной книгой. В собрании сочинений печатается впервые.

И сама «шарашка Марфино» и почти все обитатели её списаны с натуры.

ТЮРЕМНЫЕ И ЛАГЕРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Актировка — официальная констатация (специальной комиссией), что состояние здоровья данного зэка делает затруднительным дальнейшее отбывание им срока (обычно канун смерти, полная обречённость)

Блатной, блатарь, блатняк, урка — вор, уголовник, ведущий жизнь по воровскому кодексу

Бокс — очень тесная камера без окна, обычно на одного

Бытовик — осуждённый по уголовной статье, но не принадлежащий к уголовному миру

Вагон-зак — ухудшенный пассажирский вагон, предназначенный для перевозки заключённых

Вагонка (лаг.) — плотницкое устройство для спанья четырех в два этажа

Вертухай (тюр.) — надзиратель

С вещами — тюремная команда, означающая, что арестант полностью уходит из этой камеры

Вкалывать, горбить — работать невпритвор, бессмысленно растрачиваться в казённой работе

Внутрянка (тюр.) — внутренняя тюрьма КГБ (областная или центральная)

Вольняшка — не заключённый

Воронок — тюремный закрытый грузовик

Вохра (охра), вохровцы — лагерная полувоенизированная охрана

Под вышкой — в ожидании казни («вышка» — «высшая мера», смертный приговор)

Глазок (тюр.) — малое остеклённое отверстие в камерной двери раструбом внутрь камеры, для наблюдения за заключёнными

ГУЛаг — Главное управление лагерей

Девять грамм — вес винтовочной пули

Доходить — слабеть, опухать, близиться к смерти от плохого питания и тяжёлой работы

Заблатниться — заделаться блатным

В законе — 1) (блатн.) быть в законе — состоять в воровском законе и «законно» не работать; 2) (лаг.) жить в законе — о мужчине и женщине, состоять в лагерном браке, при молчаливой снисходительности начальства

Закосить — присвоить хитрым способом, утаить от контроля и учёта (порцию еды, предмет одежды, не отработать рабочего дня)

Заложить (лаг.) — донести на кого-либо

Зона (лаг.) — 1) площадь, огороженная для содержания заключённых; 2) самый забор с запретной полосой

Кантоваться, филонить — жить «день до вечера»; отбывая срок, стараться не работать

Катушка — полный срок, наиболее принятый в данное время или по данной статье (когда 10, когда 25)

Качать права — спорить с начальством, добывая справедливость

Комиссовка — периодическая (квартальная, полугодовая) лагерная процедура, когда медицинская комиссия фиксирует степень годности каждого зэка к физическому труду (устанавливая, как правило, завышенную, непосильную)

Кормушка (тюр.) — прорезь в камерной двери с отпадающим как столик заслоном

Кум — оперуполномоченный; чекист, следящий за настроением и намерениями заключённых и отклонениями их от режима, ведающий осведомительством и лагерными следственными делами

Курочить (блатн.) — отнимать еду, одежду, вещи, особенно — полученные в посылке; отбирать ценное

Малина (блатн.) — воровской притон

Мантулить (блатн.) — см. **Вкалывать**

Мостырка — искусственно созданная видимость болезни или увечья, для того, чтобы получить освобождение от работы или льготу

Мостырщик — кто учинил себе мостырку

Намордник — 1) тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна; 2) *лишение гражданских прав по окончании лагерного или ссыльного срока*

Наседка — осведомитель, подсаженный в тюремную камеру

Обрез — винтовка, у которой отпилена бóльшая часть дула — крестьянское оружие в ранне-советское время (легко хранить, стреляет на малое расстояние)

Общие — основные работы по профилю данного лагеря, где работает большинство зэков и условия наиболее тяжелы

Опер — см. **Кум**

Отрицаловка — зэки (большей частью блатные), отказывающиеся выполнять требования лагерной администрации

Параша — 1) (тюр.) тюремный камерный сосуд для нечистот; 2) всякая посуда сомнительной чистоты; 3) (лаг.) слух

Паханы — вожди блатных, разных степеней

С понтом, для понта — как бы; для показа; делая важный вид

Попка (лаг.) — 1) часовой на вышке; 2) всякий, приставленный для охраны

Придурок (лаг.) — заключённый, устроившийся так, чтобы не работать руками (более лёгкая, привилегированная работа)

Раскурочить — см. **Курочить**

Резину тянуть (блатн.) — растягивать выполнение работы или совсем не делать её

По рогам — см. **Намордник** (2)

Спецнаряд — индивидуальная переброска заключённого по его специальности из одного лагеря в другой

От станка — советское выражение 20-х — 30-х годов: имея непосредственный рабочий стаж до последнего времени

Темнить (темниловка) (лаг.) — делать вид, притворяться, особенно — изображать рабочее состояние

Тухта (лаг.) — чего на самом деле нет (выдуманный объём работ, несуществующее обстоятельство)

Урки — см. **Блатной**

Феня (блатн.) — язык уголовного мира

Филонить (филон) — см. **Кантоваться**

Фитиль — доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах (уже не держится прямо, отсюда сравнение)

Фраер (блатн.) — всякий, не принадлежащий блатному миру (отсюда: кто не знает правил, делает пустое, что не нужно)

На цырлах (блатн.) — одновременно: на цыпочках, стремительно и со всем усердием

Чернуху раскидывать — то же, что «темнить», особенно ложь в рассказе
Четвертная (лаг.) — 25-летний срок
Чифирь — чрезмерно крепкий чай, пьется как вид наркотика

Шалашовка (блатн.) — лагерница, непритязательно доступная
Шмон (блатн.) — обыск

ОГЛАВЛЕНИЕ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Главы 1—53

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений, том 1

В КРУГЕ ПЕРВОМ

КНИГА I

Редактор В. М. БОРИСОВ
Художественный редактор Л. Б. ФИЛИППОВА
Художник И. А. ШЕИН
Технический редактор С. Я. ШКЛЯР
Корректоры В. Г. ЗАХАРИН, Е. Ю. ЗВЕЖИНСКАЯ, Е. Б. ФРУНЗЕ

Сдано в набор 25.06.91. Подписано в печать 12.11.91. Формат 60x84/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,46. Усл. кр.-отт. 20,51. Уч.-изд. л. 21,63. Тираж 1 100 000 (2-й завод 250001—500000) экз. Заказ 2456. Цена договорная.

ИНКОМ НВ

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
103473 Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 г. в Кисловодске. В том же году отец его, подпоручик военного времени (добровольно ушедший на войну из студентов Московского университета), погиб от несчастного случая на охоте. Мать, в войну кончавшая высшие голицынские курсы в Москве, после революции стала стенографисткой и поселилась с сыном в Ростове-на-Дону. Там Солженицын кончил среднюю школу, затем физмат университета (еще успев до войны пройти заочно два курса филфака МИФЛИ). С осени 1941 г.— в армии, осенью 1942 г. закончил ускоренный курс 3-го ЛАУ в Костроме. Затем назначен командиром разведывательной звукобатареи, и в этой должности прослужил непрерывно на разных фронтах до своего ареста на передовой в Восточной Пруссии в феврале 1945 г. Осуждён по ОСО к 8 годам лагерей, а по окончании срока в марте 1953 г. сослан навечно, в Казахстан (Кок-Терек Джамбульской области). Там преподавал математику, физику и астрономию. В 1956 г. ссылка была с него снята, возвратился в Среднюю Россию, преподавал во Владимирской области в сельской школе, а затем в Рязани — до конца 1962 г., когда был напечатан «Иван Денисович». После 1965 г. Солженицына уже в СССР не печатали, подвергался резким нападкам властей и газет; в 1974 г., после появления 1-го тома «Архипелага ГУЛага», обвинён в измене родине и выслан за границу. С 1976 г. живет безвыездно в штате Вермонт, США. Женат, трое сыновей.

Другие его произведения: роман «В круге первом», повесть «Раковый корпус», очерки «Бодался телёнок с дубом», киносценарии, пьесы, рассказы, публицистика и фундаментальный труд «Красное колесо» (к 1990 году вышло 10 томов).


1
Александр Солженицын
В КРУГЕ ПЕРВОМ